ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Н. Муравьева

ГЮГО

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Эта книга — повесть о большой жизни большого человека.

Он появился на свет, когда XIX веку шел второй год, он кончил свой жизненный путь, когда век близился к закату.

Всю жизнь он находился в гуще борьбы своего века, мыслями, делами, книгами откликаясь на зов современности, постоянно шагая вперед.

«Из всех восхождений, ведущих из мрака к свету, самое благородное и самое трудное — родиться аристократом и монархистом и сделаться демократом», — писал Гюго, оглядываясь в середине пути на прожитые годы.

На несколько выдающихся жизней могло бы хватить того, что сделал Гюго за одну свою большую жизнь.

Он дал современникам и потомкам не только десятки томов прекрасных книг, он дал им личный пример неустанной борьбы за человечность, несгибаемого сопротивления силам мрака, врагам прогресса, высокий образец неиссякаемого жизнелюбия и веры в победу света.

«Трибун и поэт, он гремел над миром подобно урагану, возбуждая к жизни все, что есть прекрасного в душе человека», — сказал о Гюго Максим Горький.

Это первая развернутая биография Гюго, написанная советским автором.

- Содержание
  - Часть первая
    - Веку было два года
    - Дороги детства (1806–1813)
    - Быть поэтом (1814–1822)
    - Похороны и свадьба (1818–1822)
    - Сенакль (1823–1827)
    - Скрижали романтизма (1826–1827)
    - Контрасты (1828–1829)
    - Битва за «Эрнани» (1829–1830)
  - Часть вторая
    - Что может заключаться в бутылке чернил (1830–1831)
    - «К оружию, граждане!» (1832)
    - Драмы и жизнь (1833–1838)
    - Кризис нарастает (1839–1847)
    - Тысяча восемьсот сорок восьмой
    - Живые — борются (1849–1851)

- Часть третья
  - Не примирение — возмездие! (1851–1855)
  - Солдат прогресса (1855–1865)
  - «Отверженные» (1860–1862)
  - Искусство для жизни! (1862–1866)
  - Швырять камни во дворцы тиранов (1867–1870)
- Часть четвертая
  - Грозный год (1870–1871)
  - «Девяносто третий» (1871–1873)
  - «Свет, всегда свет!» (1873–1878)
  - Он умирал бессмертным (1878–1885)
- Основные даты жизни и творчества Виктора Гюго
- Краткая библиография

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15

Содержание

Наталья Муравьева
Гюго

Часть первая

Веку было два года

Над старой Европой еще полыхали зарницы Великой французской революции. Дрожали троны. Распадались старые феодальные связи.

А молодая французская республика уже задыхалась в тисках военной диктатуры. Властная рука первого консула тянулась к

императорской короне. Бойцы республиканских отрядов, люди в синих мундирах, сражавшиеся за революцию, отстоявшие страну от интервентов, превращались в воинов захватнической армии, великой армии Наполеона.

Народам Европы предстояла череда длительных и кровавых войн.

Веку было два года…

В 1802 году Анри Клод Сен-Симон выпустил свою первую книгу «Письма женевского обитателя к современникам». В ней прозвучал призыв великого мечтателя к переделке мира на новых, справедливых началах. Но реальные дороги в будущее тогда еще были неясны.

В холодном чиновном Петербурге оборвалась жизнь первого русского революционера Александра Радищева. Измученный долгими годами ссылки, обманутый лживыми посулами царя, изверившийся, доведенный до отчаяния, он принял яд.

В тихом Веймаре Иоганн Вольфганг Гёте беседовал с Фридрихом Шиллером. Шиллер недавно закончил пьесу «Орлеанская дева» и рассказывал Гёте о новом своем замысле — создать народную драму, героем которой будет вольнолюбивый швейцарский стрелок, легендарный Вильгельм Телль.

А в Вене 32-летний музыкант Людвиг Ван Бетховен в своей одинокой комнате испещрял нотную бумагу сложным узором черных значков — он заканчивал новую сонату, ту, которую потом стали называть «Лунной». Бетховен уже начинал глохнуть, но он слышал больше и лучше всех. Вскоре зазвучала над миром «Героическая симфония». Вслед за ней родилась мятежная «Аппассионата».

На одной из самых шумных улиц Парижа в мансарде за колченогим столиком сидел в кругу друзей молодой поэт Беранже. Они пили за «Францию без трона», а потом Беранже пел свои новые песенки о неунывающем бедняке, который не хочет гнуть спину перед вельможами.

В английском колледже Гарроу четырнадцатилетний Джордж Гордон Байрон писал стихи:

Не в знатном роде, друг мой, сила,
Ценнее клад в груди твоей…

В зимний вечер 1802 года трехлетний Александр Пушкин слушал сказку няни, а на другом конце Европы его ровесник Оноре Бальзак играл у порога хижины безвестной крестьянки, своей кормилицы.

Во всех концах земли рождались и подрастали те, кому

предстояло творить живую историю девятнадцатого столетия. Будущие декабристы и карбонарии, герои освободительных войн и бойцы баррикад, вожаки и участники первых восстаний рабочего класса, строители первых железных дорог, исследователи земных недр и человеческих душ, изобретатели станков и машин, открыватели тайн вселенной и новых гармоний. Будущие труженики, герои, борцы. Знаменитые и безыменные.

Веку было два года…

* * *

Седьмого вентоза в X год республики, как гласит запись в мэрии, или 26 февраля 1802 года по нынешнему календарю, в одном из неприметных домиков французского города Безансона раздался крик новорожденного. Родители ждали Викторину, а на свет появился Виктор, третий сын в семье батальонного командира Леопольда Сижисбера Гюго. Мальчика назвали Виктором в честь друга семьи Гюго генерала Виктора Лагори. Второе имя, Мари, новорожденный получил в честь названой крестной, подруги его матери.

Впрочем, ребенка так и не крестили. Родители его не слишком заботились о соблюдении церковных обрядов, Леопольд Сижисбер Гюго был равнодушен к католической религии. Сын столяра из Нанси, воин республиканской армии, он слыл в дни революции убежденным санкюлотом и даже переменил данное ему при крещении имя на другое — звучное и вполне революционное имя Брутус. Теперь он, правда, снова стал Леопольдом Сижисбером, ведь дни Конвента давно прошли..

Мать Виктора, Софи Гюго, урожденная Требюше, рано осиротев, получила свободное воспитание в доме деда. Первыми друзьями ее юности были книги и особенно сочинения Вольтера. Священников же она никогда не жаловала.

Да и могла ли она сейчас думать о каких-то обрядах, глядя на этого малыша! Лишь бы жив остался! Худ, слаб. Пищит еле слышно, величиной, ну, право же, не больше столового ножа.

— Не жилец он на этом свете, — качает головой акушерка, пеленая новорожденного.

Софи готова расплакаться, но сдерживается.

Вот он лежит около нее — крохотный сверток в большом кресле. Кажется, еще дюжину таких же можно положить рядом. На кого он похож? Трудно разобрать. Видно только, что лоб очень высокий.

Дверь в комнату осторожно приоткрывается. Входит Леопольд Сижисбер, а за ним два мальчугана: четырехлетний Абэль и двухлетний крепыш Эжен, им не терпится взглянуть на нового братишку.

Отец склоняется над новорожденным. Рядом с этим запеленатым существом он кажется особенно большим и мощным. Воплощенное здоровье. Плечи широченные, щеки пышут румянцем, полные губы улыбаются.

Где-то вдали слышен звук военного рожка. Леопольд Сижисбер выпрямляется…

— Отдыхай, дорогая! — говорит он жене.

Какая она хрупкая, маленькая. На побледневшем лице отчетливо видны следы перенесенной когда-то оспы. Не красавица и никогда ею не была, но есть в ней что-то такое, что лучше всякой красоты. Во взгляде темных глаз, в легких движениях тонких, совсем детских рук…

Все ушли. Стало очень тихо. Мать не сводит глаз с новорожденного. Выживет ли он? Окрепнет ли, чтоб перенести дорогу? Скоро ведь им снова переезжать на новое место. Непрестанное кочевье. Такова участь семьи воина. Долго ли это будет тянуться? Когда наступит мир? О, как она ненавидит Бонапарта, этого честолюбивого деспота! Муж ему служит. Раньше лил кровь за Конвент, за якобинскую республику, теперь готов проливать ее за первого консула. Воинская честь, верность знамени, присяга… Для размышлений не остается места. Вечно в походах, весь в рубцах, два раза под ним убит конь. А Бонапарт и знать не хочет о заслугах какого-то Гюго из Рейнской армии. Ни повышения в чине, ни ордена. Леопольд Сижисбер даже смеяться стал последнее время реже. Обижен. Обошли. Придется ей самой поехать в Париж, думает Софи, добиться справедливости. Друзья помогут в хлопотах. Но все это потом, а сейчас главное — Виктор.

Мать смотрит на новорожденного. Жив. Дышит. Спит. Еще не знает, что на свете есть войны, обиды, страхи, обман, несправедливость. И есть правда и твердость, смелость и красота. И любовь… Нет, он не умрет. Софи сжимает руки, как будто дает клятву. Он вырастет большой и умный, сильный и добрый.

* * *

Через шесть недель мальчик настолько окреп, что мог уже вынести путешествие из Безансона в Марсель, куда перевели батальон его отца. А еще через несколько месяцев матери пришлось на время расстаться со своим малышом. Она поехала в

Париж хлопотать по поводу нового назначения мужа. Сам он не мог отлучиться с места службы. Софи рассчитывала на помощь брата Наполеона, Жозефа Бонапарта, который благоволил к семье Гюго.

Леопольд Сижисбер надеялся, ждал, терпеливо нянчил детей, муштровал свой батальон и писал длинные нежные письма жене. Потом он начал сердиться. Пора бы ей вернуться домой. Месяцы идут, а она все не приезжает.

Несмотря на всю энергию, на помощь друзей, госпоже Гюго ничего не удалось добиться. Причиной неудачи была немилость Бонапарта к командующему Рейнской армией Моро, начальнику и покровителю Леопольда Сижисбера.

Софи вернулась к мужу уже не в Марсель, а на остров Эльбу, куда перекочевал его батальон.

Странствования семьи продолжались. Корсика, Порто-Феррайро, Бастиа. Походная жизнь была опасна для детей, особенно для здоровья Виктора. И Софи Гюго решилась на длительную разлуку с мужем. Она увезла сыновей в Париж, где сняла скромную квартиру на улице Клиши. К этому времени относятся ранние воспоминания Виктора.

Двор, поросший травой. Колодец. Высокая ива. Он играет здесь на солнышке.

Братья учатся, и четырехлетний Виктор тоже идет в школу.

Годы идут. Отец сражается в Италии. Письма от него приходят все реже, и денежные переводы в адрес семьи становятся все более скудными. А между тем Леопольд Сижисбер получил повышение. Новый неаполитанский король Жозеф Бонапарт ценит верного служаку, храброго воина. Владычество французов в Италии как будто укрепилось. Не пора ли госпоже Гюго попробовать восстановить свой полуразрушенный семейный очаг?

Дороги детства (1806–1813)

Франция осталась позади, за горным перевалом Мон-Сени. Итальянское небо, прославленное столькими поэтами, почему-то встретило семью Гюго очень хмуро. Ни клочка лазури. В окна почтовой кареты хлещет дождь. Госпожа Гюго ежится. Она устала и от непрерывной тряски, и от назойливого скрипа колес, и от тревожных мыслей.

Что ждет ее и детей в этой чужой стране? Снова кочевая жизнь, вечные страхи, неустойчивость; И как встретит ее муж? Может быть, так же, как это итальянское небо? Они не виделись целых три года. За такой срок не мудрено отвыкнуть, забыть, разлюбить.

не только годы разлуки разделяют их. Отчуждение началось раньше. Софи сознает это. Слишком они с мужем разные и по характерам и по взглядам. Он сражается под знаменами Бонапарта в чужих странах, и ему все еще кажется, что он служит революции. А она? В этих войнах она видит только жестокую, несправедливую бойню. Страсть к завоеваниям. Разве в этом слава Франции?

Ни Конвент, ни Директория, ни империя не принесли той свободы, того царства Разума, о котором мечтали Вольтер и другие философы XVIII века (сколько их книг она прочитала в юности и до сих пор продолжает перечитывать!). Нет. Ей хочется одного, чтобы пришел конец деспотизму, конец войнам, и французы вздохнули бы полной грудью, и расцвела бы свободная мысль, и появились бы на свет прекрасные, правдивые книги…

Софи Гюго слыла роялисткой, сторонницей Бурбонов, но убеждения ее, по существу, были далеки от подлинного роялизма. Наивная вера в возможность появления в XIX веке некоего доброго короля — отца народа — сочеталась у нее с мечтой о политической свободе, с полным равнодушием к религии и ненавистью к церковной обрядности. Трон без алтаря — это в корне противоречило догмам правоверного роялизма. Но одно было в ее убеждениях непреложно — страстная ненависть к войнам.

Еще десять лет назад, когда Софи только что познакомилась со своим будущим мужем, ее тревожило глубокое различие в их отношении к происходящим событиям.

Ей вспоминаются первые встречи.

Ночная дорога в окрестностях Нанта. Цокали лошадиные копыта. Замирало сердце. Она мчалась верхом предупредить об опасности одного из мятежников — шуанов. И лицом к лицу столкнулась с конным патрулем «синих», республиканцев.

— Стой! — У командира «синих» грозный голос. Как объяснить эту ночную прогулку? Как отвести подозрения?

И она сумела тогда найти правильный тон. Не растерялась. Через несколько минут их лошади мирно гарцевали рядом… Потом визиты молодого Брутуса в Нант — она жила там со своей теткой Робен. Его восхищенные горячие взгляды. Длинные беседы. Он интересовался литературой, даже сам пописывал мадригалы. Молодой, смелый, веселый. Могла ли она остаться

равнодушной?

И все-таки внутренне они были далеки. Она до сих пор сомневается, любила ли его когда-нибудь по-настоящему. Даже тогда.

Резкий толчок выводит госпожу Гюго из раздумий. Их карета зацепилась за встречный экипаж. Абэль и Эжен хохочут. Все веселит их.

А Виктору надоело так долго ехать. Карета то и дело вздрагивает, кажется, вот-вот опрокинется.

Чтоб развлечь младшего, братья придумали игру.

Из циновки, что под ногами, они выдергивают соломинки, делают из них крестики и наклеивают на окно кареты. Один. Другой.

— Смотри, Виктор, смотри! Ну, попробуй сам!

Он смотрит на крестики и неожиданно вздрагивает всем телом.

— Ой, что это?!

Сквозь потоки дождя он видит: на дереве возле дороги висит человек.

Страшно…

— Мама, а почему здесь, в Италии, на деревьях висят люди? Кто их вешает? Зачем?..

Мать пытается успокоить мальчиков.

— Это разбойники. Они грабили, убивали…

Разве может она объяснить, как и почему столько итальянцев — пастухов, крестьян, мирных людей — вдруг сделалось «разбойниками», которых надо вешать? Вешать за то, что они не хотели покориться французам, Бонапарту, уходили в горы, вооружались и отстаивали свою землю от пришельцев. Нет. Она не станет объяснять этого детям. Они еще малы. Потом поймут, узнают правду и про войны и про разбойников. А сейчас пусть играют…

Дождик перестал, и вдруг все кругом переменилось. За окнами светится, колышется, слепит что-то огромное, голубое, сияющее, переливчатое. Карета останавливается. Мальчики выскакивают и вопят в восторге: «Море! Море!»

Забыт недавний ужас. Виктор застыл — перед ним синее чудо: блестит, движется, ходит, и глаз не хватает увидеть его все сразу.

* * *

В Авеллино их встретил высокий командир. Виктор совсем

забыл лицо, голос отца, но все-таки узнал его. Как раз таким он и должен быть. Сильный, веселый, в блестящем мундире. Теперь-то они уж не расстанутся, будут жить все вместе в большом мраморном дворце, в палаццо Авеллино.

В стенах палаццо глубокие расселины. Там водятся маленькие быстрые ящерицы. Около дома большой ров весь порос орешником. Можно скатываться вниз по зеленому склону, взбираться на деревья. В Париже на их дворе росла только одна ива.

Отцу дали чин полковника за то, что он взял в плен знаменитого Фра Дьяволо.

Операция была трудная. Когда французская армия заняла королевство Неаполитанское, жители гор не захотели покориться. Микеле Пеццо, прозванный за отчаянную смелость и ловкость Фра Дьяволо, возглавил отряд повстанцев и совершал успешные набеги на французские части. Французы выработали план облавы, заняли все проходы в горах, и началась кровавая охота, руководить которой было поручено Леопольду Сижисберу Гюго.

Сама природа, казалось, помогала Фра Дьяволо и его людям. Их защищали и грозы, и туманы, и проливные дожди. Французские солдаты выбивались из сил, теряли друг друга из виду, а Фра Дьяволо был в горах у себя дома и оставался неуловимым.

Наконец после долгого преследования солдаты настигли повстанцев. Весь их отряд был перебит, атаман тяжело ранен. Истекающий кровью, он не сдался, пробовал скрыться, но вскоре был схвачен и приговорен к смертной казни. Гюго подал просьбу о том, чтобы Фра Дьяволо судили не как разбойника, а как военнопленного, но ходатайство его не было удовлетворено. Зато Жозеф Бонапарт, король неаполитанский, смог, наконец, отметить заслуги своего любимца Гюго наградой и повышением в чине.

Отца постоянно отзывали по каким-то делам. Он стал появляться в палаццо все реже, а мать становилась все молчаливее. Дети догадывались, что оба они чем-то недовольны.

А потом начались разговоры об отъезде.

— Здесь вам негде учиться. Здесь все чужое, — говорила мать. — И жить здесь все равно нам пришлось бы недолго. Отец скоро уедет в Испанию, там опасно, и он не сможет взять нас с собой.

Госпожа Гюго не говорила сыновьям о том, что трещина в их семейном очаге стала еще глубже. Она узнала в этот приезд, что муж давно уже неверен ей. Он всюду возит с собой красавицу корсиканку, переодетую в мужское платье. И Леопольд Сижисбер

утверждает, что Софи сама во всем виновата. Ведь она настояла три года назад на своем отъезде в Париж, редко писала, была холодна.

Супруги Гюго расстались, но решили, что дети ничего не должны знать о разладе в семье. Полковник обещал жене аккуратно высылать деньги. А там будущее покажет, как дальше пойдет их жизнь.

* * *

В 1809 году на одной из глухих улиц Парижа прохожие могли различить сквозь ветхую садовую решетку контуры старинного здания, почти скрытого буйно разросшейся зеленью. Когда-то это здание было обителью монахинь фейльянтинского ордена. Революция разогнала их. Дом приобрел буржуа, который половину помещения сдавал жильцам. Здесь и поселилась Софи Гюго с сыновьями.

Давно не осталось следов от этого старинного здания, нет больше в Париже и. той улицы, где оно стояло. Нет и сада. Но этот сад шумит, зеленеет, манит в свою чащу, он живет в стихах Гюго, в его романах.

«Деревья нагибались к терновнику, терновник тянулся к деревьям, растение карабкалось вверх, ветка склонялась долу; то, что расстилается по земле, встречалось с тем, что расцветает в воздухе… Этот сад уже не был садом, — он превратился в гигантский кустарник, то есть в нечто непроницаемое, как лес, населенное, как город, пугливое, как гнездо, мрачное, как собор, благоухающее, как букет, уединенное, как могила, живое, как толпа…»[1]

Совсем недалеко шумел Париж, а здесь царила тишина. Лишь щебет птиц да детский смех доносились до прохожего из-за ветхой садовой решетки.

Госпожа Гюго отдала сыновей учиться — старшего в лицей, а Эжена и Виктора в частную школу. Их учитель «папаша Ларивьер» был раньше священником. В дни революции он отрекся от духовного сана и женился на своей служанке. Она оказалась отличной женой и помощницей, вдвоем они стали обучать грамоте ребят с окрестных улиц.

В классе рядом с братьями Гюго сидели дети ремесленников, рабочих, лавочников — бедовые парижские гамены. Ларивьер давал Виктору и Эжену домашние уроки латыни и греческого. На второй год обучения мальчики уже бегло читали и переводили тексты Горация.

Уроки отнимали у них несколько часов в день. Остальное время братья проводили в саду. Кустарники превращались в дикие заросли, где скрываются разбойники. Бурьян, лопухи, крапива — это вражеские войска, с которыми ведутся жестокие сражения. Каждая птица, каждый жучок имеет свое имя. Тля — это «мартовская голова», паук — «коси-сено», черный жук — «черт».

А в большой яме под камнями живет таинственное чудовище — «глухой». Виктор и Эжен часами охотятся за ним, но оно никогда не показывается, прячется где-то, никому не ведомое, страшное, черное. На кого оно похоже? Вероятно, сразу и на змею, и на жабу, и на ужасного мохнатого паука. Мурашки по спине пробегают, как только представишь его себе.

Охотники за чудовищами, воины, исследователи, древолазы, они приходят домой исцарапанные, в синяках. В клочки летят штаны и рубашки из самой крепкой парусины. Но мать не сердится. На то они и мальчишки. Разве лучше, если б они были трусливыми тихонями?

Госпожа Гюго жила уединенно. В доме бывали лишь старый учитель Ларивьер да супруги Фуше, давние друзья семьи.

Пьер Фуше, секретарь Военного совета, еще в юные годы подружился с Леопольдом Сижисбером, хотя ни по темпераменту, ни по вкусам не походил на своего шумного, жизнелюбивого приятеля. Тихий, сдержанный, привыкший к размеренным канцелярским занятиям, Фуше мог целый вечер просидеть молча в обществе своей неразлучной табакерки и свежей газеты. Его жена, простая добрая женщина, была всецело поглощена заботами о муже и детях.

С этими друзьями госпожа Гюго отводила душу, при них можно вволю поносить «корсиканское чудовище Буонопарте». Они не выдадут! Пьер Фуше ведь сам сочувствует роялистам. С ним можно вспомнить и о днях молодости, ведь он был единственным гостем на свадьбе Гюго. Леопольд Сижисбер в тот вечер поднял бокал и пожелал, чтоб у него родился сын, а у Фуше — дочь и чтобы дети поженились, когда вырастут.

О давнем пожелании теперь, впрочем, не вспоминали, хотя у Гюго подрастали три сына, а у Фуше в 1803 году родилась дочка Адель. Эта румяная, черноглазая девочка приходила по воскресеньям вместе с родителями и братом в фейльянтинский дом. И какие веселые игры затевали с ней ее шумные товарищи! Полет на качелях под самое небо. Лихая езда на маленькой хромой тележке. Эжен и Виктор — отличные рысаки, а в «карете» очаровательная принцесса. На глазах у нее повязка, щеки горят, черные кудри летят по ветру.

— Угадай, где мы? Нет, нет, повязку не трогать, нельзя подсматривать!

И мальчики хохочут, прыгают, хлопают в ладоши. Они так запутали дорогу неожиданными поворотами, что Адель ошиблась. Ей кажется, что она совсем в другом конце сада, а может быть, даже где-то на краю света!..

* * *

Однажды в фейльянтинском доме появился совсем новый гость. Стройный, черноволосый, уже немолодой, но глаза сверкают, как у юноши.

— Это твой крестный, — сказала Виктору мать, а крестный обнял мальчика и высоко подбросил его в воздух сильными руками совсем так, как делал когда-то отец.

Гость остался у них обедать. И в этот день братья не спешили убежать в сад. Они слушали рассказы крестного. Он знал все — о войнах, о дальних странах, о далеких временах.

На другой день он опять появился за обеденным столом. И на третий. А потом Виктор и Эжен узнали, что крестный совсем остался у них жить, только не в самом доме, а в маленькой полуразрушенной часовне в глубине сада. Когда братья приходили из школы, он играл с ними и помогал делать уроки. Посадит рядом Виктора, откроет томик Тацита или Вергилия, и латинские книги как будто оживают, когда они читают их вместе. История делается увлекательной. Войны Митридата. Походы Цезаря. Брут…

— Почему он убил Цезаря?

— Свобода прежде всего, — отвечает крестный.

Свобода… Виктор невольно связывает эти слова о свободе с тем, что он слышал от матери об «узурпаторе Бонапарте».

Одно удивляло братьев Гюго: почему крестный скрывается в свою часовню, как только у дверей раздается звонок, почему он никуда не выходит из дому? Но с расспросами они не приставали. Мать этого не любила и не позволяла.

Мальчики не знали даже имени крестного. Им и в голову не приходило, что в их доме скрывается генерал Лагори, уже несколько лет назад приговоренный к смертной казни за участие в заговоре против Наполеона. Владельцу дома и прислуге госпожа Гюго сказала, что к ней приехал родственник из провинции. И Лагори, которого все это время разыскивала полиция, тихо прожил в фейльянтинской часовенке полтора года. Изгнанник и его друзья предполагали, что со временем гнев императора

уляжется, и о приговоре забудут.

В 1810 году Наполеон был в зените славы и могущества. Большая часть Западной Европы уже покорилась завоевателю. Франция готовилась к пышным торжествам в честь бракосочетания императора с эрцгерцогиней австрийской. Казалось, что настал подходящий момент для того, чтобы ожидать актов великодушия по отношению к прежним противникам Бонапарта.

Один из друзей сообщил Лагори, что сам министр полиции просит его оставить убежище. Изгнаннику больше ничего не грозит. Госпожа Гюго уговаривала Лагори не верить посулам. Некоторое время он колебался, но в конце концов не выдержал и рискнул пойти прямо к министру полиции Савари. Тот встретил его как друга и заверил, что опасаться ему нечего.

Лагори вернулся домой сияющий. За завтраком он оживленно рассказывал госпоже Гюго о подробностях беседы с министром. В это время раздался звонок.

— Здесь генерал Лагори? — спросили вошедшие. — Именем императора вы арестованы.

Братья Гюго так больше и не увидели своего взрослого друга.

* * *

Часовня в глубине сада опустела. И сад облетает. Хмуро. Весь дом стал угрюмее.

Но разве могут дети долго горевать? Завтра гораздо интереснее, чем вчера.

Как-то октябрьским утром в доме появился загорелый рослый офицер в блестящем мундире. Веселые глаза, громкий голос. Как он похож на отца!

— Это ваш дядя Луи, папин брат, — говорит мать.

И мальчики жадно слушают о походах, осадах, опасностях, сражениях. Битва под Эйлау. Дядя Луи в ней участвовал. А теперь он вместе с отцом воюет в Испании. Горы. Разбойники.

В Испании французам пришлось еще труднее, чем в Италии или Германии. Весь народ помогал многочисленным отрядам повстанцев — гверильясов. Как только доносилась весть о приближении французов, крестьяне уничтожали весь свой скарб, бросали деревни и присоединялись к партизанам.

Испанская знать, гранды признали власть короля Жозефа Бонапарта, но народные массы не покорились.

— Да, — говорит дядя Луи, — вождь гверильясов Эмпесинадо в Испании доставил вашему отцу не меньше хлопот, чем Фра

Дьяволо в Италии…

Леопольд Сижисбер теперь генерал. Жозеф Бонапарт назначил его правителем трех провинций.

Конечно, положение в Испании еще трудное, но все же госпоже Гюго с детьми следовало бы поехать к мужу. Мальчиков можно устроить учиться в Мадриде. Вот только язык им надо выучить. Такие советы давал дядя Луи. Скоро он уехал. Но отблески Испании, отголоски боев, ворвавшиеся вместе с ним в фейльянтинский дом, перевернули всю жизнь его обитателей.

Госпожа Гюго купила сыновьям самоучитель испанского языка, и они не расставались с ним. Начались сборы и приготовления к путешествию. Ранней весной 1811 года тронулись в путь.

Громоздкий шестиместный дилижанс до отказа набит чемоданами, корзинами, ящиками, баулами, сумками. Мальчики сидят в верхнем купе и смотрят во все глаза. Поля, леса, города Франции. Блуа. Пуатье. Ангулем. Бордо. И, наконец, Байонна. Они у границы. Отсюда их должен сопровождать военный конвой до самого Мадрида. Дороги Испании опасны.

Конвоя прождали весь апрель.

Наконец поехали. Виктор выглядывает из окна громадной колымаги. Они едут во главе процессии. Сзади нескончаемая вереница экипажей, и почти все выкрашены в зеленый цвет — цвет империи. Золоченые колеса так и переливаются на солнце. По сторонам гарцуют всадники, среди них выделяются испанцы в темных плащах и широкополых шляпах, тут же рядом марширует французская пехота. А впереди пушки.

Небо ярко-синее. Трава кругом выжжена, придорожные деревушки пусты, многие хижины разрушены.

Первый привал в Эрнани. Поселок небольшой, людей не видно. Дома глядят на путешественников угрюмо и надменно, на каменных фронтонах старинные гербы, двери замкнуты. Эти дома похожи на самих испанцев, думает Виктор. Такие же гордые, как эти всадники в темных сомбреро, такие же невозмутимые и сумрачные, как испанские пастухи с бронзовыми лицами и длинными посохами. А как подходит к поселку его название! Эрнани. Это слово как будто сливается с блеском камней мостовой, отполированных веками, с этим знойным воздухом, с обликом людей непокоренной Испании.

Среди путешественников не умолкают разговоры о разбойниках, о ночных засадах. В горном ущелье раздаются выстрелы. Горсточка повстанцев-гверильясов пытается остановить транспорт, но конвой отбивает нападение.

Следующая стоянка в Торквемадо. На месте поселка груды

развалин. Братья Гюго затеяли игру. Взобраться на гору каменных обломков и лихо скатиться вниз. Виктор так расшиб себе голову, что потерял сознание. На лбу у него на всю жизнь остался небольшой шрам — след развалин Торквемадо.

Процессия экипажей движется. Нескончаема дорога. Неумолимо палит солнце, пронзителен скрип колес. Госпожа Гюго в изнеможении. Она не хочет даже посмотреть в окно, когда Виктор зовет ее взглянуть на скалу причудливой формы или на багряно-золотое вечернее облачко, зацепившееся за лиловый утес.

Виктору это необъятное знойное небо, эти угрюмые скалы кажутся прекрасными. Его матери они кажутся чужими, враждебными, угрожающими, как люди этой страны.

Лица и дома испанцев замкнуты, но за маской ледяного равнодушия они таят жгучую ненависть к пришельцам, к тем, кто разрушает их города, древние памятники, оскверняет их святыни. Гробница Сида, легендарного национального героя, превращена французами в мишень для стрельбы. С хохотом они уродуют ее, откалывая выстрелами камень за камнем. Госпожа Гюго и ее сыновья видели жалкие обломки этого древнего памятника, когда останавливались в Бургосе и гуляли по его окрестностям.

* * *

Вереница карет подъезжает к Мадриду. Генерал Гюго почему-то не встречает семью. Они едут прямо в его губернаторскую резиденцию дворец Массерано. Генерала нет и во дворце. Он куда-то спешно вызван по делам. Церемонный дворецкий ведет генеральшу и ее сыновей в отведенные им покои. Анфилада комнат. Позолота, хрусталь, драгоценные вазы.

Когда начинает смеркаться, дети выбегают на балкон и глядят на небо. Каждый вечер на нем появляется гигантская комета. Кажется, что ее сияющий хвост занимает целую треть неба.

Не только братья Гюго с балкона дворца Массерано — множество людей в различных концах Европы смотрят на эту комету. Смотрят и покачивают головами: это небесное знамение! Сторонники Наполеона говорят, что это знамение его славы и новых побед. Противники французского императора утверждают, что оно предвещает страшную кару зарвавшемуся деспоту, скорый конец его нечестивому владычеству.

До братьев Гюго доносятся отголоски этих споров. Они слышали, что испанцы втихомолку называют Наполеона не иначе как Напо-ляндрон (Напо-вор). Они знают, что мать ненавидит

Бонапарта, и крестный Виктора тоже называл Наполеона узурпатором. А отец служит Наполеону. Кто же прав? Может быть, отец объяснит им, когда приедет, но его все нет и нет.

После шестинедельного ожидания дети, наконец, увидели отца, но он появился ненадолго, и его так и не удалось ни о чем расспросить. Генерал был озабочен. Гверильясы снова подняли голову, комета их обнадежила.

Родители долго совещались о чем-то и, наверно, ссорились: из-за закрытой двери доносились их возбужденные голоса. Мать после этого вышла с плотно сомкнутыми губами, а отец имел очень сердитый вид.

— Доволню вам бездельничать, — сказал он сыновьям. — Абэль уже большой, он будет отдан в пажи к королю Жозефу, а двое младших поступят учиться в мадридскую коллегию.

Коллегия покачалась им тюрьмой. Кругом чужие, холодные лица. Дортуар для младших — унылая казарма. Полтораста кроватей выстроены рядами, и у каждого изголовья висит костяное распятие.

Руководили воспитанниками два монаха: высокий угрюмый дон Базилио, похожий на мертвеца, вставшего из могилы, и маленький, жирный, вертлявый дон Мануэло с елейной улыбкой, как будто навсегда приклеенной к широкому лицу.

Братьев Гюго определили в младший класс, но они уже давно знали все, что там проходили, и их начали переводить из одного класса в другой, пока не оставили, наконец, в «риторике». Здесь сидели великовозрастные сыновья испанских аристократов, которых возмущало, что новички-малыши и к тому же ненавистные французы так хорошо читают по-латыни и не ходят вместе со всеми в церковь. Госпожа Гюго, чтоб освободить своих сыновей от обязательного бдения на мессах, обеднях, вечернях, заявила, что они протестантского вероисповедания.

Жизнь в Испании делалась все труднее, а для завоевателей-французов все опаснее. Сопротивление народа разрасталось.

Жестокой зимой 1811/12 года в Мадриде был голод, порции воспитанникам с каждым днем уменьшали.

Госпожа Гюго начала готовиться к отъезду. Она решила вырвать мальчиков из казармы, куда заточил их отец, и увезти в Париж. Семейная жизнь супругов Гюго окончательно разладилась. Все вызывало раздоры: и непримиримая рознь в политических воззрениях, и различие взглядов на воспитание сыновей, и, наконец, взаимные супружеские обиды. Генерал перестал скрывать свою связь с корсиканкой Катрин Тома и начал дело о разводе с женой. Он не хотел отдавать ей сыновей и только под давлением Жозефа Бонапарта, который заступился за Софи,

согласился отпустить с ней младших мальчиков. Абэля решено было оставить в Мадриде при особе короля.

* * *

И снова вереница карет под охраной конвоя. Те же выжженные равнины и головокружительные горные дороги. Только теперь они стали еще опаснее. Каждый утес глядит на пришельцев враждебно, в каждой расселине таится угроза. Кажется, будто ненависть всей испанской земли вот-вот соберется в громадную черную тучу и разразится грозой над головами чужеземцев. И чужеземцы бегут.

Братьям Гюго уже совсем не так весело, как было год назад по дороге в Мадрид. Они повзрослели и поняли, что такое война. Ее следы, как страшные ожоги, как безобразные раны, зияют на испанской земле.

В Бургосе Эжен и Виктор решили побродить по улицам. На площади вокруг высокого деревянного помоста собралась толпа. На помосте столб.

Сейчас состоится смертная казнь. К этому столбу привяжут веревками человека. И потом… Виктор и Эжен бегут. Хочется закрыть глаза, заткнуть уши. Навстречу мальчикам движутся какие-то серые призраки в длинных хламидах. В руке у каждого посох с зажженной свечой наверху. Среди призраков человек верхом на осле. Привязан веревками. Монахи тычут ему в лицо костяные распятия (совсем такие, как были в дортуаре у изголовий кроватей!). А лицо у этого человека… Нет. Лучше не смотреть! Бегом! Дальше отсюда! Забыть! Не думать!

Дорога. Скрип колес. Усталые глаза матери в глубине колымаги. Скорее бы домой!

У въезда в один из поселков высится огромный деревянный крест. Виктор жмется к стенке кареты. На кресте прибиты гвоздями куски человеческого мяса. Кто-то старательно соединил их… Когда же конец всему этому?

В Виттории приходится ждать смены конвоя. Гулять мальчикам больше не хочется. Ожидание кажется бесконечным. Последние километры по Испании — бешеная скачка под конвоем. Скоро граница!

* * *

Старый фейльянтинский сад как будто стал не таким

огромным, как раньше. Все дорожки расчищены. Это мамаша Ларивьер готовилась к их приезду.

— Теперь сами будете следить за садом, — говорит госпожа Гюго сыновьям.

В школу они больше не ходят. Папаша Ларивьер дает им уроки на дому. Тацит, Вергилий, Гораций — их старые, испытанные друзья! И у братьев Гюго появляется еще много таких же добрых друзей — книг, толстых и тонких, замусоленных и совсем новеньких, даже не разрезанных.

Мать, любительница чтения, хочет читать только самые интересные книги и, доверяя вкусу сыновей, поручает им выбор. Они читают запоем, подряд все, что есть в библиотеке старого Руайоля: Мольер, Руссо, Вольтер, Дидро, Вальтер Скотт. Драмы, романы, стихи, книги о путешествиях и приключениях. Виктору очень нравится «Путешествие капитана Кука».

В нижнем этаже библиотеки все книги уже прочитаны. Мальчики просят Руайоля, чтоб он пустил их в верхний, где хранятся книги по философии, праву, истории. Там можно читать часами, лежа на животе среди книжных груд, и никто тебя не тронет. Иногда заглянет старый библиотекарь. Он как будто сам вышел из какой-то книги времен Людовика XIV. Напудренный парик. Фрак с длинными фалдами. Атласные панталоны в обтяжку.

Руайоль очень уважает госпожу Гюго, одну из самых своих усердных и просвещенных читательниц. Но старику представляется странным, что она позволяет сыновьям читать книги, вовсе не предназначенные для их возраста.

— Мадам, не кажется ли вам опасным для мальчиков такое чтение без разбору? — осторожно осведомляется он.

Госпожа Гюго удивленно поднимает брови.

— Книги никогда не приносят вреда, — говорит она Руайолю, — пусть читают.

Виктору хочется и самому что-нибудь написать. Он пробует переводить латинские стихи. Как добиться, чтобы по-французски они зазвучали так же стройно, как по-латыни? Он не знает никаких правил стихосложения и пытается самостоятельно открыть их. Эжен, глядя на младшего брата, тоже принимается за стихи.

У изголовья госпожи Гюго на столике свеча и раскрытая книга. Книги всегда помогали ей в трудные и горькие минуты. Но сейчас не до чтения. И сон не приходит. В висках стучит, на сердце невыносимая тяжесть.

Завтра в полдень будет казнен Лагори, ее лучший друг,

крестный Виктора.

После ареста Лагори долго находился в заключении, но и в тюрьме он нашел способ снестись с единомышленниками и стал участником заговора Мале и Гидаля против Наполеона, который воевал в это время в России. Заговорщики попытались захватить ключевые позиции в Париже, занять главные государственные учреждения. Первые часы удача улыбалась им. Но в стычке с войсками коменданта Парижа заговорщики потерпели поражение. Вожаки были схвачены, обезоружены и брошены в тюрьму.

И тут начались страшные для госпожи Гюго дни. Она сделала все, что в ее силах, для спасения Лагори от казни. Вся ее энергия, все знакомства, все связи были мобилизованы. Но приговор изменить не удалось. Завтра он будет приведен в исполнение. Надежды нет.

Может ли она заснуть в эту ночь?

Казнь Лагори состоялась 29 октября 1812 года. По всему Парижу расклеены листки — извещения о приговоре военного суда по делу заговорщиков.

На следующий день госпожа Гюго, проходя по улице вместе с Виктором, остановилась перед одним из этих листков.

— Читай, — сказала она сыну.

А когда он прочел, она указала на имя Лагори.

— Запомни. Это твой крестный.

* * *

Мальчикам пришлось расстаться со своим любимым садом. Семья переселилась в более скромную квартиру на улице Шершмиди. Надо было экономить, отец присылал все меньше денег. Он уже не губернатор. Французская армия разгромлена в России. Поражение при Виттории положило конец французскому владычеству в Испании. Король Жозеф еле спасся. Его паж Абэль Гюго был при нем в дни бегства. Теперь живописный костюм пажа сложен вместе с ненужным старьем, Абэль опять с матерью и братьями.

А дела отца совсем не блестящи. Наполеон не захотел признать действительным генеральский чин, пожалованный Гюго королем Жозефом в Испании. Гюго снова в чине майора. Его назначили комендантом крепости Тионвиль. Крепость вскоре была осаждена немцами. В городке вспыхнули эпидемии, не хватало припасов. Жители и солдаты умирали от болезней и голода. Комендант всеми средствами поддерживал бодрость духа гарнизона и населения, Организовал оборону и не сдавал

крепость противнику. Он сопротивлялся долго и стойко, не зная о том, что сопротивление его уже напрасно, что знамена Бонапарта склонились и чужеземные войска подступают к Парижу.

На рассвете 29 марта 1814 года братья Гюго проснулись от страшного грохота. Вскочили с постелей, смотрят в окно: ни туч, ни дождя, а грохот все усиливается. Это пушечная пальба. Русские и пруссаки бомбардируют Париж.

Виктор ничуть не жалеет Наполеона, но у него сжимается сердце. Он с детства привык слышать о победах, о геройстве своего отца и всей французской армии. И вот все изменилось. Люди из далекой снежной России разбили французскую армию, прошли по всей Европе, и теперь казаки придут в Париж. По всему городу расклеены лубочные картинки с изображениями чудищ в мохнатых шапках, с громадными оскаленными зубами, с выпученными глазами, в ожерельях из отрубленных человеческих ушей. Неужели казаки действительно такие?

Париж сопротивлялся недолго. Толпы чужеземных солдат вскоре запрудили все улицы, разместились они и в квартире госпожи Гюго. Парижане убедились, что казаки совсем не пугала и не людоеды. Носят большие мохнатые шапки, но никаких ожерелий из человеческих ушей. И домов не поджигают, ведут себя тихо.

Война кончилась, почти в каждом доме ждут возвращения отцов, мужей, братьев. А госпоже Гюго некого ждать. С мужем полный разрыв. Она сделала последнюю попытку примириться с ним. Поехала вместе с Абэлем в Тионвиль, но Леопольд Сижисбер даже видеть ее не пожелал. Она старается не думать о том, что будет дальше. Сыновья пока с ней. Подрастут, станут помогать. Надо надеяться на лучшее. Ведь надежды иногда сбываются. Вот сбылось же, наконец, ее заветное желание — пал *Буонапарте*.

В Соборе Парижской богоматери должен состояться благодарственный молебен в честь возвращения короля. Братья Гюго, нацепив на шляпы белые кокарды, спешат взглянуть на это зрелище. Виктор ведет под руку «даму», юную Адель Фуше.

У собора густая толпа. Приближается королевский кортеж. Толстый Людовик XVIII важно восседает в коляске, украшенной золотыми лилиями, рядом с ним герцогиня ангулемская в белоснежном наряде. А за коляской понуро движутся наполеоновские ветераны. Лица хмурые, глаза потуплены. Вероятно, им стыдно, что приходится сопровождать этого подагрика в английских гетрах, приехавшего в обозе иноземцев.

Юный Виктор Гюго радовался, что, наконец, перестанет

литься кровь французов, кончатся распри, воцарится всеобщий мир. Он не понимал того, что мечты его матери о «добром короле» — несбыточная сказка.

В первые же дни возвращения Бурбонов, навязанных народу врагами Франции, в стране стало расти недовольство. Эмигранты-аристократы, вернувшиеся вместе с королем, снова сели на шею народа. Тунеядцев и кровососов стало еще больше. Буржуазная корысть, аристократическое чванство, религиозная ложь, унижение национального достоинства шествовали рука об руку в реставрированной монархии.

Людовик XVIII «даровал» своим подданным «хартию»— некое подобие конституции. Были учреждены две законодательные палаты: палата пэров, составлявшаяся по королевскому указу из родовитых дворян-землевладельцев и сановников церкви, и палата депутатов, куда могли быть избраны лишь богачи. Массы же народа, люди без состояния, были лишены права избирать и быть избранными. Над обеими палатами стоял король, которому принадлежала верховная законодательная власть.

Франция еще больше отдалилась от «государства разума», и Людовик XVIII отнюдь не сделался «отцом народа».

Быть поэтом (1814–1822)

Два подростка идут по незнакомой угрюмой улице. Рядом шагает плечистый мужчина. В воздухе копоть, дым. Раздаются тяжелые удары молота по наковальне.

Они проходят мимо кузнечных мастерских и останавливаются перед одноэтажным зданием, похожим на барак. Здесь помещается пансион Кордье и Декотта, закрытое учебное

заведение для мальчиков. Рядом с этим домом еще более мрачное здание с решетками на окнах. Тюрьма. Виктор опускает голову, сжимает зубы. Как помчался бы он назад, домой! Все осталось там — и книги, и прогулки с Аделью, и — что его сейчас особенно огорчает — их новая, такая великолепная затея — собственный кукольный театр.

Дверь пансиона захлопывается за братьями Гюго. Когда они теперь выйдут отсюда? Виктор и Эжен, конечно, не смеют критиковать решение отца, но все-таки им кажется, что он слишком безжалостен к ним.

Леопольд Сижисбер недавно приехал из Тионвиля в Париж. Он в немилости, в отставке, недоволен жизнью, правительством и, конечно, воспитательной системой госпожи Софи Требюше — так он стал называть свою жену е тех пор, как затеял бракоразводный процесс. Постановление суда еще не вынесено, это дело долгое, и Леопольд Сижисбер пока что принял собственное предварительное решение: сыновей необходимо изъять из-под влияния матери; Абэля поместить в коллеж, а младших — в закрытый пансион. Там они подготовятся к поступлению в Политехническое училище. Его сыновья должны быть инженерами или военными специалистами — словом, иметь настоящую мужскую профессию.

Опеку над Эженом и Виктором он поручил своей сестре, госпоже Мартен-Шопин. Она будет выдавать им карманные деньги на мелкие расходы, осведомляться у начальства пансиона об их поведении. А мать не должна видеться с мальчиками.

Но госпожа Гюго, одолевая все препятствия, навещает сыновей. Трудно им после привольной жизни привыкнуть к муштре и казенщине. Вставать и ложиться, гулять и читать по команде. Директор пансиона господин Кордье, конечно, просвещенный педагог, поклонник Руссо, но на уроках он очень строг и любит пускать в ход табакерку как орудие обуздания непослушного ученика.

Помощник его Декотт, преподаватель математики и латыни, относится к воспитанникам еще суше и жестче, чем Кордье. Преисполненный сознанием собственной непогрешимости, Декотт не терпит никаких возражений и яростно искореняет дух вольномыслия в головах воспитанников.

Первые дни братьям Гюго было очень тоскливо, но понемногу они освоились. На одной из перемен Виктор и Эжен предложили товарищам устроить в пансионе театр — не кукольный, а настоящий, с живыми актерами. И скоро весь пансион охватила театральная горячка. Пьесы сочиняли сами, и, конечно, о войне. Каски, ордена и сверкающие сабли изготовлялись из картона, из

серебряной и золотой бумаги. Залихватские усы вырастали при содействии жженой пробки. Сценой служили сдвинутые столы в одном из просторных классов.

Основатели пансионского самодеятельного театра, братья Гюго, скоро превратились в полновластных «королей». Все воспитанники разделились на две партии, два народа: «собаки» подчинялись Виктору, «телята» — Эжену. «Повелители» устраивали конгрессы, карали и миловали «подданных», строго муштровали «адъютантов». И «подданные» беспрекословно подчинялись им.

* * *

До пансиона Кордье доносились отзвуки политических споров и волнений «большого мира». Весна 1815 года была особенно тревожна для парижан. Наполеон бежал с острова Эльбы, высадился 1 марта в Каннах, с триумфом прошел по Франции и вновь занял императорский трон. Бурбоны покинули пределы Франции. Сто дней правления Наполеона обнаружили несостоятельность упований тех, кто провозглашал его «народным императором». Число его сторонников все уменьшалось. Народу были враждебны и Бонапарт и Бурбоны. Но лишь немногие в то время понимали это. Одним казалось, что Наполеон носитель и провозвестник подлинного прогресса, другие же видели в нем лишь беспринципного карьериста и узурпатора, а в Бурбонах — представителей «истинной Франции», защитников ее исторических традиций.

Виктор часто слышал такие слова от матери. Лагори, которого юный Гюго считал борцом за свободу, вступал в заговоры против Наполеона. Пьер Фуше, старинный друг семьи — роялист, и другие знакомые матери — защитники старого режима. Отец, правда, служил республике, а потом Бонапарту, но ведь тот никогда по-настоящему не ценил заслуг генерала Гюго, был несправедлив к нему.

Тринадцатилетний Виктор Гюго решительно осуждает императора и убежден, что каждый, кто любит свободу, кто ненавидит войны и кровопролитие, должен ненавидеть этого деспота, а *следовательно*, должен любить законного короля Франции Людовика XVIII, с появлением которого в стране установился мир.

Эту аргументацию, заимствованную у матери, Виктор считает несокрушимой и очень хочет убедить в своей правоте и окончательно обратить в свою веру молодого учителя Феликса

Бискарра, расположением и дружбой которого особенно дорожит. Бискарра недавно приглашен в пансион. Он совсем не похож на Кордье или Декотта. Молодой. Всего на шесть лет старше Виктора. Умный, веселый, простой, обо всем с ним можно говорить. Он сохранит любую тайну.

Как-то июньским утром 1815 года, пользуясь ослаблением бдительности пансионского начальства, Бискарра ускользнул с двумя своими юными приятелями на прогулку, отнюдь не предусмотренную расписанием дня.

Они долго взбирались по нескончаемой и очень крутой лестнице, которая ведет под самый купол здания Сорбоннского университета.

За окном — необъятная панорама. Париж и его окрестности. Все видно как на ладони.

Прозрачное, сверкающее, смеющееся утро. Яркая зелень. Щебечут птицы. И страшным, режущим диссонансом звучит в этом пронизанном солнцем воздухе грохот пушек. Там, за чертой города, в поле защитники Бонапарта сражаются с защитниками Бурбонов. Маленькие фигурки солдат. Бегут, падают. И Виктору кажется, что он ясно видит, как на зеленую траву льется горячая кровь.

За что они умирают? Ради чего? Разве хотят они этого? Разве нужно им самим и их семьям, чтоб они умирали, защищая Наполеона или короля Людовика? И как может солнце сиять так весело, освещая весь этот ужас?

Виктору хочется найти какие-то особенные слова, чтоб выразить свои еще неясные мысли, чтобы передать свое негодование, боль, недоумение. Написать стихи. Он пробовал писать стихи и раньше, до пансиона. Тогда это было для него чем-то вроде игры. Теперь же это стало необходимостью, превратилось в страсть. Он не может не писать стихов. А ему не дают на это времени. Все по расписанию: занятия, игры, прогулка, приготовление уроков. Кордье и Декотт строго следят, чтоб воспитанники не занимались чем-либо неположенным.

Для сочинения стихов остается только ночь. Ночью никто не мешает. Все думают, что он спит, а он ищет слова, рифмы. Это интереснее всего на свете. Закроешь глаза, сосредоточишься — как лучше передать мысль, — и слова, будто живые, блестят, переливаются разными красками, бегут наперегонки и вдруг становятся в ряды, складываются в строчки. Правда, бывает, что они упрямятся, не хотят становиться в строй, но он их заставляет слушаться. Ищет, отбрасывает, выбирает, складывает и… незаметно засыпает.

Можно также сочинять стихи во время воскресной обедни. И

почему-то в часы молитв в голову идут совсем не набожные мысли:

> «За муки *здесь* должна быть *там* награда», —
> Так в утешение нам вера говорит.
> А инквизиция, устроив ад земной,
> Ведет нас в рай дорогою прямой…

Виктор запоминает то, что сочинил, а потом потихоньку записывает. В ящике его стола хранятся заветные тетрадки, они всегда заперты на ключ. В тайну посвящены Эжен, мать и учитель Бискарра. В тетрадях стихи разных жанров: баллада «Последний бард» и элегия «Дочь Канады», басня «Жадность и зависть», эпиграммы, мадригалы — и все это по правилам поэтики Буало. Виктор теперь хорошо усвоил правила стихосложения.

Особенно интересно писать стихи на политические темы, о последних событиях. Через несколько дней после битвы при Ватерлоо, последней битвы Наполеона, о которой все кругом так много говорили, Виктор уже читает Бискарра свое новое стихотворение. Юный Гюго обращается к Наполеону:

> С твоею гибелью настала для народа
> Давно желанная свобода!..

«Свобода прежде всего!» Виктор хорошо помнит эти слова крестного и с детской наивностью продолжает верить, что свобода может расцвести и под сенью монархии Бурбонов.

Однажды вечером он с ужасом увидел, что замок в его столе взломан и ящик с заветными тетрадками пуст. Кто посмел сделать это? Вероятно, Декотт. Он вечно следит, чтобы воспитанники не занимались чем-либо недозволенным, а стихотворство считает особенно серьезным проступком и давно уже подозревает Виктора.

«Преступника» тут же вызвали к начальству. Кордье и Декотт сидят в грозном молчании, перед ними на столе разложены тетради, и дневник открыт как раз на той странице, где дана совсем не почтительная характеристика Декотта.

— Вам было запрещено заниматься стихотворчеством и говорилось об этом неоднократно. Как вы осмелились ослушаться? — спрашивает Декотт, нахмурившись.

— А кто вам разрешил, господин Декотт, взламывать чужие замки?

Декотт не верит своим ушам. Как? Вместо раскаяния, слез

такая неслыханная дерзость!

— Вы хотите, чтоб вас исключили из пансиона? Вы этого добьетесь!

— Отдайте мои тетради, — отвечает «преступник». Он не хочет раскаиваться.

Декотт смотрит на Кордье. Кордье — на Декотта. Может быть, они действительно перестарались? Стоит ли обострять конфликт?

— Возьмите ваши тетради, — ледяным голосом говорит Кордье и начинает читать длинную нотацию строптивому поэту.

Виктор молча слушает, берет тетради и уходит. Он знает, ему теперь придется трудно, злопамятный Декотт всячески будет преследовать его на уроках математики. Ничего, все-таки победа одержана.

* * *

В 1817 году Парижская Академия объявила конкурс по отделу поэзии на тему «Счастье, доставляемое наукой во всех положениях жизни». Виктор решил испробовать свои силы в соревновании с настоящими поэтами. Длинная ода, сочиненная по всем правилам, с историческими примерами, красноречиво доказывает, как возвышают человека науки в самых трудных жизненных обстоятельствах.

В свой замысел Виктор посвятил Феликса Бискарра. Тот обещал помощь.

Во время очередной прогулки Бискарра выстроил пансионеров у здания Академии и велел им подождать несколько минут, а сам, подхватив Виктора, бросился с ним стремглав в канцелярию Академии. Красные, запыхавшиеся, ворвались они в это святилище и вручили рукопись седовласому величественному старцу, исполнявшему обязанности секретаря. Во дворе Академии они встретили Абэля и, захваченные врасплох, выдали ему свою тайну.

Потянулись дни ожидания. Страхи, тревоги, сомнения и робкая надежда; ее поддерживает Бискарра. Учитель и ученик смотрят друг на друга глазами заговорщиков.

А жизнь в пансионе идет своим чередом. Все так же суров и непримирим Декотт, все так же трудны задачи по математике, и по-прежнему приятно пробежаться на большой перемене по пансионскому двору взапуски с товарищами или сыграть партию в кегли. В разгар одной из таких игр Виктор вдруг увидел во дворе старшего брата Абэля. Почему он появился здесь в неурочный час?

— Эй ты, поди-ка сюда! — кричит Абэль Виктору.

Виктор мчится навстречу брату. Неужели Абэль принес какие-нибудь известия о конкурсе?

— И зачем только тебе понадобилось сообщать Академии о своем возрасте? — говорит Абэль. — Не напиши ты, что тебе «всего пятнадцать лет», может быть, дали бы медаль, а теперь довольствуйся похвальным отзывом.

Весть о похвальном отзыве, который снискало в Академии сочинение пятнадцатилетнего поэта, появляется в газетах. Все поздравляют Виктора. Мать гордится им. Бискарра в восторге. Декотт сменяет гнев на милость, уж не говоря о Кордье.

«Собаки» славят своего повелителя, «телята» один за другим перебегают к нему из лагеря Эжена. И Эжен особенно не огорчается. Детские игры уходят и прошлое.

* * *

Аудитория почти пуста. Лекция тянется бесконечно. Профессор философии бывший аббат Могра тщетно пытается увлечь слушателей своим красноречием. Он подымается на носки, делает смешные ораторские жесты и воображает, вероятно, что очень похож на Мирабо, знаменитого оратора времен революции.

Виктор Гюго склонился над тетрадью и пишет, пишет. Могра, задав аудитории очередной риторический вопрос, поощрительно обращается к самому внимательному слушателю:

— Что вы ответили бы на это, Виктор Гюго?

Юноша вздрагивает и с недоумением смотрит на профессора. Может ли он признаться, что даже не слышал, о чем идет речь?

На экзамене по философии Виктору не удалось достаточно убедительно доказать существование бога, а именно в этом заключалась задача студентов, писавших конкурсные сочинения. Премии ему не присудили. Успешнее прошел экзамен по физике — Виктор получил шестую премию.

Братья Гюго — студенты лицея Луи ле Гран, но все еще живут в пансионе Кордье. На каникулах они часто бывают у старшего брата, ему уже исполнилось двадцать лет, и отец снял для него отдельную квартиру. У Абэля много друзей — начинающих литераторов и журналистов. Первого числа каждого месяца все они собираются в ресторане Эдона на улице Старого театра. Трапезы скудные. За десертом мало вина, но зато в изобилии льются стихи.

На эти дружеские сборища Виктор обычно ходит вместе с Эженом, который тоже пишет стихи, но бывает, что брат

отказывается: он иногда почему-то мрачен и раздражителен, такое настроение находит на него все чаще.

Друзья в сборе. Абэль что-то горячо доказывает типографу Жиле. О, этот Жиле, как он нарядился! Фрак усеян мелкими блестящими пуговками, фалды в форме рыбьего хвоста, талия где-то у затылка.

Виктор с грустью оглядывает свой скромный ученический костюм с потертыми коленками. Как далеко ему до вершин моды!

За столом обсуждается новый проект. Все они давно пишут стихи, почему бы им не испытать свои силы в прозе?

— Предположим, что несколько друзей-офицеров собираются в момент затишья между боями и рассказывают друг другу какие-нибудь замечательные случаи из своей жизни, — предлагает один из друзей. Мысль подхвачена.

— Прекрасно! Каждый будет офицером-рассказчиком. Так удастся объединить в одной книге самые различные таланты.

Встает вопрос о сроках. Виктор решительно заявляет, что его повесть будет готова через две недели.

— Ох, и скор же ты, братец, — качает головой Абэль. — Ну, подумай, как можно в такой срок сочинить и переписать целую повесть?

Нарядный Жиле и все другие смеются.

— Это ребячество!

— Хотите пари? Если не напишу — угощаю всех обедом вот здесь. Через две недели.

Голова Виктора поднята, он смотрит на друзей с вызовом, он не шутит.

— Ладно. Пари принято. Следующая встреча состоится не первого, а пятнадцатого, — говорит Абэль.

Ровно через две недели все сидят за тем же столиком в ресторане Эдона. Входит Виктор. В руках у него объемистая папка. Неужели написал?

После десерта началось чтение. Сначала слушают недоверчиво, посмеиваются, но постепенно выражение лиц изменяется. Все захвачены. Уже поздний вечер, но они не расходятся, обмениваются мнениями.

— Как живо написана повесть!

— И совсем новая тема. Кажется, никто еще не делал своим героем негра. И к тому же современно: восстание в Сан-Доминго. Такие восстания действительно были.

— Значит, Виктор на стороне повстанцев? — спрашивают друзья.

— Но ведь невольники были доведены до отчаяния жестокостью белых плантаторов и не могли больше терпеть, —

отвечает автор.

Юный Гюго читал в старых газетах о восстаниях петров в Сан-Доминго. Еще не вникая в глубь явлений, он встал на защиту угнетенных. В негре он увидел человека, в повстанце Бюг Жаргале — борца за справедливость.

В этой повести он пытался осмыслить не только борьбу угнетенных в колониях, но и свое отношение к революции вообще. Рисуя кровавые сцены расправы повстанцев над плантаторами, он невольно вспоминал то, что читал и слышал о республике якобинцев. Он осуждал террор и кровопролитие, боялся его и не мог принять. Ему бы хотелось, чтоб исторические перевороты, восстанавливающие права человека, совершались без крови и насилия.

За столом у Эдона не входили в подробности, обсуждая мастерство молодого автора. Эта повесть с ее условными характерами, декоративными пейзажами, до предела сгущенными красками произвела на слушателей большое впечатление. Пари выиграно. Каждый по очереди теперь должен угощать победителя обедом и читать собственное произведение.

Но, увы, денег на обеды у «авторов» не хватало, и вдохновение не приходило. Коллективное произведение так и не было создано, сборища у Эдона прекратились.

* * *

В августе 1818 года, наконец, вынесено решение по делу о разводе супругов Гюго: сыновья остаются с матерью. Они переселились в ее скромную квартиру на улице Августинцев. Отец живет в Блуа, недалеко от Парижа. Получив развод, он вступил в законный брак со своей корсиканкой. С сыновьями он почти не видится, они считают его чужим.

Юноши продолжают посещать лицей, но на лекциях по математике Виктор усердно изучает очень далекое от этого предмета сочинение «Гений христианства». Автор его, Шатобриан, стал особенно модным и влиятельным писателем в годы Реставрации. Родовитый дворянин, он сражался в 1793 году в рядах интервентов против республики, потом эмигрировал в Англию и вернулся на родину после объявленной Наполеоном амнистии аристократам-эмигрантам.

Заклятый враг революции и идей философов-просветителей, ее провозвестников, Шатобриан с позиций монархиста и католика атаковал в своих сочинениях ненавистный ему буржуазный порядок, устанавливавшийся во Франции после революции.

Просветительскому культу разума автор «Гения христианства» противопоставил культ веры, культ слепой стихии чувств. В трактат он включил две повести: «Атала» и «Рене»; Герой Шатобриана бежит от современного мира с его борьбой в дикие леса «Нового света» и там на лоне природы предается воспоминаниям и раздумьям о своей горестной судьбе.

Повесть «Рене» вызвала взволнованный отклик у читателей. В ее герое они находили черты современника — человека послереволюционной эпохи, обманувшегося в своих ожиданиях, разочарованного, душевно смятенного.

Выспренность, пышность фразы, погоня за внешними эффектами, свойственные Шатобриану, производили огромное впечатление на юного Гюго. Шатобриан ошеломлял, ослеплял его своим пафосом и велеречивостью. К вопросам религии, которые занимали такое большое место в «Гении христианства», Гюго был, по существу, равнодушен, он воспринимал главным образом поэтическую сторону в риторических построениях защитника католицизма и монархии.

Но не один Шатобриан был в эти годы властителем дум начинающего писателя. На его книжной полке стояли старые верные друзья — томики Тацита и Вергилия, Мольера и Вольтера. Он не забывал их. А рядом с «безбожным» Вольтером — библия. В ней Виктора привлекала поэзия древних легенд, образы мучеников и пророков.

Его влекли и современные романы. Вместе со своими сверстниками открывал он книги Вальтера Скотта, Жермены де Сталь. Эта писательница, прославившаяся еще в начале века, отстаивала в своих романах права женщин на свободу чувств и самостоятельность духовной жизни. Госпожа де Сталь страстно интересовалась политикой, была ненавистницей Бонапарта и в годы империи жила в эмиграции. Она написала несколько трактатов, в которых выдвинула мысль о неизбежной связи литературы с общественным строем своего времени, и одна из первых заговорила о новом направлении искусства — романтизме, утверждая, что современная эпоха нуждается в новой, соответствующей ей литературе.

* * *

Госпожа Гюго разрешила сыновьям оставить лицей и всецело посвятить себя литературной деятельности. Эжен тоже одерживал победы на поэтическом поприще. В 1818 году за оду он получил премию от Тулузской Академии, ежегодный конкурс которой

носил торжественное название «Флорийские игры».

Братья счастливы, что могут заниматься тем, к чему их влечет, но озабочены вопросом, как заработать на жизнь. Отец в опале, в отставке, сам живет на скромную пенсию, да к тому же он сердит на сыновей: они пошли не тем путем, на который он их направлял, и избрали весьма сомнительную профессию.

Как-то раз совершенно случайно Виктор встретил отца у знакомого генерала Люкотта. За столом зашел разговор о политике, и Виктор, сверкая глазами, начал отстаивать свои монархические взгляды. Отец слушал молча, а потом сказал:

— Надо все предоставить времени. Ребенок говорит словами матери, но это пройдет: годы докажут их несостоятельность, и взрослый человек разделит убеждения отца.

Потом Виктор не раз вспоминал эти слова, но тогда они казались ему обидными и несправедливыми. Он ничего не станет просить у отца, он докажет, что уже не ребенок и сам может постоять за себя.

Где бы найти заработок?

Выручил Абэль. Завязав знакомства с литераторами и типографщиками, он решил испробовать свои силы на издательском поприще и основать небольшой двухнедельный журнал «Литературный консерватор» — приложение к политическому журналу Шатобриана «Консерватор». К работе Абэль привлек и младших братьев. Скоро главную роль в журнале стал играть Виктор.

* * *

Склонившись над листом бумаги, Виктор Гюго набрасывает статью о комедии Скриба, которую недавно видел в театре. Читатель должен думать, что в журнале очень много сотрудников и среди них есть убеленные сединами солидные люди, с мнением которых необходимо считаться. Например, д'Оверне пишет иначе, чем Аристид, Публикола отличается от Петиссо. А сколько в журнале литераторов, подписывающих свои статьи одной буквой: B, E, H, M, O, V… Кто может предположить, что вся эта армия журналистов — один человек и этому человеку едва исполнилось семнадцать лет!

Мысли так и бегут, сравнения, метафоры сами собой выскакивают из-под пера.

Журналисту надо буквально всюду поспевать. Спектакли, выставки картин, концерты и масса новых книг различных жанров: стихи, поэмы, романы, драмы, ученые сочинения — обо

всем надо иметь свое мнение. Эрудиция настоящего журналиста должна быть безгранична. Виктор это понимает. Запасы образов из старинных легенд, мифов, из библии, из сочинений классиков, из современных романов и драм, груды фактов из всевозможных справочников и к тому же собственные впечатления — виденное своими глазами. Все это надо суметь мгновенно мобилизовать, расставить по местам и двинуть в бой.

Его многочисленные статьи о литературе посвящены и крупнейшим писателям — Лесажу, Вольтеру — и молодежи, которая только начинает свой путь. Пытаясь осмыслить пеструю литературную жизнь, Гюго уже видит, что современная ему французская литература бедна.

В заметках о литературе 1820 года он пишет: «Бедное наше время! Масса стихов, но нет поэзии, много водевилей, но нет театра… Когда же этот век даст литературу на уровне своего социального движения, поэтов, столь же великих, как и события?»

Он рецензирует в журнале не только художественные произведения, но и исторические труды. Чтение Тацита с детства развило в нем вкус к истории — Виктор перелистал десятки томов, посвященных истории Франции и других стран. Ему хотелось проникнуть в дух народов; изучая события прошлого, яснее понять современность. Но авторы многотомных сочинений, к сожалению, не всегда помогают в этом читателям; излагая факты, ученые мужи редко вникают в их внутренний смысл. «Большая часть наших книг по истории представляет собой не что иное, как хронологические таблицы и перечень фактов», — замечает Гюго.

Он прочел исследование Левека по русской истории. Судьбы России и ее роль в развитии исторических событий особенно остро интересуют многих людей Запада после войны 1812 года.

«В Европе сейчас три исполина — Франция, Англия и Россия, — пишет Гюго. — После недавних политических потрясений каждый из этих колоссов занял свою особую позицию и сохраняет ее. Англия продолжает удерживаться, Франция подымается вновь, Россия восходит. За одно столетие с удивительной быстротой выросло это молодое государство посреди старого материка. Его будущее чрезвычайно весомо для наших судеб. Не исключена возможность, что „варварство“ России еще обновит нашу цивилизацию… Это будущее России, столь важное сегодня для Европы, придает особую значительность ее прошлому».

Из трех объемистых томов материалов, напечатанных в журнале «Литературный консерватор» за пятнадцать месяцев его существования, два тома составляют оды, сатиры, статьи и

обзоры, написанные Виктором Гюго, выступавшим под разными именами.

Конечно, далеко не все суждения молодого Гюго отличаются глубиной и зоркостью. Нередко он повторяет привычные мнения, поет с чужого голоса. И все же многие его статьи и рецензии обнаруживают не только поистине редкую для юноши его возраста эрудицию, но и меткость оценок, умение выделить значительное в произведении.

Гюго остро ощущает кризис, переживаемый французской литературой, и прав, говоря о ее бедности.

К началу двадцатых годов XIX века еще не выступили великие французские писатели, которым по плечу было осмыслить череду ошеломляющих событий предшествующего тридцатилетия, но уже появились первые предвестники будущего расцвета и обновления.

Когда прошло опьянение, вызванное «громом побед», когда поникли наполеоновские знамена и Франция вновь подпала под обветшавшее ярмо старого режима, протест и разочарование широких кругов стали нарастать с каждым годом. Возникали тайные общества, заговоры против монархии Бурбонов. В оппозиции к ней объединялись различные политические партии: республиканцы, либералы, бонапартисты. Уже распространялись идеи великих мечтателей Сен-Симона и Фурье.

Растущий протест отражался и в литературе.

В то время как Гюго строчил очередную торжественную оду или статью для «Литературного консерватора», его старший современник, сорокалетний Пьер Жан Беранже, сочинял новую политическую песню. Он хлестал, разил, высмеивал безмозглых «маркизов Караба», примчавшихся на тощих скакунах из эмиграции в родовые поместья, чтобы роскошествовать, высасывая соки из крестьян.

Задумал старый Караба
Народ наш превратить в раба.

Но народ должен восстать против жадной чванливой своры, Беранже мечтал об этом. Он призывал народы Европы объединиться в «Новый священный союз», противостоящий союзу королей и императоров. Из уст в уста передавались его вольные, искрометные песни.

Прислушивались французы и к голосу другого честного и смелого писателя. По всей стране распространялись памфлеты Поля-Луи Курье. Друг виноградарей и землепашцев, защитник трудового люда, он обличал угнетателей.

А из туманной Англии несся голос Байрона.

Гюго зачитывался его сочинениями. «Странствования Чайльд-Гарольда», стихи, южные поэмы… Они кипели гневом, ненавистью к миру тунеядцев, ханжей и палачей, к тому миру, где

Чулки драгоценнее жизни людской,
И виселиц ряд оживляет картину,
Свободы расцвет знаменуя собой.

В мрачном и горделивом байроновском герое как будто проступали черты сходства с Шатобриановым Рене. Горечь, разочарование, одиночество. Сходство и в то же время какое огромное различие!

Герой Байрона душой с теми, кто борется: с испанцами, отстаивающими родину от захватчиков-французов, с ткачами, в отчаянии ломающими машины, с помощью которых все больше закабаляют рабочих хозяева.

Герой Шатобриана глядит в прошлое, бежит от борьбы, ищет свободы лишь для себя одного. Ему мила католическая религия, с ее «таинствами» и лжечудесами, он окружает ореолом то, что ненавистно таким, как Беранже и Байрон.

Байрон был одним из первых в Европе революционных романтиков; Шатобриан — одним из зачинателей реакционного романтизма.

Современники, в том числе и молодой Гюго, не отдавали себе ясного отчета в существе этих различий. Термин «романтизм» вообще не имел тогда четкого содержания. Романтиками называли всех писателей, недовольных миром и собой, ищущих новые пути в литературе. Между тем поиски эти велись с разных сторон.

Не все ранние французские романтики шли вслед за Шатобрианом, хотя его и называли главой «новой школы». Во французском романтизме уже наметилась другая линия. Героини Жермены де Сталь смотрели не в прошлое, а вперед, пусть даже горизонты их и были ограничены. Эта писательница стояла на либеральных позициях. Их занимал и ее друг Бенжамен Констан, видный писатель и политический деятель, автор талантливого романа «Адольф» (1816). И госпоже Сталь и Констану были чужды феодально-католические устремления Шатобриана; взгляды их для своего времени были прогрессивны, хотя и далеки от революционности.

В 1818 году вышел роман Шарля Нодье «Жан Сбогар». Его герой, романтический разбойник, во многом перекликался с героями Байрона, уступая им, однако, и в силе протеста и в

художественной выразительности.

И все же ярких, новаторских книг в первое двадцатилетие XIX века во Франции появилось мало. Особенно отставали от жизни «высокая» поэзия и драматургия. В поэтических отделах журналов господствовали бесцветные, тяжеловесные оды. На сценах театров герои подражательных трагедий в напудренных париках времен Людовика XIV произносили напыщенные монологи, боролись, любили и умирали по правилам устаревшей поэтики.

Дух подражания, оглядка на прошлое явно тормозили развитие нового и живого в литературе. По «правилам», регламентированным в знаменитой книге писателя XVII века Буало «Поэтическое искусство», литературные жанры отделялись один от другого непроницаемой стеной. Трагическое не могло сочетаться с комическим; сюжеты трагедий черпались преимущественно из древней истории, из античности. Действие пьес сковывалось требованиями так называемых трех единств. Все изображенные в пьесе события должны были укладываться в одни сутки и происходить в одном месте. Язык «высоких жанров» литературы был отгорожен от живой речи, сглажен, подстрижен, выровнен, отполирован. В трагедию не допускались герои-простолюдины, а в стихотворный язык — «слова-плебеи». Движение стиха сковывалось ритмическими канонами. В «высоких жанрах» законным считался александрийский стих, двенадцатисложная строка, разделенная на две равные части интонационной паузой — цезурой.

Принужденная жеманно выступать в жестком корсете старых правил, придавленная запретами, французская поэзия под пером эпигонов начинала блекнуть и чахнуть.

Защитники старины в литературе были в большинстве своем защитниками старого режима в политике.

Ученые «мэтры», засевшие в Академии, в школах и лицеях, министерские чиновники, редакторы официальных журналов и их подручные всячески ограждали литературу от вмешательства новаторов — «бунтарей», видя в них нарушителей общественного порядка.

Литературные позиции юного Гюго в годы его работы в журнале еще не определились. Он хотел быть одновременно и хранителем старого «хорошего вкуса» и другом свободы; и поклонником музы Шатобриана и последователем Байрона; и традиционалистом и новатором. Уже стихийно нарушая в своих произведениях «нерушимые» нормы классицизма, он, однако, не помышлял еще о присоединении к какой-либо новой литературной «школе». Зачем говорить о классиках и романтиках, поднимать отвлеченные споры, когда надо попросту различать,

что хорошо, а что плохо в произведении, думал он.

Похороны и свадьба (1818–1822)

Под вечер, в час отдыха, братья Гюго вместе с матерью навещают своих старых друзей — семью Фуше.

Они идут пешком. Здание Военного совета, где живут Фуше, недалеко от улицы Августинцев. Впереди рука об руку шагают двое юношей в скромных темных костюмах — оба среднего роста, крепкие, широкоплечие. За ними следом — маленькая женщина в мериносовом платье розовато-лилового цвета, на плечах у нее шаль, затканная пальмовыми ветвями, на руке неизменный

ридикюль.

Братья идут молча. Оба задумались о чем-то. Весна, цветут каштаны, на деревьях как будто белые свечи. Солнце заходит, тени домов становятся длиннее и кажутся сиреневыми. Госпожа Гюго то и дело поднимает глаза и смотрит на сыновей. Виктор так и рвется вперед. Кажется, отпусти Эжен его руку, он помчится, полетит.

Чем объясняется это нетерпение? Ведь тихие вечера в семейном кругу как будто не могут представлять ничего особенно заманчивого для юноши его возраста.

Просто обставленная комната. Ярко пылает камин. За круглым столиком все те же лица. Пьер Фуше всегда погружен в чтение газеты. Женщины заняты рукоделием, юноши тихо переговариваются между собой. Впрочем, больше молчат.

Изредка звучит голос госпожи Гюго. Она протягивает своему старому другу табакерку.

— Не угодно ли?

— Пожалуй, — отвечает Пьер Фуше. Или: — Спасибо. Я только что нюхал.

Книга открыта перед Виктором, но он не читает. Он смотрит на девичье лицо, склоненное над вышиваньем. Вдруг длинные ресницы взлетают и два карих глаза глядят прямо в его глаза. Но когда мать поднимает голову, Виктор смотрит только в книгу.

Госпожа Гюго останавливает взгляд на лице сына. Нет. Она ничего не заметила. Она просто любуется чистым строгим лицом юноши. А вот Эжен все замечает, только молчит. Ему очень хочется, чтоб Адель взглянула и на него, но она только на Виктора и смотрит.

Госпожа Гюго возвращается к своему вязанью. Может ли она предположить, что ее правдивый сын, которого, как ей кажется, она видит насквозь со всеми его планами и мечтами, вдруг стал что-то скрывать от нее?

Они возвращаются домой. Поздний вечер. Мать укладывается в постель и открывает томик Вольтера или последний выпуск журнала «Литературный консерватор», где напечатаны новые статьи и стихи Виктора.

А Виктор сидит в это время у своего стола. Каждый вечер он пишет Адели обо всем пережитом и передуманном за день.

Ее ответы не очень регулярны, сдержанны, она боится писать о своих чувствах, боится встречаться с ним наедине, а вдруг узнают родители, что тогда будет? И все-таки они иногда видятся тайком в Люксембургском саду.

Старшие, конечно, засмеялись бы или возмутились, если б узнали об их чувствах. Совсем еще дети — ему семнадцать, ей

шестнадцать, да к тому же оба бедны — и вдруг какие-то разговоры о любви, о браке. А они дали друг другу слово. Виктор знает, чтоб жениться на Адели, надо встать на ноги. И он будет работать изо всех сил. Он завоюет и счастье и славу!

* * *

Февральским утром 1820 года на улицах, в лавках, в частных квартирах парижан на все лады обсуждалось последнее событие. Сын графа д'Артуа, возможный наследник престола, герцог Беррийский был убит накануне вечером при выходе из театра. Его убил ударом кинжала республиканец Лувель. В журнале «Литературный консерватор» Гюго поместил обзор откликов печати на смерть герцога Беррийского и сейчас же начал сочинять оду, посвященную этому событию.

Лувель был приговорен к смертной казни. Виктору это возмездие казалось справедливым. И все же что-то дрогнуло в нем, когда во время прогулки по городу он столкнулся с шествием осужденного к месту казни. Живого человека связали веревками и ведут на убой, как животное. Если Лувель совершил свое преступление в одиночку, то тут в убийстве участвует целое общество и делает это хладнокровно, обдуманно. Такие мысли были мучительны. Они как-то не вязались с торжественной одой, которую сочинил Виктор, но отделаться от них было трудно.

В оде, созданной с истинно журналистской быстротой, не было места сомнениям. В ней поэт, исполненный негодования против убийцы, прославлял династию Бурбонов. Ода была напечатана в февральском номере «Литературного консерватора», а потом Абэль при помощи своих друзей-типографов издал ее отдельной брошюрой.

О Викторе Гюго говорили в Париже как о поэте, подающем большие надежды. Ему передали, что знаменитый Шатобриан с похвалой отозвался об оде «На смерть герцога Беррийского» и назвал Гюго «возвышенным ребенком».

Еще одну награду завоевал молодой поэт: Тулузская Академия за оду «Моисей на Ниле» присудила ему почетное звание «магистра Флорийских игр».

Как он был бы счастлив, если б мог сложить все эти победы, награды, призы, похвалы к ногам Адели! Но он больше не видит ее, и писать письма ему запрещено.

Мать Виктора открыла их тайну, заметила те немые разговоры, что они вели у камина. В день годовщины их тайного обручения — 26 апреля 1820 года — влюбленных разлучили.

Самый счастливый день в году стал для Виктора самым несчастным.

Мать резко прервала всякие отношения с семьей Фуше — своими единственными друзьями, чтоб удержать сына от шага, который, как ей казалось, будет для него гибельным.

Все кругом потускнело для Виктора. Он знает: Адель не согласится встречаться с ним тайком от родителей. Как передать ей, что он всегда будет любить ее? И он нашел способ. В журнале «Литературный консерватор» появилась «Элегия изгнанного». Фуше выписывают этот журнал. Адель должна понять, к кому обращены строки:

Думай обо мне всегда
И клятвам нашим будь верна…

* * *

Друзья передали Виктору Гюго, что Шатобриан удивляется, почему молодой поэт до сих пор не сделал никаких шагов, чтоб встретиться с ним. И вот Гюго звонит у дверей дома прославленного писателя.

Сердце стучит так громко, что кажется, будто все кругом слышат этот стук. Слуга ведет Виктора в гостиную. Шатобриан стоит спиной к камину, милостиво кивает и, не меняя позы, обращается к юноше:

— Мосье Гюго! Очень рад вас видеть. Я читал ваши стихи — и на Вандейскую войну и на смерть герцога Беррийского. Моя старость дает мне право быть откровенным, а потому я без стеснения могу сказать, что есть строки в ваших одах, которые не особенно мне нравятся, но зато хорошие места написаны поистине безукоризненно.

Виктор чувствует себя и польщенным и несколько уязвленным, он произносит какие-то учтивые слова, ему хочется скорее убежать домой. Хорошо, что в комнату входят другие гости и внимание хозяина отвлечено от молодого поэта. Теперь Виктор может поднять глаза и рассмотреть Шатобриана.

Он невысок, но так гордо держит голову, что кажется высоким. Во всей фигуре видна военная выправка, плечи широкие, черный сюртук застегнут доверху. Выражение лица строгое и надменное, взгляд величавый. Редко на этом лице появляется улыбка.

Гюго написал оду «Гений», обращенную к Шатобриану, и

после первого визита нередко навещал его. Но подлинной духовной близости ни теперь, ни позже между ними так и не возникло.

* * *

Мерцает ночник. Тикают часы. Слышится хриплое, прерывистое дыханье больной. Заснула ли она? Наступит ли, наконец, улучшение?

В последнее время госпожа Гюго часто прихварывала.

— Это все потому, что мне не хватает воздуха, зелени, — жаловалась она сыновьям. Она всегда любила цветы, деревья. Вспоминала Фейльянтины. Наконец нашла новую квартиру, небольшую, но зато с садом. Радовалась, спешила переехать, даже не хотела дождаться, пока сделают ремонт.

— Сама справлюсь. Сыновья помогут. Мужчины всё должны уметь делать своими руками, да к тому же и деньги сэкономим, — говорила она. И они красили, белили, клеили, как заправские маляры и обойщики. А потом началась работа в цветнике. В один особенно теплый весенний день госпожа Гюго решила во что бы то ни стало привести в порядок все клумбы. Сказано — сделано. Она всегда была такая. Устала, разгорячилась, выпила холодной воды и на другой день слегла. Началось воспаление легких.

Еще совсем недавно все это было, а Виктору кажется — давным-давно. Одна такая ночь у постели больной как целая вечность.

27 июня 1821 года после полудня Виктор и Эжен сидят вдвоем у постели матери. Она не просыпалась с самой ночи. Может быть, ей станет лучше. Виктор наклонился, тихо коснулся губами ее лба и почувствовал ледяной холод.

Трудно возвращаться в опустевший дом после похорон. Каждая вещь напоминает ту, кто была душой этого дома. Шаль с пальмовыми ветвями. Томик Вольтера…

— Надо написать отцу, — говорит Абэль.

Виктор пишет, с трудом сдерживая рыданья:

«Вчера в три часа дня, после трех лет страданий, месяца болезни и восьми дней агонии она умерла. Ее похоронили сегодня в шесть часов вечера».

Совсем стемнело. Виктор бредет один по улицам, не отдавая себе отчета, где он, и неожиданно оказывается около здания Военного совета. Здесь живут Фуше. Уже поздно, но их окна

почему-то освещены особенно ярко, некоторые распахнуты, и оттуда несутся звуки музыки, смех.

Он поднимается по знакомой лестнице. Проходит через пустой зал. Свечи зажжены. Навстречу идет бледный юноша с остановившимся взглядом, на шляпе черный креп. Это зеркало. Это он сам идет по пустому залу. Останавливается у стеклянной двери, глядит. Вот она, Адель. Танцует. Веселая, нарядная, с цветами в черных кудрях. Как она может веселиться, когда у него такое горе? Без сил он прислоняется к дверной раме. А потом уходит из этого дома в ночную темноту. Один.

Наутро он снова пришел к зданию Военного совета. Кажется, сами ноги несли его сюда. В саду он встретил Адель. Она бросилась навстречу и испугалась, увидев его убитое лицо.

— Что случилось?

Он сказал ей о своем горе. Адель заплакала. Она ничего не знала об этом вчера, когда танцевала с цветами в волосах.

Вскоре Фуше уехали на дачу в двадцати лье от Парижа. У Виктора не было денег на дилижанс, и он отправился туда пешком.

Весь в пыли, обожженный июльскими лучами, шагал он, обдумывая план действий. Он разыщет дом, где живут Фуше, передаст письмо ее отцу и будет просить руки Адели.

После письменных, а потом устных переговоров с Пьером Фуше согласие было получено. Правда, с оговорками. Виктор будет считаться женихом Адели, но свадьбу придется отложить на неопределенный срок. Пусть он встанет на ноги.

Положение трудное. У Виктора нет ни регулярных заработков — журнал «Литературный консерватор» прекратил свое существование, — ни чьей-либо помощи — генерал Гюго решительно отказал сыновьям в материальной поддержке.

Квартира, которую они так спешно красили и белили вместе с матерью, теперь не по средствам; Виктор и Эжен сняли мансарду на улице Дракона.

* * *

Бродить, предаваясь раздумью, — это, кажется, самое любимое занятие молодого Гюго.

Соседи, прохожие, вероятно, думают, глядя на него со стороны, — бездельник, мечтатель, слоняется без цели. Потертые рукава, стоптанные башмаки, шляпа такая старая и помятая, что девушки при встрече насмешливо улыбаются. А он не торопится найти службу, он ходит и думает.

Болезнь матери приостановила начатую им работу над романом «Ган Исландец». Теперь он ее продолжит. Как лучше строить роман? Что интересует читателей? Что взять за образец? Есть чему поучиться у Вальтера Скотта: исторический колорит, драматическая интрига. Этого замечательного писателя французы называют «шотландским чародеем».

А в последнее время весь Париж прямо-таки бредит «черными романами», романами тайн и ужасов. В них призраки, замки, сундуки с трупами, необычайные приключения. Их много перевели с английского: романы Анны Радклифф, роман Мэтюрена «Мельмот-скиталец». Как набросились на эту книгу читатели! Им хочется чего-то захватывающего, напряженного, сама жизнь последних десятилетий поистине фантастична, полна контрастов, неожиданностей, крутых перемен.

И Виктор Гюго в своем романе тоже отдаст дань стремлению к необычайному. Его Ган Исландец — загадочный нелюдим. Живет в пещере. Чашей ему служит человеческий череп, он пьет из него морскую воду. Тайны, преступления, ужасы. Чудовищное и рядом прекрасное, идеальное. Конечно, любовь. Какой же без нее роман?

В целом роман должен походить на обширную драму, думает Гюго. Все лица следует обрисовывать в действии — это принцип Вальтера Скотта, и очень важный. Вместо театральных костюмов и декораций — описания. Надо основательно изучить по книгам исторические и географические детали — «исландский колорит». Роман в целом уже сложился в его голове, теперь пора обдумать эпизод за эпизодом.

Смеркается. Виктор много бродил в этот день и основательно проголодался. Он покупает крохотный хлебец и, пряча его от любопытных взглядов, несет в свою мансарду. Там его ждет ужин: остатки сыра и косточка от бараньей котлеты за шесть су.

Нужда. Каждый су на счету. Ничего, зато он никому не должен, ни перед кем не унижается, живет своим трудом и когда-нибудь создаст что-то большое, значительное. Он верит в это.

Мечтами, планами, замыслами молодой поэт делится с Аделью. Во время коротких свиданий в Люксембургском саду под надзором госпожи Фуше влюбленные не успевают наговориться, и Виктор продолжает беседы в письмах.

Он пишет Адели обо всем, что волнует его самого: о жизни, любви, поэзии.

«Одна стихотворная форма еще не составляет поэзии, — пишет он. — Поэзия заключается в идеях, а идеи исходят из души. Стихи, в которые облечена мысль, — это не более, чем красивая одежда для прекрасного тела».

Рассказывает ей Виктор и о своих огорчениях:

«Не знаю, какой злой демон толкнул меня на это поприще, где на каждом шагу наталкиваешься на скрытую вражду или на мелкое, завистливое соперничество… Я желал бы внушить тебе уважение к великой и благородной литературной профессии, но с горечью должен сознаться, что она слишком часто представляет собой поле для изучения всех человеческих низостей…»

Да, в этих вечерних письмах-исповедях прорываются порой горькие ноты. Юноше трудно. Но у него твердый характер. И он станет еще тверже. Быть стойким в невзгодах. К этому надо стремиться. Но этого мало. Истинным поэтом может стать лишь человек с высокими нравственными идеалами. Молодой Гюго твердо убежден в этом. У поэта особая ответственность перед людьми.

«Бесчестный поэт — это существо более презренное, более низкое и виновное, чем всякий другой, лишенный поэтического дара», — пишет Гюго своей невесте.

Иногда жизнь ставит перед юношей нелегкие задачи. В начале 1822 года Виктор узнал, что товарищ его детских игр Эдуард Делон участвовал в заговоре против короля и находится в опасности.

Как поступить? Конечно, легко было бы отойти в сторону, закрыть глаза, признать Делона виновным и успокоиться. Но Виктор решил помочь другу. Он послал письмо его матери:

«Я не знаю, арестован ли несчастный Делон. Не знаю, какая кара постигнет того, кто станет укрывать его. Пусть даже мои убеждения диаметрально противоположны его взглядам. В эту минуту опасности я знаю одно: он мой друг… Если он не арестован, предлагаю ему убежище у себя…»

Лишь несколько лет спустя Виктор узнал, что письмо это было вскрыто тайной цензурой, копию его доставили в Тюильри и за мансардой на улице Дракона установили слежку. Но Делон не пришел. Ему удалось бежать из Франции. Потом Виктору стало известно, что Делон сражается в рядах греческих повстанцев.

Греция. Все кругом говорят о ней. Эта страна поднялась против турецких поработителей. Отряды повстанцев растут, они пополняются добровольцами из разных стран Европы. Многие юноши с горячими сердцами рвутся на помощь маленькому, но великому в своей героической борьбе народу.

Как будто беспокойный ветер несется с Балкан по всей Европе. И не только с Балкан. Дуновение вольных ветров доносится из Испании, которая пытается сбросить с себя реставрированное ярмо абсолютной монархии Фердинанда VII. И в Италии не прекращаются революционные вспышки. Революции

в Неаполе и Пьемонте подавлены Священным Союзом при помощи австрийских штыков, но брожение продолжается.

Много слухов ходит в Париже о тайных обществах итальянских заговорщиков, которые называют себя карбонариями — угольщиками. Во Франции тоже начинают организовываться тайные общества. Может быть, Делон был членом одного из них? Виктор ничего не знает об этом. Но голоса жизни настораживают, заставляют мучительно раздумывать. Они звучат все сильнее, все смелее.

В 1821 году вышла книга «Новых песен» Беранже. Правительство затеяло против поэта судебный процесс. Песня Беранже «Старое знамя» была в эти годы своего рода боевым кличем заговорщиков. Под сенью старого трехцветного знамени возникали тайные общества, в которых участвовали и юные студенты и седовласые ветераны.

Как ты ни выцвело с годами,
Я скоро пыль с тебя стряхну, —

обращается герой песни Беранже к старому знамени. Песню эту подхватывают все недовольные режимом Бурбонов, а их становится больше и больше.

Восьмого декабря 1821 года густая толпа парижан окружила здание суда. Судьи не могли пробраться к входу и вынуждены были влезать в окна. Сам Беранже более часа пробивался сквозь толпу, повторяя: «Господа, господа! Без меня все равно не начнут». Поэта приговорили к трехмесячному заключению и штрафу в 500 франков. Но песенки его доносились до парижан из-за тюремной решетки.

В кружке молодых писателей — друзей Гюго — больше беседуют о литературе, чем о политике, но политика вместе с самой жизнью врывается в литературу.

Друзья собираются обычно по воскресеньям, чаще всего в квартире Абэля. В один из весенних вечеров Виктор появляется последним. Он в новом парадном костюме василькового цвета, с золотыми пуговицами. Это предмет его тайной гордости. Еще бы! Костюм приобретен за счет строжайшей экономии. Каждый день приходилось урезать несколько су на еду. Это серьезное испытание воли. Приятели прекрасно понимают, что Виктор нарядился не для них. Он был на обеде у Фуше. Этим все сказано.

Абэль протягивает брату пачку каких-то листков.

— Это тебе сюрприз. Принимайся за корректуру своей книги.

— Какой книги?

— Сборника твоих од, надо сказать уже довольно

многочисленных. Пора их собрать все вместе. Вот я и решил это сделать. Похитил некоторые твои рукописи — уж не сердись на меня! — и сдал типографу. Доволен?

Ну, конечно, Виктор восхищен таким сюрпризом. Он давно мечтал об этом, но не было денег. Абэль настоящий друг. Виктор перелистывает гранки. Все ли оды на месте? Он примется за корректуру сегодня же перед сном.

А сейчас друзья будут слушать новую поэму Альфреда де Виньи.

Молодой гвардейский капитан де Виньи невозмутим, почти никогда не улыбается, сдержан и сух, как англичанин. Военная выправка, строгий изящный профиль. Отпрыск знатного дворянского рода, разоренного революцией, Виньи гордится своим аристократическим происхождением. Герои его поэм мрачны и надменны, они презирают буржуазных людишек с их мелкими страстями, прозаическую повседневность; безгранично одинокие, они бегут в прошлое, в мечты, замыкаются в себе.

Когда Виньи кончил читать, возник спор, нужны ли идеальные герои в поэмах, драмах, романах. Виктор уверен, что нужны, а Виньи утверждает, что только зло можно встретить в жизни без примеси, добро же лишь иногда примешивается к злу, а в чистом виде не существует. Зачем же лгать, зачем очищать и приукрашивать жизнь в романах и поэмах?

В спор вмешиваются драматурги Сумэ и Гиро. Ну, конечно, идеальное необходимо в искусстве, какой же без него может быть конфликт в драме?

Сумэ в противоположность мрачному Виньи сияет яркой улыбкой. Волосы взбиты, взгляд вдохновенный. Ему уже сорок лет, но он сохранил что-то юношеское и в лице и в манерах. Его драма «Клитемнестра» готовится к постановке, главную роль играет знаменитый Тальма.

Виктор ценит опыт и, главное, доброту Сумэ. Но его удивляет робость, которую проявляет драматург в вопросах стихосложения.

— Как вы думаете, можно ли допустить в монологе героя строку: «Ты не спасение нашел, а гибель», — спрашивает Сумэ.

— Почему же нельзя?

— Разве вы не слышите, что стих нарушает правила, перескакивая через цезуру?

— Вздор, — говорит Гюго. — Я заставлю стихи перепрыгивать еще и не через такие преграды.

Разговор переходит к событиям дня. Один из друзей рассказывает, что встретил на улице Анри Бейля, писателя, который выступает под именем Стендаль и другими псевдонимами. Он недавно вернулся из Италии. Там после

разгрома заговора карбонариев свирепствуют палачи и ищейки. Аресты, доносы. Властям теперь всюду мерещатся заговоры.

И во Франции не легче. Полицейские агенты шныряют всюду. Парижане скорбят о судьбе четырех сержантов из крепости Ларошель. Такие юные, так храбро держались во время суда! И всех четырех приговорили к казни за участие в заговоре против Бурбонов.

Виктор слушает молча. Он вспоминает Делона. Его тоже казнили бы, если б он не убежал из Франции. Нет, Виктор не жалеет о том, что послал письмо матери Эдуарда, протянул другу руку помощи.

* * *

Книга вышла в свет. Его первая книга. Виктор Гюго, «Оды и другие стихотворения». Приятно видеть свое имя на обложке, пусть даже эта обложка из серой оберточной бумаги и нарисована на ней какая-то банка, обложенная аптечными пиявками, вместо вазы, обвитой змеями, которую хотел изобразить художник.

Книга уже стоит в витрине книгопродавца.

Автор часами ходит мимо этой витрины и поглядывает на дверь: не зайдет ли покупатель? Первый посторонний читатель его книги! Интересно узнать, кто будет им!

В один из последних дней августа Виктор в непривычно ранний час появляется на даче у Фуше. Вся семья за столом. Адель вспыхивает при виде жениха. Ее отец молча тянется к табакерке и вопросительно глядит на Виктора. Что произошло? Какие очередные бури в стакане воды? Лучше бы этот юноша поступил на службу. Пьер Фуше не раз мог устроить его, и Шатобриан предлагал Виктору место при посольстве, но молодой человек упрям и фанатично предан своим мечтаниям. Конечно, одарен. Но если хочешь жениться…

— У меня новость, — говорит Виктор и рассказывает все по порядку.

Его книга попала в Тюильри. Король решил поощрить молодого поэта-роялиста и назначил ему пенсию тысячу франков в год.

Пьер Фуше благожелательно улыбается. Да, теперь, пожалуй, можно подумать о свадьбе.

Свадьба состоялась 12 октября 1822 года в той же церкви св. Сульпиция, где год назад отпевали госпожу Гюго.

Гостей собралось так много, что стол накрыли в одном из залов Военного совета. Отец дал согласие на женитьбу сына, но

не приехал из Блуа, зато оба старших брата пришли на семейное торжество. Абэль, как всегда, весел, шутит, а Эжен более обычного мрачен. Старый друг Феликс Бискарра с тревогой посматривает на своего бывшего питомца, «короля телят», лауреата Флорийских игр. Что с ним? Почему так странно блестят его глаза, а угрюмое молчанье внезапно сменяется порывами судорожного смеха? В то время как все поднимают бокалы за здоровье молодых, провозглашают тосты, поздравляют новобрачных, Эжен бормочет что-то бессвязное, отворачивается в сторону… У него совсем безумные глаза. Бискарра поднимается, кладет руку на плечо Эжена и уводит его из зала.

Виктор с тревогой следит глазами за братом. Свадебный пир омрачен.

Нет, Виктор не может быть несчастным в эту минуту. Адель рядом с ним, и теперь так будет всегда. Он старается не думать об Эжене. Свадебное веселье продолжается.

Сенакль (1823–1827)

Солнце зашло. Небо за окном бледнеет. Много ли он успел сделать за этот день? На столе корректуры его стихотворного сборника «Оды и баллады» и главы из романа «Ган Исландец».

В стихах он еще не всегда решается поднять руку на строгие правила поэтики Буало, но в романе никакие запреты его не сдерживают, и тут он несется на всех парусах по бурным и мутным волнам «неистовой романтики». Чудовищное, невероятное — неистовство вымысла, страстей, красок…

Хорошо, если «Ган Исландец» понравится читателям и книгу быстро раскупят. Виктору очень нужны деньги. Их остро не хватает, несмотря на королевскую пенсию. Нет средств, чтобы снять отдельную квартиру. Приходится жить у родителей Адели. Молодого поэта тяготит эта зависимость, необходимость подчиняться укладу чужой семьи, в то время как он сам уже теперь глава семьи. Летом 1823 года на свет появился его первенец, маленький Леопольд. Мальчика назвали так в честь деда. Но прожил он на свете всего два месяца.

Только год прошел, как Виктор и Адель отпраздновали свадьбу, и уже в их семье траур.

Счастье. Оно, вероятно, никогда не приходит в чистом виде, к нему всегда примешиваются какие-нибудь горести, тревоги.

Нет матери. Потерян брат. (Эжен теперь в больнице для умалишенных, его состояние безнадежно.) Умер сын. Но есть жена, и появился отец.

Раньше это был совсем чужой человек, он навязывал сыновьям свою волю, от него надо было прятаться под крыло матери. Но прошло время, этот человек приблизился, улыбнулся, протянул руку, и Виктор как будто взглянул на него другими глазами, увидел в нем не «мрачного деспота», не приспешника узурпатора, а ветерана, сражавшегося когда-то за славу Франции, и, что совсем неожиданно, человека, который не чужд поэзии. А как отец умеет заразительно смеяться! С каким увлечением он выводит тюльпаны, выращивает шпинат и морковку на своем клочке земли в Блуа!

Политические разногласия отца и сына начинают постепенно сглаживаться. Виктор уже по-иному стал смотреть на времена империи. В новой оде, посвященной отцу, молодой Гюго воспевает простых солдат, воинов Наполеона, подвиги которых и создали величие императора.

> Французы! Отберем похищенную славу!
> Вам подвиги его принадлежат по праву, —

призывает поэт.

«Оды и баллады» вышли в свет. Отзывы печати благожелательные. Король назначил Виктору Гюго второй пенсион — две тысячи франков в год. Теперь молодые супруги могут снять собственную квартиру, поселиться отдельно от родителей.

Роман «Ган Исландец» тоже напечатан, но книгоиздатель пожалел для него хорошей бумаги. Листы книги серые и будто посыпаны перцем, а на обложке даже нет имени автора. Правда,

критика успешно восполняет этот недосмотр, адресуясь с возмущенными статьями по поводу романа не к какому-нибудь анониму, а прямехонько к Виктору Гюго.

Однажды утром, открыв газету «Котидьен», Гюго увидел большую статью Шарля Нодье, посвященную «Гану Исландцу».

Шарль Нодье — известный писатель, журналист и книголюб, автор прелестных фантастических повестей и романа «Жан Сбогар», особенно запомнившегося читателям. В герое его Гюго видел что-то общее с Фра Дьяволо, памятным ему по рассказам отца.

Что же написал Нодье о «Гане Исландце»? В статье говорится о той борьбе, которая началась в литературе: «Классики еще продолжают царствовать во имя Аристотеля… но царствуют они уже как сверженные короли… Их когда-то цветущие владения превратились в обширную пустыню…»

Нодье пишет о том влиянии, которое оказал на умы литераторов и читающей публики англичанин Мэтюрен, автор чудовищных «романов-сказок». «Было даже основание надеяться, что автор истощил на них все, чем только можно запугать человеческое воображение, весь запас ужасов, имеющихся в этой поэзии уголовных камер и сумасшедших домов, довольно метко названной неистовым жанром…Нашелся, однако, в этом новом племени поэтов очень сильный соперник вышеназванному английскому романисту, превосходящий его в необузданном вымысле… Мы видим перед собой автора, добровольно взявшего на себя труд выкопать из истории человечества все его нравственные уродства и безобразия; все самые чудовищные исключения… Как может такой сильный талант прибегать к таким недостойным эффектам? Ему так легко обойтись и без них…»

И все же Нодье восхищается ярким дарованием Гюго, его богатым и образным языком, широкой начитанностью, знанием исторических источников.

«Роман будет читаться нарасхват, — заканчивает критик свою статью, — но, повторяю, не за достоинства его, а именно за недостатки».

Такая критика не оскорбляет. Виктору хочется пожать руку автору статьи.

Знакомство вскоре состоялось. Никогда еще Виктор не встречался с таким неподражаемым собеседником. Шарль Нодье, кажется, знает все на свете. Существует ли книга, которую он не читал? Он может без конца рассказывать и о средневековых рыцарях, и об итальянских карбонариях, и о немецкой философии, и о карточной игре, и о готических соборах, и об

английской политике. Иногда бывает трудно отличить в его устах выдумку от правды, зато все одинаково увлекательно. Нодье сорок четыре года, он отец семейства, автор нашумевших книг, но держится просто, в его отношении к молодому Гюго нет и тени превосходства. Скромный, мягкий, по-юношески беспечный, изысканно остроумный, он сразу пленил Гюго и вошел в его жизнь.

В январе 1824 года Шарль Нодье получил должность хранителя библиотеки Арсенала, а вместе с назначением и просторную квартиру в том же здании. С тех пор по воскресеньям у него стал собираться кружок друзей-литераторов, названный участниками «Сенакль». Членами его стали некоторые давние знакомые Гюго: Виньи, Сумэ, Гиро, Эмиль Дешан. Они много спорили, мечтали об открытии новых дорог в искусстве, но представляли их себе пока смутно. Поэтизация средневековья переплеталась у них с мечтой о будущем обновлении литературы; безудержная фантастика сочеталась со стремлением приблизиться к реальной жизни, передать в произведениях искусства местный колорит, национальное своеобразие.

Взгляды их на жизнь и литературу были различны. Сходились в одном: пора начинать борьбу против академической рутины, искать новых красок и форм. Но на практике эта борьба выливалась преимущественно в формы легкой салонной оппозиции, и отдельные выпады против ревнителей академического благочиния.

* * *

Виктор и Адель поднимаются по широкой старинной лестнице и через просторный вестибюль проходят в столовую. В этой квартире все двери настежь — ни привратников, ни горничных. На большом столе уже лежит целая груда пальто, плащей, а из салона доносится знакомое гуденье голосов — друзья собрались.

На камине в гостиной зажжены две яркие лампы. Справа на стене портрет Нодье, а сам он в кресле у камина. Длиннорукий, угловатый, небрежно одетый, он отличается каким-то особым обаянием непринужденности. Столпившись вокруг него, друзья слушают. Нодье говорит медленно, лениво, никогда не повышает голоса, не ищет эффектов, о каких бы ужасных или смешных событиях он ни повествовал, и в этом отсутствии эффектов своеобразный эффект рассказчика.

Но сейчас речь идет не о разбойниках, не о феях, рыцарях

или оборотнях — любимых героях фантастических рассказов Нодье. Смеха не слышно, лица серьезны. Весной 1824 года одно имя у всех на устах — Байрон. Уже месяц прошел, как весть о смерти великого английского поэта в греческом городке Миссолонги потрясла весь мир. Поэты пишут стихи о Байроне, критики — статьи, читатели вновь и вновь перечитывают его творения; романтическая молодежь Франции и других стран вдохновляется образами его героев и образом самого поэта, воина свободы, поднявшего против тирании свое перо и свой меч, сражавшегося за правду и вольность в книгах и в жизни — в палате лордов, в кружках карбонариев, в рядах греческих повстанцев.

Виктор Гюго написал статью о Байроне для журнала «Французская муза». Он принес ее с собой в Сенакль прочитать друзьям.

— «…Когда мы получили весть о смерти Байрона; нам показалось, будто у нас отнята часть того, что нам обещало будущее», — читает Гюго. Враги новшеств, ученые риторы всеми силами стараются задержать движение литературы. «Они невольно вызывают в памяти неистового Роланда, который с самым невозмутимым видом просит повстречавшегося путника принять его дохлую кобылу в обмен на живого коня».

— Браво, браво, Виктор! — восклицает Сумэ.

Нодье одобрительно кивает, но в выражении их лиц Гюго не видит того боевого пыла, который воодушевляет его самого. Они спокойны.

— «…Попытки воскресить литературу прошлого в современности равносильны стараниям садовника оживить прошлогоднюю опавшую листву на деревьях, покрытых свежими весенними почками», — продолжает Гюго, меча стрелы в лагерь защитников старины.

— «…К Байрону мы питаем глубочайшую благодарность. Он доказал Европе, что поэты новой школы, хотя они уже не поклоняются богам языческой Греции, доныне чтят ее героев и что если они отошли от Олимпа, то отнюдь не распрощались с Фермопилами».

Чтение закончено. Статья будет напечатана в журнале романтиков «Французская муза».

— Весь мир восхищается героической тенью Байрона, — говорит Гюго, — а у нас на подмостках бульварных театров до сих пор идет отвратительный фарс, фривольная пьеска о похождениях некоего лорда «Три звездочки», под именем которого выведен Байрон. Мерзкая пародия — оскорбление памяти поэта.

— Да. Немало у нас еще пошлости и рутины. И надо сказать,

что на сцене наших театров они прекрасно уживаются, — замечает Нодье.

— Рутина. Главное ее гнездо — достопочтенная Академия, — подхватывает Гюго. — Вы слышали, говорят, что группа профессоров и благонамеренных литераторов обратилась с петицией в Министерство внутренних дел: они просят вмешательства властей предержащих в литературу, они требуют, чтоб литературу оградили от романтических неистовств.

— Берегитесь, Гюго! — шутливо восклицает Нодье. — Они скоро потребуют, чтоб всех «нарушителей спокойствия» в литературе засадили за решетку или в сумасшедший дом, и тогда уж несдобровать автору «Гана Исландца».

— Академики хотели бы изъять из употребления не только романтиков, но и некоего Вильяма Шекспира, — отвечает Гюго. — Шекспир ведь еще опаснее современных неистовых авторов.

— Конечно! Особенно с тех пор, как вышел памфлет Анри Бейля «Расин и Шекспир». Могут ли стерпеть ревнители правил, чтоб «растрепанного дикаря» Шекспира ставили в образец и возносили над грациозным французским классиком в напудренном парике!

Беседа друзей неожиданно прерывается. Дочь Шарля Нодье юная Мари ударила по клавишам фортепьяно. Виктор подходит к Адели. Будет ли она танцевать? Может быть, ей вредно? Адель уже немного успокоилась после смерти маленького Леопольда и снова ждет ребенка.

Альфред де Виньи танцует с Дельфиной Гэ. Этой парой нельзя не залюбоваться.

Златокудрая Дельфина, дочь писательницы Софи Гэ, единодушно признана музой кружка романтиков. Дельфина соревнуется со своими поклонниками, с отроческих лет она пишет стихи и теперь печатается во «Французской музе». Умна, остроумна, в споре не уступит мужчине и при всей своей учености сохраняет женское очарование. Многие царицы салонов завидуют ее неподражаемому искусству быть всегда естественной.

Молодежь танцует, а Шарль Нодье с несколькими сверстниками за карточным столом. Он страстный любитель экарте.

У Гюго в его маленькой квартире на улице Вожирар тоже собираются друзья. Чаще всего приходят молодые художники, новые приятели Виктора: братья Девериа, юный Луи Буланже, Эжен Делакруа.

С Ашилем Девериа Виктор и Адель познакомились случайно,

у кассы оперного театра. Они пришли за билетами на оперу Вебера «Волшебный стрелок», которая в этом сезоне пользовалась огромным успехом у артистической молодежи Парижа. Вместе с ними к кассе подошел высокий юноша с ясными веселыми глазами. Касса была еще закрыта, и в ожидании они разговорились. Ашиль Девериа с восторгом отзывался о музыке Вебера, он в двенадцатый раз шел слушать «Волшебного стрелка». Обменявшись мнениями, Гюго и Девериа сразу же почувствовали, что прекрасно понимают друг друга. На другой день Ашиль нанес визит на улицу Вожирар.

Виктор и Адель стали с тех пор частыми гостями в веселом домике Девериа. Там они встретились с Эженом Делакруа, молодым, но уже известным художником.

Еще в 1822 году картина Делакруа «Данте и Вергилий, переезжающие Ахерон» обратила на себя внимание широкой публики и знатоков новизной колорита, энергичной резкостью контрастов света и тени. Следующие его полотна еще больше укрепили за Делакруа репутацию новатора. Артистическая молодежь с восторгом приветствовала искания художника, вступившего в борьбу с уже вырождавшейся тогда школой Давида.

В мастерских художников, куда стал часто захаживать Виктор Гюго, перед неоконченными полотнами то и дело завязывались споры. В выражениях не стеснялись, голосов не сдерживали, перед авторитетами не склоняли голов — и доставалось же здесь умникам из Академии, слепым педантам! К голосу Гюго прислушивались. Его мысли о новой литературе, которой требует современная эпоха, подхватывали. Да. И в живописи тоже должна восторжествовать романтическая школа. Довольно копировать классиков. Надо, наконец, увидеть и запечатлеть краски, дух самой жизни.

Эти беседы продолжались в квартире на улице Вожирар.

Если гости появлялись в часы обеда, Адель усаживала их за стол и быстро мастерила на десерт сладкую яичницу, облитую ромом. Все вместе они пытались ее поджечь, но редко удавалось сделать это сразу. Спички вспыхивали одна за другой, а ром не загорался, яичница чернела от попадавших в нее спичечных головок, но зато казалась особенно вкусной.

* * *

Через год после смерти своего первенца Виктор Гюго снова стал отцом. Родилась дочка Леопольдина. Родители называют ее

Дидина или просто «куколка».

Адель кормит дочку. Отец стоит рядом. Нет ничего на свете прекраснее молодой матери, кормящей грудью ребенка!

Из детской комнаты он идет в свой кабинет. За дела! На столе корректуры его поэтического сборника. «Известно, что вся литература несет на себе более или менее глубокий отпечаток своего времени, истории и нравов народа, выражением которого она является», — пишет Гюго в предисловии к сборнику. Казалось бы, неоспоримая истина, но защитники старины все еще не хотят с ней считаться.

Друзья из Сенакля согласны с Гюго, но в решительную битву за обновление литературы они едва ли пойдут. В их кружке не хватает единства и настоящего боевого духа. Может быть, и поэтому, а не только из-за происков недоброжелателей — защитников старины угас их журнал «Французская муза». Воевать против академической рутины трудно тому, кто сам хочет войти в ряды «бессмертных» — занять кресло в Академии, а об этом мечтают и Сумэ, и Гиро, и Нодье. И все они, конечно, заслуживают избрания, но старые академики боятся впустить романтиков в свою цитадель, предпочитая им любую благонамеренную бездарность.

Накануне нового 1825 года Гюго пишет Альфреду де Виньи, путешествующему по Испании:

«Должно быть, высокие Пиренеи каждый день вдохновляют вас, и мне уже не терпится поскорее услышать все те замечательные стихи, которые вы напишете за это время.

А мы, дорогой друг, мы ничего не сможем предложить вам взамен к вашему возвращению. Вас там все вдохновляет, нас здесь все расхолаживает. Что прикажете писать среди всей этой литературной и политической возни, когда кругом одни только наглые тупицы или трусливые таланты… Что можно писать, живя в Париже, когда с одной стороны у нас министерство, а с другой — Академия? И всякий раз, как мне случается покинуть мою келью, я испытываю презрение и негодование».

И литературные и политические события отнюдь не вдохновляют Гюго на оды.

Осенью 1824 года умер Людовик XVIII, и на престол вступил его брат Карл X, который еще в бытность свою графом д'Артуа был известен как опора реакции, покровитель бывших эмигрантов-аристократов и церковников. Первыми шагами нового короля были два сверхреакционных закона: о смертной казни за святотатство и о возмещении убытков, понесенных эмигрантами в годы революции. Миллиард франков государство намеревалось выплатить эмигрантам за счет новых тягот, возложенных на

плечи народа.

Карл X, продолжая традицию Людовика XVIII, поощряет поэтов с репутацией роялистов. Виктору Гюго пожалован орден Почетного легиона. Хотя Гюго уже не чувствует в себе прежнего верноподданнического пыла, но все же награда льстит его самолюбию. Его отец тоже кавалер ордена Почетного легиона; он получил его в другие времена за воинские подвиги. Старый ветеран своими руками вдевает в петлицу сына орденскую ленточку.

В апреле 1825 года Виктор с семьей гостит у отца в Блуа. Белый домик, утопающий в зелени, и фигура старого воина, поливающего грядки в саду, встанет перед глазами писателя, когда несколько десятилетий спустя он будет рисовать полковника Понмерси, одного из героев романа «Отверженные». Но сейчас он еще не помышляет об этом романе.

Виктор слушает рассказы отца. Потоком плывут воспоминания. Кажется, будто под крышей мирного белого домика встают, клубятся, движутся какие-то гигантские тени, слышится дробь барабанов, цоканье копыт. Неведомые, страшные дороги войны, рвы, полные трупов, крепостные стены под ударами ядер, блистающие наполеоновские орлы над смятенной Европой. И еще раньше… Вглубь… К истокам этой славы, этого героизма воинов. Молодой Брутус шагает в рядах республиканской армии. Враги со всех сторон. Кровавая предательская война в лесах Бретани. Французские аристократы на английские деньги вооружали отряды мятежников… Они натравливали французов против французов, выполняя волю иноземцев. А теперь тем же самым эмигрантам страна должна заплатить миллиард франков. Об этом гласят все газеты.

Есть о чем задуматься. Живая история с ее страшными парадоксами, с ее взлетами и безднами…

Куда же, к каким берегам несут теперь Францию волны истории?

В мае должно состояться торжественное коронование Карла X в Реймсе. Виктор Гюго приглашен на это зрелище.

Дорога из Парижа в Реймс посыпана песком. Масса экипажей, фиакров, карет катится по ней. Виктор жадно вдыхает воздух окрестных полей, все новые и новые дали открываются перед ним. Новые краски. Как они нужны поэту! И как он давно не путешествовал, кажется, со времени поездки в Испанию вместе с матерью! Теперь он будет каждое лето устраивать себе каникулы и путешествовать,

Он мысленно переносится в Блуа, Адель осталась там с его

отцом.

А ты что делаешь? У камелька садишься
И, карту развернув, за мною вслед стремишься,
Шепча: «Где он теперь?..»

Рядом с Аделью отец, он ее успокаивает.

И старый ветеран начнет воспоминанья,
Чтобы тебя развлечь, про долгие скитанья,
Про славные дела и битвы дней былых,
Про императора…

Складывается стихотворение «Путешествие». А рядом с этой лирической темой возникает другая — гордая и сумрачная, навеянная мыслями о переломах истории, тема Наполеона. «Два острова»: Корсика и Святая Елена. Гюго напишет цикл стихов об этой необычайной трагической судьбе человека и об исторических судьбах народа.

Карета катится по ровной дороге. Реймс уже близко. Кругом поля Франции. Рощи. Пастбища. Ветряные мельницы машут крыльями. Кажется, будто они приветствуют путешественников.

Гюго обращается к спутнику:

— Шарль, нравятся вам эти мельницы?

— Мне больше всего нравится козырной король, — отвечает Нодье, не поворачивая головы. Он превратил свою фетровую шляпу в некое подобие карточного столика и всю дорогу играет в экарте с приятелем-художником.

Виктору даже немного жалко, что путешествие кончается.

На следующее утро Гюго и Нодье стоят под сводами Реймского собора. Все происходящее перед их глазами напоминает помпезное театральное действо. Строгие готические своды не гармонируют с гигантской, пестро размалеванной декорацией, навешенной в честь коронования на внутренние стены собора.

И внизу и на галереях теснятся массы разряженных людей. Перья, шпаги, золото. Шеи вытянуты, глаза устремлены к трону. Виденье старины — небесно-голубые камзолы, бархатные башмаки на высоких каблуках.

Появляется король со свитой, а навстречу ему шествует архиепископ тоже со свитой. Король падает ниц перед архиепископом. Начинается ритуал коронования.

Складывая торжественные строфы новой оды, Гюго не испытывает подъема чувств. Зачем эта декорация в соборе? И для

чего нужно было королю вытягиваться у ног духовной особы?

Представление окончено. Можно пойти осмотреть город. В Реймсе много замечательных памятников старинной архитектуры.

В то же лето Гюго и Нодье решили предпринять еще одно путешествие, теперь уже вместе с женами и детьми. Но откуда взять денег? Без презренного металла мечты о поездке, увы, не превратятся в реальность. Нодье нашел выход: они заключат договор с издателем на книгу «Поэтическое и живописное путешествие на Монблан» и потребуют задаток.

Аванс получен. Кареты наняты. Дидина спит к люльке. Она прекрасно переносит дорогу. Две кареты едут рядом, чтобы пассажирам удобнее было разговаривать. По дороге в Швейцарию друзья навестят поэта Ламартина в его замке Сан Пуан. Они встретили его в Реймсе на коронованию, и Ламартин взял с них слово, что они приедут к нему и гости.

Гюго высоко ценит талант Ламартина и дорожит его дружбой.

Еще в 1820 году, когда появился первый сборник Ламартина «Поэтические размышления», Гюго приветствовал его восторженной статьей. «Вот, наконец, творения настоящего поэта, вот, наконец, стихи, полные истинной поэзии!» — писал он. В стихах Ламартина Гюго привлекала лирическая напевность, свежесть красок, мастерство стиха, во многом выходящего за рамки стеснительных канонов прошлого.

Певец уединенных раздумий, религиозных экстазов, тихих озер и старинных замков, Ламартин в отличие от Гюго чуждался больших общественных тем. Но этот сторонник старого режима в политике не был приверженцем старых литературных порядков, и Гюго видел в нем соратника в предстоящей борьбе за обновление литературы.

Потомок обедневшего дворянского рода, Ламартин был глубоко привязан к своему старому поместью и проводил в нем большую часть года. В зимние месяцы он наезжал в Париж, и Гюго часто встречался с ним. А теперь друзья увидят, наконец, и замок поэта, не раз воспетый им в прекрасных стихах.

Кареты подъезжают к поместью Сан Пуан. Гюго разочарованно глядит на плоскую кровлю и оштукатуренные стены помещичьего дома. Ламартин выходит на крыльцо, приветствует друзей.

— Где же замок твоих стихов? — спрашивает Гюго.

— Я его сделал удобообитаемым, — улыбается Ламартин. — Плющ снял, чтоб не было сырости, башни убрал, а крышу переделал, чтоб не протекала. Развалины хороши для поэм, но не

для жилья.

Ранним утром путешественники пересекают границу Франции. Кругом густой туман. Небо и земля сливаются в мутном белесом мареве. Вдруг лучи солнца прорывают эту пелену, и перед глазами встает сияющий Монблан «в ледяной тиаре и белоснежной мантии». Бесконечное разнообразие очертаний, оттенков, размеров, красок!

Контраст грозного Монблана и безмятежно ясного Зеленого озера невольно приводит на память творения Шекспира.

А вот Черный поток. «Все здесь пустынно и мрачно. Обнаженные хребты, отвесные скалы, яростный рев потока, повторяемый эхом…» По местным преданиям, здесь в зимние ночи собирались на шабаш горные духи…

Предания старины, народные поверья. Гюго и Нодье восхищаются ими. Легенды и сказки одухотворяют, делают еще ярче и причудливее картины, открывающиеся взглядам путников в Альпийских горах.

На обратном пути Гюго с энтузиазмом обследовал все встречавшиеся им руины.

— Вы, мой милый поэт, просто одержимы каким-то демоном «стрельчатых сводов», — смеялся Нодье, который сам был одержим другим демоном, неизменно толкавшим его в пыльные лавки букинистов. Перелистывая пожелтевшие страницы старинных книг, Шарль забывал все на свете.

По приезде Гюго хотел взяться за работу над обещанной издателю книгой, в пути было сделано немало набросков. Но издатель разорился, и «Живописное путешествие на Монблан» так и не вышло в свет.

Скрижали романтизма (1826–1827)

Отрубленные головы. Тысячи отрубленных голов.

Зловещие, они, чредой свисая длинной,
Собою тяготят зубцы стены старинной…

Это головы греческих патриотов-повстанцев, павших у стен Миссолонги весной 1826 года под смертельным огнем пушек Ибрагима-паши. Головы мертвых героев

были доставлены султану.
О событиях в Миссолонги кричит вся европейская печать. А правительства стран Европы молча смотрят на страдания Греции.

О ужас, ужас! О великий ужас!

Эту строку из «Гамлета» Виктор Гюго взял эпиграфом к своей оде «Головы в серале».
Стамбул ликует. В серале праздник. Но поздней ночью, когда умолкли звуки флейт и барабанов, когда задремали часовые, головы мертвых героев заговорили:

Их голос походил, на песни в снах туманных,
На смутный ропот волн у берегов песчаных,
На ветра гаснущего звук.

О геройстве и муках народа говорят они, о дымящихся развалинах греческого города, который так долго и мужественно сопротивлялся. Среди мертвых голов белеет череп Марко Боццариса, вождя повстанцев, убитого еще в 1824 году. Турки вскрыли могилу героя, чтобы преподнести его череп своему султану. Уста мертвых зовут к возмездию, взывают о помощи:

Европа! Слышишь ли ты голос нашей муки?

Ода Виктора Гюго появилась тотчас же вслед за вестями о кровавых событиях в Миссолонги, потрясших сердца. Поэт нашел новых героев, достойных быть воспетыми в одах, балладах и поэмах.

Его новая ода, как и многие созданные им прежде, далеко выходит за рамки правил и норм, предписанных поэтикой XVII века, зато она дает поистине живой, трепетный поэтический отклик на событие современности. В этом Гюго и видит главное назначение жанра оды. Перегородки между «высокими» и «низкими» жанрами уже ломаются в его стихах.

«Прекрасное и правдивое остается прекрасным и правдивым везде, — провозглашает поэт. — То, что драматично в романе, будет драматично и на сцене; то, что лирично в куплете, лирично и в строфе…»

Пора объявить решительный бой сторонникам старины. Гюго уже не сомневается в этом. И полем битвы за новые формы будет

не только лирическая поэзия, но и все другие жанры литературы.

Гюго хочет создать романтическую драму. Он должен, наконец, заставить героев современного театра сбросить напудренные парики, отказаться от напыщенных тирад, заговорить живым человеческим языком.

Героем драмы будет Оливер Кромвель. Гюго перечитывает исторические труды, посвященные английской революции XVII века. Надо воссоздать колорит эпохи, передать в пьесе движение жизни, не связанной правилами сценических единств.

В октябре 1826 года вышло новое издание «Од и баллад». Это уже не тоненькая книжица, а три солидных томика. Сюда вошли и ода «Моему отцу», и «Два острова», и «Путешествие», и много романтических стихотворений, навеянных старинными легендами и народными поверьями.

Что скажут критики? Каждое утро Гюго с волнением перелистывает свежие газеты и журналы. Вот «Глоб» — этот журнал завоевывает все большую популярность. Внимание! В критическом отделе статья о сборнике Виктора Гюго. Автор статьи Сент-Бёв. Гюго погружается в чтение. Лицо его светлеет.

Еще никто из критиков не сумел так понять, так правильно и тонко оценить его «Оды и баллады». С Сент-Бёвом необходимо познакомиться.

И вот Сент-Бёв у них в гостях. Он низко склоняется перед хозяйкой дома. Рядом с широкоплечим Виктором Гюго критик кажется низеньким и щуплым. Совсем молодой, а голова уже лысеет, спина сутулится. Маленькие живые глаза смотрят исподлобья; движения мягкие и голос мягкий, вкрадчивый.

Критик оказывается обаятельным собеседником.

Речь идет о журнале «Глоб». Конечно, сотрудники этого журнала больше сочувствуют либералам, говорит Сент-Бёв, но у редакции «Глоба» особая позиция— держаться независимо, на равном расстоянии от всех политических партий, подготавливать исподволь общественное мнение к борьбе за реформы в политике и литературе.

Современная французская поэзия под пером эпигонов захирела. Она обескровлена. Сент-Бёв согласен в этом с Гюго. Но есть поэты с большим дарованием — Ламартин, Виньи. Возникает целая плеяда молодых талантов. И Гюго призван возглавить движение к новым вершинам. Освобождая поэзию от пут, надо обратиться и к забытым источникам прошлого.

Сент-Бёв изучает творчество блестящей плеяды поэтов XVI века. Ронсар, Дю Белле. Сколько в их стихах энергии, сколько живых красок — это кладезь словесных богатств!

Поэт и критик встречаются все чаще. Гюго делится с Сент-Бёвом своими планами, посвящает его в замысел романтической драмы, ему первому читает свои новые стихи. Одинокий Сент-Бёв охотно бывает в доме поэта. Он согревается у этого радушного очага.

У Гюго уже двое детей. На свет появился толстяк Шарло. Семья переехала весной 1827 года в домик на улице Нотр-Дам де Шан. Перед входом аллея, с трех сторон сад. Окно кабинета Гюго всегда открыто. В квартире несколько комнат, самая большая из них обита красной тканью — это «красный салон». Адель с успехом и увлечением играет роль хозяйки салона.

Сент-Бёв живет совсем поблизости и заходит к Гюго по два раза в день запросто, как свой. Если Виктора нет дома, гость беседует с хозяйкой. Она чувствует себя с ним непринужденно и легко. Сент-Бёв читает ей свои стихи, ведет с ней долгие задушевные беседы обо всем на свете. Они очень подружились.

Виктор Гюго часто уходит в библиотеку или бродит по Парижу. Как и в дни своей одинокой юности, он любит работать на ходу, во время длинных прогулок по городу.

На одной из площадей Парижа высится надменная металлическая колонна. Гигантский ствол ее выплавлен из сотен пушек — военных трофеев наполеоновских побед. Раньше Гюго с ненавистью и осуждением смотрел на этот памятник славы империи. Но год от года его отношение к Вандомской колонне стало изменяться. Уже с 1823 года, когда была написана ода «К отцу», поэт начал иными глазами смотреть на события недавнего прошлого, хотя еще и сохранял свои роялистские убеждения; теперь же он отдает отчет себе самому, что во взглядах его произошел перелом.

Политика Карла X и его министров слишком далека от тех возвышенных идеалов свободы и всеобщего благоденствия, носительницей которых Гюго наивно считал когда-то монархию Бурбонов. Детские заблуждения поэта не выдержали испытания жизнью.

Народ выбивается из сил, чтобы правительство могло выплатить пресловутый миллиард эмигрантам, беглецам, направлявшим против своей родины дула иностранных пушек. Карл X лицемерно обещал французам всяческие свободы, а на деле его министры выдвигают законопроекты о печати, ограничивающие свободу литераторов и издателей, отдающие их в лапы монархических цензоров. Бывшие эмигранты, помещики, попы, иезуиты подняли головы, они чувствуют себя господами положения. А старых воинов, сражавшихся когда-то за славу Франции, унижают, ставят ни во что.

В эти годы многих крупнейших поэтов Европы особенно привлекал образ Наполеона. Ему посвящали взволнованные стихи и Пушкин, и Байрон, и Беранже, а позднее и молодой Лермонтов.

Образ этот переосмысливался, терял реальные черты, романтизировался, облекался дымкой легенды. Поэты воспевали в нем отнюдь не деспота и узурпатора, они видели в Наполеоне наследника революции, могучую личность с необычной судьбой, возвышающуюся над мелкими людишками современного мира. «Тень императора» становилась во Франции периода Реставрации символом протеста против королевства Бурбонов.

Образ Наполеона противопоставляли тупому, бездарному Карлу X и большие поэты и широкие массы французского крестьянства, среди которых складывалась своеобразная легенда о Наполеоне — «народном императоре».

Обращаясь с одой к Вандомской колонне, Гюго тем самым бросал вызов правоверным роялистам, разрывал со своими прежними убеждениями.

* * *

Жаркий день ранней осени. В Париже пыль, духота, а в летнем кафе тетушки Сагэ пахнет левкоями, зеленеют деревья, визжат скрипки, где-то неподалеку кудахчут куры — тетушка Сагэ славится своими жареными цыплятами.

Друзья сидят в беседке из вьющихся растений, пьют белое вино и закусывают отличным сыром. Цыплята еще впереди. Тетушка Сагэ прямо-таки не поспевает ощипывать их — столько желающих полакомиться ее стряпней.

Беседа не умолкает.

— Есть у вас билеты на следующий спектакль в Одеоне? — спрашивает Виктор у. скульптора Давида д'Анже.

— Как же, — отвечает Давид, — есть. Но достать их было нелегко. Сами знаете, как рвутся парижане на шекспировские спектакли. Профессора из Академии взбешены. «Дикарь Шекспир» покоряет Париж!

— И его исполнительница мисс Смитсон тоже, — вставляет Абэль. — До чего же талантлива и до чего хороша собой! Вы знаете, что музыкант Гектор Берлиоз предложил ей руку и сердце?

— Ну, а она?

— Отказала.

— Послушайте, что написал мне Эжен Делакруа, когда узнал

о приезде в Париж английской труппы актеров! — обращается к друзьям Гюго: — «Нашим классическим театрам грозит неприятельское нашествие. Гамлет поднимает свою ужасную голову. Отелло держит наготове свою губительную подушку. Губительную главным образом для благочинной драматической полиции. На всякий случай вам не мешало бы носить кирасу под фраком, а то не убережетесь от какого-либо классического кинжала». Хорошо сказано?

— Да. Делакруа понимает, откуда исходит опасность, — говорит Эжен Деверия, обмахиваясь своей широкополой шляпой. — Он сам немало претерпел от ревнителей академического благочиния.

— Вы видели его серию рисунков к «Фаусту» Гёте? — вставляет Луи Буланже. — В рисунках Делакруа — живая душа романтизма. Помните это невольное движение Маргариты, когда Фауст впервые прикоснулся к ней? Взгляд Мефистофеля? Далекие силуэты остроконечных крыш средневекового немецкого города?

— А ночной полет Фауста и Мефистофеля на конях? Дух захватывает!

— Прекрасное и ужасающее, возвышенное и низменное — контрасты, они передают дыхание жизни, — говорит Виктор Гюго. — Прав был Наполеон, когда утверждал, что от великого до смешного один шаг. Величественное и смешное в жизни рядом, они оттеняют друг друга, об этом надо помнить драматургам! В предисловии к драме «Кромвель» я собираюсь изложить свои мысли о современном искусстве,

— Провозгласим же тост за истину, за свободу в искусстве!

— Да здравствует Шекспир!

— Истинная душа романтизма — это героическое, — говорит Давид д'Анже. Скульптор старше своих жизнерадостных собеседников, но держится с ними на равной ноге.

— Недавно, когда мы шли с Виктором в кафе тетушки Сагэ, — продолжает Давид, — нам встретилась девочка-нищенка, оборванная, худая, но в ее лице было что-то невольно останавливавшее взгляд. Трагическое лицо. Я привел ее в свою мастерскую, накормил. И сейчас она служит мне моделью для статуи юной девы на гробнице Боццариса. Эта статуя будет символом порабощенной, страдающей Греции.

Виктор читает отрывок из своего нового стихотворения «Энтузиазм»:

Скорее в Грецию! Пора! Ей вся любовь!
Пусть мученик-народ отмстит врагам за кровь…

Сумерки сгущаются. Пора домой.

— Адель, вероятно, заждалась, — говорит Гюго. Он обещал ей сегодня вечером привести друзей в красный салон.

* * *

«Да, завтра двадцать пятого июня. В год пятьдесят седьмой семнадцатого века…» — так начинается драма «Кромвель». Это совсем не похоже на велеречивые тирады подражателей Расина. Драма еще не напечатана, но в парижских салонах уже пародируют ее, острят по поводу необычного вступления.

В «Кромвеле» воплощены многие романтические принципы, за которые борется Гюго. Здесь он еще более решительно разрывает с прежними роялистскими убеждениями. Но пьеса слишком длинна, трудна для постановки, получилась драма для чтения, а не для сцены. Гюго решил издать ее, не переделывая, вместе с большим предисловием.

Этому предисловию автор придает особое значение. Оно должно стать манифестом романтического искусства, Гюго обещал прочитать его друзьям. Слух об этом разнесся в кругах литераторов и артистов. Многие хотят присутствовать на чтении. Оно состоится в Арсенале у Нодье. Здесь и собираются в осенний вечер 1827 года поэты и драматурги, художники и артисты, журналисты и критики — пестрая армия французских романтиков.

Гюго чувствует себя как полководец перед битвой. Только бледность выдает его волнение, внешне он совершенно спокоен. Одет он подчеркнуто просто: наглухо застегнутый черный редингот, узкая полоска белого воротничка у шеи; жесты скупые и энергичные. Никакой эксцентричности, никакого «неистовства» ни в одежде, ни в манерах, ни в тоне. Но то, что он читает своим мерным звучным голосом, вызовет неистовый взрыв страстей: энтузиазм в стане друзей, бешенство в лагере противников.

Со страстью и блеском поэт развертывает программу романтического искусства; по всем линиям дает бой защитникам старины. Он бросает широкий взгляд на историю развития литературы.

Главным жанром современности он провозглашает драму. Вершина драмы — Шекспир. «Богом театра» называет его автор предисловия.

«Драме остается сделать лишь один шаг, чтобы порвать всю паутину схоластики, которой армия лилипутов хотела связать ее во время сна», — заявляет Гюго. Чтобы приблизиться к жизненной

реальности, драма должна соединить в себе возвышенное и смешное.

Особое значение придает Гюго контрастам и гротеску, сгущенному, преувеличенному до пределов фантастики изображению чудовищного и смешного.

«…гротеск составляет одну из величайших красот драмы… Он вносит в трагедию то смех, то ужас. Он заставляет Ромео встретиться с аптекарем, Макбета с тремя ведьмами, Гамлета с могильщиками…»

Автор предисловия идет в сокрушительную атаку на устаревшие схоластические правила единства времени и места в драме.

«В самом деле, что может быть более неправдоподобного и более нелепого, чем этот вестибюль, этот перистиль[2], эта прихожая — традиционное помещение, где благосклонно развертывают свое действие наши трагедии, куда неизвестно почему являются заговорщики, чтобы произносить речи против тирана, тиран, чтобы произносить речи против заговорщиков, поочередно, будто сговорившись заранее…

Единство времени не более обоснованно, чем единство места. Действие, искусственно ограниченное двадцатью четырьмя часами, столь же нелепо, как и действие, ограниченное прихожей… Мерить все единой мерой! Смешон был бы сапожник, который захотел надевать один и тот же башмак на любую ногу…»

«Итак, скажем смело: время настало! И странно было бы, если бы в нашу эпоху, когда свобода проникает всюду, подобно свету, она не проникла бы в область, которая по природе своей свободнее всего на свете, — в область мысли. Ударим молотом по теориям, поэтикам и системам. Собьем старую штукатурку, скрывающую фасад искусства! Нет ни правил, ни образцов, или вернее: нет иных правил, кроме общих законов природы, господствующих над всем искусством, и частных законов для каждого произведения, вытекающих из требований, присущих каждому сюжету…»

«Поэт должен остерегаться прямого подражания кому-либо… Паразит гиганта всегда останется карликом. Итак, природа! Природа и истина! Новое направление, нисколько не нарушая искусства, хочет лишь построить его заново, более прочно и на лучшем основании…»

Гюго обосновывает необходимость реформы литературного языка:

«Человеческий ум всегда движется вперед, он постоянно изменяется, а вместе с ним изменяется и язык. Таков порядок

вещей. Когда изменяется тело, может ли не измениться одежда? Французский язык девятнадцатого века не может быть французским языком восемнадцатого века, а этот последний не есть язык семнадцатого века… Тщетно наши литературные Иисусы Навины повелевают языку остановиться; в наши дни ни языки, ни солнце уже не останавливаются…

В настоящее время существует литературный старый режим, так же как политический старый режим. Прошлый век почти во всем еще тяготеет над новым. Особенно это сказывается в области критики…

Но близок час, когда новая критика, опирающаяся на широкую, прочную и глубокую основу, восторжествует…».

Гюго широко иллюстрирует свои мысли примерами, но не ссылается на авторитеты, не приводит цитат. «Он предпочитает доводы авторитетам. Он всегда больше любил оружие, чем гербы». Этими словами заканчивается предисловие к «Кромвелю».

Аплодисменты. Рукопожатия. Сверкающие глаза молодежи. Да. Это настоящий манифест нового искусства. Те мысли, которые носились в воздухе разрозненными стайками, тревожили умы, но не находили до сих пор смелого и ясного выражения, Виктор Гюго построил в боевые колонны, одел в блестящую броню слов и образов и двинул в битву. Он стал во главе передового отряда романтиков, во главе тех, кто хочет, чтобы живая современность заиграла бы всеми своими красками в искусстве, освобожденном от пут прошлого.

Конечно, не все в этом манифесте романтического искусства бесспорно и равноценно.

Произвольна и далека от науки схема развития литературы, которую наметил поэт, наивно и его понимание причин общественного развития. Гюго видит их в борьбе неких абстрактных извечных начал: добра и зла, мрака и света. Но сила его предисловия в том, что в борьбе с омертвелыми формами оно призывало литературу на новые пути. Скрижалями романтизма, заповедями нового искусства назовут предисловие к «Кромвелю» прогрессивные французские романтики и будущие реалисты — соратники и современники Гюго. Манифест романтического искусства поможет им строить большую новую литературу, вызванную к жизни эпохой революции, отвечающую требованиям нового века.

* * *

«Кромвель» с предисловием вышел в декабре 1827 года. Виктор Гюго посвятил пьесу своему отцу. Старик польщен и растроган. Он и не вспоминает о том времени, когда видел в желании Виктора стать литератором лишь пустые ребяческие бредни. Теперь он вполне доволен сыном, жизнью и собой. Он воспет в одах, восстановлен в чинах и титулах. Снова он генерал и граф, а Виктор имеет право именоваться бароном. Генерал переселился в Париж и снял квартиру на улице Плюмэ, неподалеку от сына.

Январским вечером 1823 года Виктор и Адель в гостях у отца. Разговор идет об отзывах прессы на «Кромвеля» и предисловие. В газетах и журналах буря.

— Предисловие действует на ревнителей старины, «таможенников мысли», как красная тряпка на быка, — говорит Виктор.

— Да, милиция лилипутов разъярена, — смеется генерал. Он уже усвоил лексикон сына.

— Зато молодежь дает отпор; вокруг предисловия будут теперь строиться ряды армии романтиков, — говорит Виктор.

Генерал особенно весел в этот вечер. Каждое острое словцо веселит его, вызывает взрыв хохота.

Расстаются уже около полуночи. Виктор и Адель идут домой пешком, не торопясь. Надо прогуляться перед сном. Едва они входят в квартиру, как у дверей раздается тревожный звонок. Кто это так поздно?

— Ваш отец скончался, — говорит посыльный.

Виктор не верит ушам. Ведь только сейчас он беседовал с отцом, слышал его смех. Скорей назад, на улицу Плюмэ!

Отец лежит недвижимый. Недавно румяное, смеющееся лицо посинело и застыло.

— Удар, — говорит врач. — Мгновенная смерть, как на войне.

Контрасты (1828–1829)

Они уже не собираются, как прошлым летом, в кабачке тетушки Сагэ, маршрут их прогулок переменился. Под вечер Гюго и его друзья бродят по окрестностям Парижа. Любимое место их привала «Мельничный холм».

Все располагаются прямо на траве. Луи Буланже делает наброски в походном альбоме, Сент-Бёв раскрывает томик стихов, Гюго ложится на спину, руки под голову, грудь дышит вольно. Над ним гигантское опахало — мельничные крылья. Перед

глазами волшебство переменчивых красок солнечного заката. Блестящие озера света, пылающие края облаков, причудливые видения…

Какое-то непередаваемое чувство рождает это пиршество красок, как будто наяву переносишься в фантастическую страну чудес…

Туда, под облака! На крыльях
Подняться дайте мне с земли!..

Солнце село. Друзья идут по вечерним полям. В Париже зажигаются первые огоньки. Сейчас город охватит их своим дыханием, шумом, говором.

Они направляются к Виктору на улицу Нотр-дам де Шан. Адель ждет их. После прогулки надо подкрепиться.

Звонок. Пришел Проспер Мериме. «Клара» — зовут его друзья. Три года назад в Париже много говорили о сборнике пьес некоей испанской актрисы Клары Газуль. В начале книги был помещен ее портрет: дама в пышном платье и кокетливой шляпе, а вместо лица — пустое место; на следующей странице почему-то еще один портрет — молодой человек с. длинным носом и иронической складкой губ. Читатели гадали: кто она? кто он? Приятели же сразу узнали автора. Вот он! Долговязый, всегда невозмутимый насмешник Мериме.

В 1827 году читающая публика снова была озадачена. Вышел в свет прекрасный сборник славянских баллад «Гюзля». Местный колорит, стиль, интонации переданы в нем удивительно тонко, даже специалисты не хотели верить, что это не перевод, а стилизация. Великий русский поэт Пушкин был убежден в подлинности этих народных баллад.

Чем еще поразит мир Мериме? В каких жанрах одержит победы? От него многого можно ждать.

Мериме окидывает взглядом обеденный стол и с поклоном обращается к хозяйке:

— Я готов выполнить свое обещание!

Прошлый раз, когда он обедал у Гюго, к столу были поданы неудачные макароны, и Мериме обещал госпоже Гюго как-нибудь зайти и самолично приготовить настоящие макароны по-итальянски.

Адель повязывает ему фартук и ведет на кухню.

В дверях появляется поэт Альфред Мюссе, белокурый юноша с лицом херувима и повадками денди, вслед за ним темноглазый Эжен Делакруа с холеной бородкой; он первый среди артистической молодежи ввел в моду бороды, и теперь многие

подражают ему.

Вскоре Мериме торжественно вносит дымящееся блюдо макарон.

— Вот это талантливо!

— Рад стараться! На этот раз перед вами не мистификация, а сама святая истина!

Из столовой друзья переходят в красный салон. Гюго прочтет только что законченное стихотворение «Джинны». Он уже занял свое обычное место — спиной к камину у круглого мраморного столика. Все притихли.

Начинается волшебный полет стихотворных строк — фантастический полет горных духов джиннов.

Порт сонный,
Ночной,
Плененный
Стеной;
Безмолвны,
Спят волны, —
И полный
Покой.

Переменчивый ритмический рисунок — в нем дыханье моря, в нем трепет стремительных крыльев. Короткие легкие строки вырастают, ширятся.

Стая джиннов! В небе мглистом
Заклубясь, на всем скаку
Тиссы рвут свирепым свистом,
Кувыркаясь на суку.

Духи уже здесь, над головой:

Вопль бездны! Вой! Исчадия могилы!
Ужасный рой, из пасти бурь вспорхнув,
Вдруг рушится на дом с безумной силой.
Дом весь дрожит, качается и стонет…

Пролетели! Удаляется черная стая. И строки стихов тают, становятся все легче, короче.

Как звук прибоя
Незримых вод…

Все тише легкие всплески волн.

И вскоре
В просторе
И в море
Покой.

Слушатели взволнованы.

— Франция еще не слышала таких стихов! Небывалый ритмический рисунок. Волшебство движения!

— Живопись словом, колдовство красок!

Друзья славят покорителя французских слов и ритмов, первооткрывателя новых земель французской поэзии.

«Джинны» вошли в новый сборник стихов «Восточные мотивы». Поэт не был на Востоке, но у него могучая фантазия, и он постигает дух восточной поэзии, изучая ее по переводам и подстрочникам.

В сборнике много стихов посвящено Испании. Испанию Гюго помнит, как будто только вчера был там, ее небо сияет перед его глазами. Мавританские дворцы и мечети, пальмы и лимоны, зубцы скал и башни замков.

Но еще чаще он летит мыслями в Грецию. Он столько слышал, столько читал и писал о ней, что ему кажется, будто он сам не раз бывал там, жил, сражался вместе с повстанцами-сулиотами, видел муки и слезы женщин и детей, проданных в рабство турками.

Вот греческий мальчик. Ноги его в крови. Он чудом спасся от смерти.

Что может разогнать печаль твою сейчас?
…Чего же хочешь ты? Цветок? Ту птицу? Плод?
«Нет! — гордо отвечал мне юный сулиот. —
Дай только пули мне и порох».

В книге «Восточные мотивы» воплотились многие мечты романтиков о поэзии, которая, сбросив запреты прошлого, вырвется из тисков старых канонов и заговорит живым, свободным языком. Гибкость и разнообразие ритмов, мастерство колорита, передающего национальное своеобразие различных стран, — все это поражало и покоряло читателей. Интонации современности Гюго сочетал здесь с забытыми богатствами

поэтического языка эпохи Возрождения. В стихах Гюго получили право гражданства, возродились к жизни некоторые красочные слова и обороты, исключенные из литературы ограничительной поэтической реформой XVII века. Многочисленные поклонники поэта признавали, что «Восточные мотивы» положили начало новому Возрождению во французской поэзии.

Подлинным источником первых серьезных достижений Виктора Гюго в поэзии и в прозе было настойчивое стремление приблизить литературу к запросам современности. Он еще не встал на дорогу борьбы политической, но уже сделался одним из видных участников освободительного движения в литературе. А паруса передовых движений в искусстве во все времена надували живые ветры современности.

Русские декабристы и французские республиканцы; негры Сан-Доминго и испанские гверильясы; итальянские карбонарии и греческие сулиоты — разве не они будили, вдохновляли, вели к новым далям Пушкина и Байрона, Стендаля и Мицкевича, Гейне и Беранже? Живые ветры рассеивали пелену старых верований, освобождали от их пут и молодого Гюго, выводя его на дороги больших исканий и первых побед.

* * *

В день поздней осени 1828 года Виктор Гюго идет по улицам Парижа. Город контрастов. Дворец Тюильри — и лачуги у заставы Сен-Жак. Веселый говор бульваров, звуки песен, поцелуи влюбленных и рев толпы у подножья эшафота. Контрасты. Они пронизывают всю жизнь. Поэт все больше убеждается в этом.

История — это цепь контрастов. Головы венценосцев под ножом гильотины. Республика, рождающая империю. Идея свободы, породившая террор. Властелин полумира, ставший изгнанником, окончивший свой век в плену на далеком острове.

В искусстве эти контрасты дают движение, помогают выявить истину. А в жизни они иногда слишком жестоки.

Задумавшись, Гюго не заметил, как очутился на Гревской площади. Прямо перед ним здание Ратуши. Угрюмый фасад, темный даже при ярком солнце, и этот хмурый день выглядит особенно зловеще. Над островерхой кровлей тянется до странности тонкая колокольня, на ней огромный белый циферблат, будто одинокий злой глаз, уставившийся прямо на место казни. Вот он, громадный помост, выкрашенный в красный цвет, подножье гильотины. Каторжники называют ее «вдова».

Около гильотины копошится человеческая фигура. Старательно смазывает салом заржавевшие от осенних дождей шарниры и пробует, хорошо ли действует механизм. Это палач «репетирует» вечернее представление.

На площади уже толпятся зеваки. Гюго вспоминает, как три года назад он был здесь в день казни.

Густая толпа запрудила тогда не только площадь, но и окрестные улицы. Из окон домов высовывались любопытные лица — окна в такие дни сдаются внаем. Шеи вытянуты. В глазах лихорадочный блеск. Позорная колесница — телега с осужденным приблизилась к помосту. Несчастного поволокли по ступеням эшафота. И толпа увидела молодое лицо, искаженное смертельным страхом.

И сегодня перед толпой парижан развернется такое же зрелище. Судорожное ожидание. Стрелка на огромном белом циферблате будто застывает в такие мгновенья. Как только она покажет четыре часа, нож гильотины упадет. Что чувствует осужденный, когда его, связанного, одетого в смирительную рубаху, тащат на эшафот под многотысячными жадными взглядами?

Как можно терпеть это? Как не восстанут люди? Как не закричат: «Довольно!»?

Он должен поднять голос. Голова и сердце горят. Мысли мчатся с неимоверной быстротой. Рождается замысел…

Прежде всего надо побывать в тюрьме, в камере смертника. Все увидеть своими глазами, представить и пережить все чувства осужденного на смерть, как будто самому стать им.

Начинается бешеная работа. Воображение должно соединиться с точными фактами.

Вместе со скульптором Давидом д'Анже Гюго едет в Бисетр. На воротах этого учреждения еще сохранилась надпись «Убежище для престарелых», но теперь здесь содержатся умалишенные и опасные преступники. «На расстоянии Бисетр имеет довольно величественный вид… Но чем ближе, тем явственнее дворец превращается в лачугу… Стены словно разъедены проказой. В окнах не осталось ни зеркальных, ни простых стекол, они забраны железными толстыми решетками, к переплетам которых то тут, то там льнет испитое лицо каторжника или умалишенного».

Такова жизнь, когда ее видишь вблизи. К входу подъезжает «черная карета». В ней очередная жертва правосудия.

Гюго и его спутник входят внутрь здания. Тюремный надзиратель ведет их по узким коридорам. Вот камера осужденного.

«Восемь квадратных футов. Четыре стены из каменных плит…

охапка соломы, на которой полагается отдыхать и спать узнику, летом и зимой одетому в холщовые штаны и тиковую куртку».

«Во всей камере ни окна, ни отдушины. Только дверь, где дерево сплошь закрыто железом». Над дверью отверстие в девять квадратных дюймов, заделанное железными прутьями. И днем и ночью у камеры караульный. Когда бы осужденный ни поднял глаза к отверстию над дверью, он встречает глаза, неотступно следящие за ним.

На потолке и стенах лохмотья пыли и паутины. Кое-где виднеются полустершиеся надписи. Имена приговоренных. Следы, оставленные теми, кто ожидал здесь смерти.

В следующий раз Гюго пришел сюда в тот день, когда каторжников должны были заковывать в кандалы перед отправкой в Тулон. Он наблюдал эту жуткую процедуру из окна тюремной камеры, куда привел его надзиратель.

В тюремный двор, громыхая, въехала телега с грузом из железных цепей и ошейников. Сюда же вывели осужденных и перед каждым из них бросили холщовую одежду каторжника.

— Живо переодевайтесь!

В это время хлынул холодный дождь. Зеваки спрятались под навесом, но каторжники должны все терпеть. Грубые шутки и смешки умолкли; люди стоят обнаженные под ливнем, холщовые их рубища промокли насквозь.

«Только один старик пытался еще зубоскалить. Утираясь промокшей рубахой, он заявил, что это „не входило в программу“, потом громко расхохотался и погрозил кулаком небу».

«Каторжников заставили сесть прямо в грязь на залитые водой плиты и примерили им ошейники; потом два тюремных кузнеца, вооруженных переносными наковальнями, закрепили болты холодной клепкой, изо всей силы колотя по ним железным брусом… При каждом ударе молота по наковальне, прижатой к спине мученика, у неге отчаянно дергается подбородок: стоит ему чуть отклонить голову, и череп его расколется точно ореховая скорлупа».

Их закуют и отправят в Тулон на галеры. На долгие годы. И никто из них уже, вероятно, не вернется домой.

Гюго еще не раз наведывался в Бисетр. Он познакомился с жаргоном каторжников, узнал истории их жизни, сделал много записей, заметок. Перед ним открылось мрачное, зловонное дно Парижа. Нищета, голод, людские страдания. Когда-нибудь он напишет роман о жизни каторжника. Он расскажет историю человека, отвергнутого обществом, заклейменного им. А сейчас у него иная цель. Он должен внушить и тем, кто наверху, и ревущей

толпе у помоста ужас и отвращение к смертной казни.

Кто будет героем его повести? Парижанин. Обыкновенный человек. У него жена и дочь. Он совершил преступление. Какое? Об этом в повести не будет речи. Важно передать чувства и мысли, страх и отчаяние человека, которого ведут на казнь. Дни ожидания. Последние минуты. Перевоплотиться в этого человека…

Вот он в камере. Смотрит в окно, закованное решеткой.

«О господи, что ждет меня, горемычного? Что они сделают со мной?.. Только бы оставили жизнь…

…Ах, если б мне удалось вырваться отсюда, с каким бы наслаждением я побежал в поле!..

Ведь каторжник тоже ходит, движется, тоже видит солнце».

Контраст с этим ужасом — воспоминания детства, до боли лучезарные и чистые. Лицо матери. Старый сад. Свидание на скамейке…

Час казни близится.

«…И все же — подлые законы и подлые люди — я не был дурным человеком! О господи! Умереть через несколько часов, сознавая, что год назад я был свободен и безвинен, совершал прогулки, бродил под деревьями по опавшей осенней листве».

«Вот сейчас, в эту минуту рядом со мной, в домах, окружающих Дворец правосудия и Гревскую площадь, и во всем Париже люди приходят и уходят, разговаривают и смеются, читают газету, обдумывают свои дела; лавочники торгуют, девушки готовят к вечеру бальные платья; матери играют с детьми!..»

«…Говорят, что в этом ничего нет страшного, при этом не страдают, это спокойный конец, и смерть таким способом очень облегчена.

А чего стоит шестинедельная агония и целый день предсмертной муки? Чего стоит томление этого невозвратного дня, который, тянется так медленно и проходит так быстро? Чего стоит эта лестница пыток, ступень за ступенью приводящая к эшафоту?»

Повесть «Последний день приговоренного к казни» создана за три недели. Гюго написал ее в форме дневника и решил издать без подписи, чтоб она прозвучала как документ, как крик, исходящий из уст самого осужденного.

Каждый вечер Гюго читал друзьям страницы, написанные за день. Восторженные отзывы о его новой повести дошли до издателя Госселена, и тот купил у автора право ее издания за такую же высокую цену, что и стихотворный сборник «Восточные мотивы». Обе книги вышли в свет в начале 1829 года.

Издатель предложил Гюго продолжить повесть, рассказать о самом преступлении, отыскав якобы «затерянные записи осужденного». Гюго решительно отверг это предложение, но заключил с Госселеном договор на новую книгу — роман о средневековом Париже, обязавшись написать его к осени того же года.

«Последний день приговоренного» — шаг к одному из крупнейших романов Гюго, «Отверженные». Писатель уже на подступах к главной теме своего творчества. Призыв к человечности, протест против жестокости социальных контрастов станут пафосом его жизни, душой всего лучшего, что создано им. Правда, протест писателя не получил пока определенного социального адреса. Но призыв, прозвучавший в повести, вызвал взволнованный отклик у современников.

Гюго не только поднял голос против смертной казни, он встал на защиту человека против бесчеловечного мира. Он вскрыл новые пласты жизни, еще не поднятые французской литературой того времени. Повесть «Последний день приговоренного» — одна из первых предвестниц целой череды социально-психологических романов и повестей, которые появятся во Франции в 30-е, 40-е годы XIX века. Парижское дно, мир каторги и тюрьмы, чудовищные социальные противоречия предстанут в них перед читателями. Авторы этих произведений пойдут дальше Гюго в своем обличении. Но Гюго одним из первых бросил луч света в мрачные подвалы города контрастов и поднял, как стяг, высокую тему человечности.

Реакционные газеты встретили повесть Гюго в штыки. «Мы никогда не простим ему упорного стремления запятнать человеческую душу, поколебать покой целой нации… Избавьте нас от такой обнаженной правды», — писала монархическая газета «Котидьен».

Виктор Гюго выдержит еще немало боев, защищая занятые им позиции писателя-гуманиста.

Битва за «Эрнани» (1829–1830)

В феврале 1829 года весь литературный и артистический Париж был на премьере романтической пьесы Александра Дюма «Генрих III». Успех был завоеван неожиданно, без боя. Дюма, еще молодой и малоизвестный писатель, застал, как говорится,

врасплох ревнителей академического благочиния. Правда, они затем спохватились, приняли меры, и пьеса вскоре сошла со сцены. Но первое ее представление стало настоящим праздником для романтической молодежи. Пробный выпад к предстоящим боям в храме Мельпомены был совершен.

Когда опустился занавес и театр еще дрожал от аплодисментов, Гюго прошел за кулисы. Дюма весь сиял. Громадный, он как будто еще вырос за этот вечер, а буйная шапка его волос стала еще курчавее от радости,

С трудом пробившись сквозь толпу поклонников, поклонниц и восторженных поздравителей молодого автора, Гюго крепко пожал ему руку и сказал: «Теперь моя очередь!»

Замыслы двух пьес возникли у него почти одновременно. Всюду — и в часы прогулок по Парижу, и в пыльных лавках букинистов, и в беседах с друзьями — перед ним реяли, мелькали, роились образы его будущих героев.

Первым сложился замысел пьесы из истории Франции времен Ришелье.

Смутные тени прошлого постепенно оживают. Вот уже слышится биение гордого сердца Дидье. Звон шпаг. Страстный протест. Мольбы о справедливости и слова любви. Любовь ведет и к гибели и к подвигу. Терзает и бесконечно возвышает.

Но есть еще что-то другое, то, что может быть сильнее любви, — чувство человеческого достоинства, несгибаемая гордость плебея, страстный порыв к правде, к защите попранной тиранами справедливости…

Рождаются, звучат первые стихотворные строфы. Но Гюго не берется за перо. Он вынашивает свое творение. Как всегда, лучше всего работается на ходу, во время прогулок среди гудящей толпы. Быстрый диалог прохожих. Обрывки слов, споров, признаний. Гримасы гаменов, ругань торговок, уличные сценки. Но все это не мешает ему. Наоборот. Он видит, он запоминает и в то же время думает о своем.

Около бульвара Монпарнас, что в двух шагах от дома, выстроен дощатый барак. Кругом теснятся любопытные. Хохот, озорные шутки. Здесь выступают фокусники и фигляры. А рядом с балаганом старое кладбище. Как эффектны должны быть такие контрасты в драме!

Смутные тени прошлого оживают… Может быть, они и не станут совсем живыми и реальными, но все же в них трепещут большие чувства. И они принадлежат не только прошлому. Многое роднит их с тем, что бурлит, назревает в Париже 1829 года.

И во время своих длинных прогулок по городу и в кафе

Грациано, куда он любит теперь заглядывать с друзьями и где готовят такие вкусные макароны по-неаполитански, и в мастерской Деверия и Буланже, где собираются молодые художники, журналисты, начинающие поэты, — всюду он видит, слышит, всем существом своим ощущает назревание чего-то нового.

В Париже, да и во всей Франции растет недовольство режимом Карла X. Глухой ропот переходит в открытый протест. Студенты ходят на собрания тайных обществ, они увлечены идеями Сен-Симона и Фурье. Кипение мысли. Брожение умов. Это должно привести к чему-то решительному…

Песенки Беранже звучат и на улицах, и в кафе, и в салонах, их иногда поют на мотив «Карманьолы» или «Марсельезы». Эти песенки передают растущий ропот масс:

Все те же бедствия в народе,
И все командует Бурбон…

А сам Беранже снова в тюрьме. Политический заключенный.

Гюго пришел к Беранже в тюрьму познакомиться и потом не раз навещал его. Окно его камеры выходит во двор отделения уголовников.

— Вчера у меня был банкир Лаффит, — рассказывал Беранже, — и это произвело на него такое впечатление, что он не мог прийти в себя и уверен, что не выдержал бы здесь и одного часа. А я ему ответил: «Милый мой Лаффит, захватите с собой сотню человек с этого тюремного двора, а я по выходе из тюрьмы приду на первый ваш званый вечер, и захвачу сотню гостей из вашего салона. Потом мы с вами взвесим, которая из сотен перетянет».

И в тюрьме Беранже не меняется. Тот же взгляд, живой, проницательный, лукавый. Та же сатирическая хватка под внешним добродушием. И неизменный длиннополый сюртук и клетчатый жилет.

Камера узника завалена пирогами, дичью, бутылками вина. Толпы теснятся у входа в тюрьму. В часы посещений образуется громадная очередь. Здесь все больше простые люди с гостинцами в свертках и корзинках. Хотят поддержать его, выразить свою любовь народному певцу.

У всех на устах этой весной песенка, которую Беранже сочинил за решеткой: «Моя масленица в 1829 году». Он обращается в ней к королю Карлу X:

Пускай не гнется, не сдается

Решетка частая в окне.
Лук наведен, стрела взовьется.
За все отплатите вы мне.

Да, лук наведен. Атмосфера грозы сгущается. Низвергаются прежние кумиры, блекнут, линяют старые иллюзии.

Гюго и сам уже не тот юноша, который негодовал по поводу убийства герцога Беррийского, славил Бурбонов, преклонялся перед королевскими серебряными лилиями. На смену детским верованиям пришло открытие героизма и блеска наполеоновской эпохи. Признав и восславив «тень императора», подвиги ветеранов его армии, он по-иному стал смотреть и на революцию конца XVIII века, увидел в ней истоки подъема нации, пробуждения скрытых сил и величия французского народа.

Он мучительно пытался примирить старые и новые свои верования, объединить их под знаменем «Слава Франции», «путь прогресса». Но и эта новая платформа оказалась шаткой. Франция, настоящая Франция изнемогала от кровавых войн начала века, она задыхается теперь в оковах реставрированной монархии. И где она, эта настоящая Франция? Разве славу ее создают только великие люди? Только властители, полководцы, полубоги? А простые смертные? Те, что толпятся у входа в темницу Беранже? Те, что изучают в тайных обществах азбуку революции? Безвестные воины, трупами которых усеяны поля исторических битв? Армии бедняков, которые трудятся, любят, мечтают, создают песни и которых унижают, бросают в тюрьмы, убивают?

Все новые вопросы теснились перед ним. Он не мог еще дать на них сколько-нибудь ясный ответ. Он еще даже не мог решить, что лучше для народа — республика или монархия. Представления его о народе были зыбки и расплывчаты., собственная позиция в социальной схватке не определилась, но он уже сбросил с себя оковы прежних верований и приветствовал грядущие перемены.

* * *

Замысел пьесы в стихах созрел. 1 июня 1829 года Гюго взялся за перо, а 24 июня он закончил последний акт.

«„Марион“ родилась у него, как Афина-Паллада из головы Зевса, — готовой и во всеоружии», — шутили друзья. Он назвал пьесу «Дуэль во времена Ришелье». Чтение состоялось 10 июля.

Красный салон казался маленьким и тесным, столько собралось здесь народу. Поэты, драматурги, прозаики, художники, музыканты. Окна открыты настежь, и все-таки душно. Завсегдатаи нового Сенакля теснятся вокруг хозяина, приветствуют его жену. Жаль, что нет Шарля Нодье! Он нездоров. И Ламартин не приехал из своего поместья Сан Пуан. Прежние соратники понемногу отходят в сторону. Зато сколько свежих сил!

Гости разбиваются на группы. Гул, смех, обмен последними новостями, литературные споры. Кто-то оглушительно хохочет. Это Бальзак. Маленький, коренастый, он отчаянно жестикулирует, подымается на носки и старается перекричать всех собеседников. О, он не отличается великосветскими манерами, зато сколько пыла, экспрессии, убежденности! Глаза его светятся каким-то особенным блеском. Еще бы. Много лет он бился с нуждой, строчил для заработка, мечтал, неустанно трудился, и наконец-то ему удалось оседлать непокорную судьбу! Его роман о шуанах вышел в этом году и имел немалый успех. Первый раз ему улыбнулась капризная красавица по имени Слава. Он, конечно, понимает, что эта дама умеет кружить людям головы и чертовски прихотлива, особенно в Париже… Посмотрим, как-то он дальше с ней поладит…

А вот и Клара Газуль. Как, вы с ней не знакомы? Ха-ха-ха, да ведь это же Проспер Мериме!

Два художника, два Эжена, Эжен Делакруа и Эжен Деверия отходят в сторону. Разговор идет о последней выставке. К сожалению, в светских кругах Парижа больше восторгаются бородой Делакруа, чем его картинами. Новатор в искусстве, художник держится в салонах осторожно, никогда не высказывает крайних мнений. «Как жаль, что такой умный и очаровательный человек занялся живописью!» — вздыхают светские дамы, его поклонницы. Но в красном салоне ценят именно его живопись. Делакруа жалуется на прессу, на жюри. Всюду засели рутинеры. Его картин не хотят признавать, филистеры воротят носы, газеты ругают. Но он не намерен отступать.

В другом конце комнаты два поэта, два Альфреда — Виньи и Мюссе, оба белокурые, стройные. Альфред де Виньи, как всегда, корректен, невозмутим. Читатели увлекаются его историческим романом «Сен Мар», тоже из времен Ришелье.

Сент-Бёв перебегает из одного конца салона в другой. Он уже слышал новую пьесу Гюго и не прочь слегка ужалить своего покровителя и соратника. Наклонившись к Виньи, он что-то нашептывает ему, вероятно, о том, что пьеса Гюго выросла из романа «Сен Мар»

— Обратите внимание при чтении! — говорит он, улыбаясь.

А вот и Дюма. Он жаждет узнать, как Виктор держит свое слово.

— Тише, тише! Тс-с-с… — Мэтр открывает рукопись. Слушатели переносятся во Францию XVII века. Звенят шпаги. Пылают сердца.

Прекрасная куртизанка Марион Делорм любит отважного и честного Дидье. Для него она бросила Париж и прежних друзей. С ним она готова делить любые невзгоды. Марион скрывает от него свое настоящее имя. Дидье боготворит ее, он уверен, что Марион — образец чистоты и добродетели. Он плебей, но честь для него дороже всего. Стычка с неким маркизом заставляет Дидье взяться за шпагу. Дуэль во времена Ришелье запрещена и карается смертной казнью. Дидье скрывается вместе с Марион. Они в труппе комедиантов. И тут он узнает, что его возлюбленная — знаменитая куртизанка. Идеал рухнул, жизнь теряет цену в его глазах. Дидье добровольно идет навстречу смерти, отдавшись в руки властей.

Марион в отчаянии. Она припадает к ногам короля, молит помиловать Дидье. С просьбой о помиловании обращается к Людовику XIII и старый родственник маркиза-дуэлянта, противника Дидье. Они вымолили, они вырвали у короля драгоценный указ. Но вероломный и трусливый Людовик XIII трепещет перед Ришелье. Решение отменено. Королевская милость? О, она безгранична! Пусть радуются осужденные: виселица заменена плахой.

Дидье идет на казнь, не примирившись с Марион…

Чтение закончено. Секунда напряженной тишины, и вслед за ней бурный взрыв восторгов. Друзья бросаются к автору. Они приветствуют его творение. Это именно то, чего они ждали. Это открытие! Свежая кровь вливается в артерии французской драмы. Трепещущие контрасты, живые краски времени. Энергическое, мужественное звучание стиха! А с какой непринужденной смелостью переносится действие! Из покоев Марион на ночную улицу Блуа. Из барака комедиантов в королевский дворец. Долой традиционные единства места и времени! Их нет в новой пьесе Гюго, и она сценична!

Друзья не скупятся на похвалы. Бальзак горячо жмет руку Гюго. Правда, его оценка далека от этих кликов восторга, однако критические замечания неуместны в атмосфере бурного восхищения. Бальзак выскажется потом. Он напишет памфлет «Романтические акафисты» и высмеет в нем выспренний тон неумеренных похвал, укоренившийся в романтических салонах.

Директор «Комеди Франсэз» многоопытный Тэйлор одобряет пьесу, но беспокоится, пропустит ли цензура четвертый акт, в

котором дана такая уничтожающая оценка королю Людовику XIII. Завтра Тэйлор скажет об этом Гюго и посоветует ему кое-что смягчить. Так оно будет спокойнее.

Дюма бросается Виктору на шею. Разве может его ученическая пьеса идти в какое-нибудь сравнение с этим творением мастера!

— Здесь все качества зрелости и никаких ошибок юности, — говорит Дюма. Но он не завидует. Он счастлив, хотя и побежден. Ведь это их общая победа. Только об одном он просит Виктора:

— Помиловать Марион! Прошу амнистии прекрасной куртизанке. Нельзя быть таким неумолимым. Сердце разрывается. Неужели благородный Дидье не простит ее перед смертью?

Даже иронический Мериме присоединяется к этой просьбе. Автор обещает подумать. Нельзя быть глухим, когда тебя просят о милости.

* * *

На другой день о новой пьесе Гюго говорил весь артистический Париж. Директора трех театров просили автора передать им пьесу. Но прежде всего ее надо послать в цензурный кабинет. Разрешат ли постановку?

Опасения не напрасны, постановка запрещена. Гюго будет драться за «Марион». Справедливость должна восторжествовать. Он добивается приема у министра внутренних дел Мартиньяка.

Министр сух, холоден, официален. Пьеса кажется ему крайне опасной. В ней содержится двойной выпад: против монархии и против священных традиций драматургии. Отзыв цензуры представляется министру даже слишком умеренным.

— Вы тут осмеиваете не только королевского предка, но и самого ныне царствующего короля, — сурово говорит министр автору. — В изображении Людовика XIII, преданного охоте и подчиненного влиянию кардинала, каждый может заподозрить намек на Карла X. Как можно в такое время, когда все усиливаются нападения на королевский трон и ожесточение партий с каждым днем увеличивается, подвергать оскорбительному смеху публики царственную особу? Со времени появления «Женитьбы Фигаро» Бомарше нам слишком хорошо известно, как может взбудоражить умы театральная пьеса. Я приму все зависящие от меня меры, чтоб не допустить, постановки вашей новой драмы, — заключает министр непререкаемым тоном.

Автор не верит своим ушам. Да, видно, он еще сохранил

старые иллюзии о вольностях, процветающих во времена Реставрации. Но, может быть, к нему на помощь придет сам король?

Гюго просит аудиенции и получает разрешение. Но у него нет национального французского костюма — камзола, расшитого золотом. А в другой одежде к королю не допускают. Где достать? Выручает брат Абэль: в последнюю минуту он где-то добывает костюм. Спешно облачившись, Виктор идет во дворец Сен Клу. Аудиенция назначена на двенадцать часов дня.

В плечах слегка жмет, в горле пересыхает. Короля еще нет. Он задержался в церкви у обедни. Наконец прием начался. Докладчик вызывает: «Барон Гюго!» Виктор вздрагивает, заливается краской и в смущении проходит сквозь строй камзолов.

Карл X любезен. Он знает господина Гюго как поэта. Более того, для него только и существуют два поэта — Гюго и Дезожье. Гюго удивлен, что его ставят на одну доску с второстепенным поэтом, автором застольных песенок, прославляющих вино и легкие «радости жизни», но можно ли возражать королю в эту минуту?

— Чем он может быть полезен господину барону? — осведомляется король. Гюго взволнованно рассказывает о своей пьесе, о ледяном приеме Мартиньяка. Король обнадеживает поэта, берет у него рукопись четвертого акта. Жаль, что здесь не вся пьеса. Решение будет вынесено незамедлительно.

Надежды на благополучный исход злоключений «Марион» возрастают. В Париже становится известно, что Мартиньяк слетел с поста министра внутренних дел. Вскоре Гюго получает приглашение явиться к новому министру.

— Король прочитал четвертый акт и очень жалеет, что не может разрешить пьесу для постановки, — сообщает министр. — Впрочем, — добавляет он, — правительство готово, со своей стороны, на всякое вознаграждение за понесенные автором потери.

Последние иллюзии рушатся. Дело, оказывается, не в министре Мартиньяке. Вопрос глубже.

На другой день Гюго советуется с Сент-Бёвом, что делать дальше. Раздается звонок, и входит курьер. Он протягивает пакет с печатью министерства внутренних дел. В нем уведомление: король назначил новую пенсию поэту Гюго в четыре тысячи франков.

— Будет ли ответ?

Поэт, не раздумывая, садится за стол, набрасывает письмо и отправляет его министру с тем же посыльным. Виктор Гюго

отказывается от королевской подачки. Тон письма вежливый, но решительный. «…Поскольку постановка этой пьесы… представляется опасной, я принужден склониться, надеясь на возможное изменение августейшей воли. Я просил лишь разрешения постановки моей пьесы и ничего другого».

* * *

И снова он шагает по бульвару Монпарнас. Собирает мысли и силы. «Марион» задушена реакционной цензурой, самим королем. Больше некуда идти, не у кого просить. Неужели прекратить сражение? Предоставить поле действия эпигонам и рутинерам, отказаться от задуманного? Нет. Бои в театре состоятся. Выход один — немедленно написать новую пьесу. Взяться сейчас же за воплощение второго замысла. О бунтаре, изгнаннике, тираноборце.

Испания. Прекрасны мрачные и горячие краски этой страны. С детства в память Гюго врезалось звучное и какое-то особенно испанское слово — Эрнани. Это имя подойдет для героя. Эрнани. Так назывался поселок, в котором они делали первый привал во время памятного путешествия. Испания сражалась тогда за свою независимость. Виктор был еще маленький, но он ничего не забыл. Эти скалы, этот воздух, насыщенный свистом пуль и народной ненавистью к поработителям; эти контрасты великолепного дворца Массерано и мрачного барака — коллегии для дворянских детей, куда их с братом Эженом заточил отец; молчаливую, сосредоточенную жажду мести в сердцах испанских юношей и медлительную походку надменных дам.

Действие его драмы развернется в XVI веке. Герой драмы — благородный разбойник. Сын гранда, казненного королем, Эрнани отрекся от своего сословия и вступил в ряды гонимых, стал бунтарем, мстителем. Разбойник любит юную красавицу донью Соль. Но у него два знатных соперника: старый граф Руй Гомес де Сильва, опекун девушки, и молодой дворянин дон Карлос, будущий король Испании. Сложная борьба. Роковые случайности. Переломы судеб. Длительный поединок силы духа и благородства между разбойником и королем. И разбойник превосходит короля.

Счастье близко. Эрнани празднует свадьбу с доньей Соль. Но им суждено погибнуть в самый счастливый день их жизни. Слышится призывный звук рога. Это дон Руй Гомес, спасший когда-то Эрнани от гибели, требует расплаты. Разбойник поклялся отдать жизнь по первому требованию своего спасителя и

должен сдержать слово.

Гюго обещал Тэйлору закончить пьесу к 1 октября. «Можете заранее назначить на это число заседание театрального комитета. Чтение состоится», — сказал он директору театра.

И чтение состоялось.

Пьеса понравилась. Начались репетиции. Но не все шло гладко. Знаменитая актриса мадемуазель Марс, долгие годы безраздельно царившая на сцене «Комеди Франсэз», привыкла к традиционному языку классических драм, и некоторые выражения молодого драматурга казались ей странными и неоправданными. То и дело она останавливалась и, обращаясь к автору, просила его подумать, нельзя ли переделать не удовлетворявший ее стих.

— Мосье Гюго, здесь ли мосье Гюго? — восклицала она, притворяясь, что не видит его.

— Что вам угодно?

— Ах, вы здесь, я очень рада. Что это за странный стих:

Мой гордый лев великодушный…

Неужели он вам нравится?

И так на каждой репетиции. Саркастический тон примадонны крайне раздражал Гюго. Дело дошло до того, что он предложил прославленной актрисе отказаться от роли и передать ее другой. Мадемуазель Марс не захотела принять всерьез дерзкую выходку молодого автора и продолжала репетировать. Стычки прекратились.

Зима в 1830 году стояла холодная. Актеры и автор еле отогревались у жаровни с горящими угольями, которую приносили за кулисы.

Подготовка пьесы затянулась. Нервное напряжение все возрастало. Гюго выводили из себя мелкие придирки цензуры. Ему приходилось стих за стихом отстаивать свой текст, а сколько сил уходило на эти препирательства!

Но еще больше тревожила его небывалая активность лагеря противников. Текст пьесы еще нигде не публиковался. Читки и репетиции проводились лишь в ограниченном кругу друзей и актеров-участников, но многие газеты и журналы уже нападали и на пьесу и на автора. Роялисты укоряли Гюго в измене и дезертирстве. Защитники традиций видели в нем злостного нарушителя принятых норм. Появились пародии и пасквили на эту еще не игранную пьесу.

Надо было заранее организовать противодействие атакам

консерваторов, которые, безусловно, постараются провалить «Эрнани» во время первого представления. На профессиональных клакеров рассчитывать нельзя, их могут подкупить противники. И Гюго, к ужасу Тэйлора, отказался от услуг клаки. Нужна добровольная команда верных, преданных, непоколебимых бойцов за «Эрнани», решил он.

День премьеры приближался. Квартира Гюго превратилась в ставку командования. Где былые тихие вечера с чтением стихов и восторгами друзей?

«Великий Виктор», как называли его между собой юные последователи романтизма, из вождя литературной группы превратился в «предводителя разбойников», а его жена из прелестной хозяйки салона — в распорядителя военных действий, исполнительницу приказов главнокомандующего.

Отряды состояли из молодых литераторов, живописцев, газетчиков, студентов, типографских рабочих. Добровольных защитников набралось уже более трех сотен. Адель Гюго нарезала квадратики из красного картона, на каждом из них вытиснено испанское слово «Hierro» — «железо». Это символ стойкости бойца.

Сент-Бёв не узнает тихий дом своего друга. Он ревниво смотрит на Адель, которая улыбается и протягивает руку вчера еще не знакомым людям. Ему не нравится происходящее.

А лохматые юнцы полны энтузиазма. О, они постараются!

* * *

25 февраля 1830 года с двух часов дня у входа в театр «Комеди Франсэз» стала собираться какая-то странная толпа. Будто ряженые или разбойники. Все прохожие и окрестные жители взбудоражены необычным зрелищем. Рыбные торговки, зеленщицы, почтенные буржуа и их жены таращат глаза и сокрушенно покачивают головами, глядя на этих смутьянов, этих негодников. Шляпы как у бродячих комедиантов, костюмы невиданного покроя и каких-то раздражающих попугайских цветов, гривы так и развеваются, а бороды словно у бандитов или у сказочных людоедов. Все не как у людей. Выстроились рядами. Подумать можно, что собрались на парад. Разогнать бы их. Чего только полиция смотрит!

А полиция хоть и полна подозрений, но придраться ей пока не к чему. «Разбойники» стоят тихо, чего-то ждут.

Какие-то мальчишки, забравшись на крышу театра, начинают сперва понемногу, а потом с постепенно возрастающей

активностью и силой бомбардировать кудлатые банды защитников «Эрнани».

Обглоданная кочерыжка запущена метко. Она угодила в самую физиономию Оноре Бальзака. Живописная венецианская шляпа Эжена Деверия качается под градом картофельных очистков. Изящный Делакруа едва уклонился от изрядной порции яичной скорлупы.

В негодовании воинство Гюго порывается вступить в схватку с нападающими, дать им сокрушительный отпор, но надо терпеть: вдруг и правда вмешается полиция. Стойкость! То ли приходится переносить в боях!

Наконец дверь театра приоткрывается, и воинственные орды цепочкой тянутся в ворота храма Мельпомены. Им долго надо пробыть в засаде. До начала представления осталось несколько часов. Прочно занять стратегические позиции! В их распоряжении весь партер и несколько рядов галерки.

Понемногу глаза привыкают к темноте. Приятели окликают друг друга.

— Как дела? Все ли твои на месте? А Теофиль привел еще новое пополнение?

Луи Буланже ревниво осматривает свой отряд. Дезертиров нет. Приглушенные голоса постепенно становятся громче. И скоро священные своды оглашаются озорным смехом молодежи, задорными криками: «На гильотину старые парики! Долой филистеров!»

Звучат песенки Беранже. Где-то в углу раздаются звуки «Карманьолы», и ее подхватывают хором. Студенты, как всегда, затевают политические споры. Ох, и достается же министрам и еще кое-кому повыше.

Некоторые из молодых воинов не успели пообедать. Тут же на стульях партера раскладывают закуску, извлеченную из карманов. Кружочки колбасы, сосиски, ломтики сыра, бутерброды. Делятся с друзьями.

Часы идут. С потолка спускается громадная люстра, вспыхивает свет. Даже больно глазам, привыкшим к потемкам. Начинает съезжаться публика. Весь Париж рвется на эту премьеру. Столько было слухов, толков! Любопытство возбуждено. Противники «Эрнани», сами того не желая, сделали пьесе превосходную рекламу.

Театр переполнен. Через щелку в занавесе автор окидывает взглядом зал. Партер чернеет, там романтическое воинство, а ложи блещут всеми красками женских туалетов. Вот появляется Дельфина Гэ, розовая, как заря, с цветком в золотистых кудрях.

Адель в другой ложе. Белое платье. Черные локоны. Глаза

сверкают, волнуется. Ее появление встречено бурными аплодисментами партера. А вот и госпожа Рекамье, хозяйка знаменитого салона. Она через Мериме просила у Гюго достать хотя бы два билета.

Сияют лысые черепа, белеют седины «бессмертных» — членов Французской Академии. Они здесь!

Дамы усиленно наводят лорнеты на длинноволосого юношу в пурпурно-красном жилете. Это Теофиль Готье, один из самых стойких борцов армии «Эрнани». Он стоит, выпрямившись во весь рост, и дерзко глядит на лорнирующих его дам.

За кулисами тревога. Мадемуазель Марс возмущена. Что это за банда длинноволосых в партере? Первый раз в жизни ей приходится выступать перед такой публикой. Мусор, запах сыра, прямо как в какой-нибудь харчевне.

Раздается звонок. Что-то будет?

С первого, акта бойцы партера и галерки отстаивают пьесу пядь за пядью. Они так неистово и единодушно аплодируют каждой удачной сцене, что невольно заражают других. Да и сама пьеса увлекает и постепенно покоряет зал. Аплодисменты становятся все более дружными, и отдельные свистки тонут в ропоте одобрения.

Не чудо ли это? Мадемуазель Марс улыбнулась Гюго, встретившись с ним в антракте.

А во время четвертого акта к автору за кулисы прибежал запыхавшийся издатель Мам. Он просит продать ему право на издание пьесы за шесть тысяч франков. Как это кстати! У Гюго сейчас весь наличный капитал 50 франков.

Последний акт проходит с триумфом. Игра мадемуазель Марс потрясает зал. Гремят овации. На сцену летят букеты, венки.

— Автора! Автора!

Но Гюго не показывается. Мадемуазель Марс подходит к нему и подставляет щеку:

— Поцелуйте вашу донью Соль!

Толпа зрителей и «бойцов» ждет его у выхода. Они встречают его восторженными кликами, они подымают его, качают, несут.

* * *

На первом представлении победа одержана. Но дальше становится все труднее. Уже нет такого количества мест для армии защитников. И враги организуют яростные нападения. В газетах карикатуры. В театре свистки, хохот. Актеры с трудом говорят под этот шум. Мадемуазель Марс перестала благосклонно

улыбаться автору. Но сотня бойцов сражается с неослабевающим пылом. И интерес к пьесе не спадает.

Гюго получает письма и от восхищенных энтузиастов и от противников.

В одном из писем некий аноним грозился убить автора «Эрнани». Узнав об этом, двое юношей каждый вечер провожали Гюго от театра до дома.

Слава «Эрнани» вышла за пределы Парижа. В Тулузе один молодой человек дрался за «Эрнани» на дуэли. В Лиможе некий драгунский капитан оставил завещание: «Желаю, чтоб над моей могилой была надпись: „Здесь, погребен глубоко веровавший в Виктора Гюго“».

Бальзак стойко сражался в воинстве «Эрнани», защищая пьесу Гюго, но в прессе выступил с суровой критической статьей. Он указал на погрешности против правдоподобия, натяжки, искусственности в построении образов и сцен.

Выводы Бальзака жестки: «…через несколько лет поклонники… будут удивляться своему увлечению „Эрнани“. Пока нам кажется, что автор скорее прозаик, чем поэт, и больше поэт, чем драматург… Между предисловием к „Кромвелю“ и драмой „Эрнани“ — огромное расстояние».

Восторженно приветствовавший предисловие к «Кромвелю», принявший его принципы, Бальзак, однако, пошел в своем развитии в ином направлении, чем романтики. Статья его написана с позиций реалиста, для которого главное достоинство произведения — правдивость, соответствие действительным фактам жизни. Он осуждает драмы Гюго за условность колорита, искусственность ситуаций, отсутствие четкой индивидуализации характеров.

И все же великий реалист был слишком суров в своих суждениях об «Эрнани». Ратуя за правдоподобие и естественность и не находя их в пьесе, он не увидел ее действительных достоинств: высокого тираноборческого пафоса, одушевляющего «Эрнани», свежести и красоты стиха, новизны и богатства поэтического языка — всего того, что сделало эту пьесу событием в литературной борьбе своего времени.

* * *

— Ну как, Теофиль, решимся или опять уйдем ни с чем? — обращается длинноволосый юноша к своему спутнику.

— Уже третья попытка, — грустно говорит Теофиль Готье.

Эти юноши верно служат в армии «Эрнани» и больше всего на

свете хотят быть представленными ее главнокомандующему. Третий раз они подходят к его дому, но не решаются позвонить. Как только приблизятся к дверям, ноги как будто наливаются свинцом.

Они садятся на крыльцо и смотрят друг на друга с усмешкой:

— Ну и храбрецы!

И вдруг — о чудо, о ужас! — сезам открылся — дверь распахнулась, и перед ними, освещенный косыми лучами заходящего солнца, предстал сам вождь. Юношам кажется, что этот стройный корректный человек в черном рединготе и серых панталонах излучает ослепительное сияние, как Феб-Аполлон.

Они опускают глаза. Виктор Гюго с ободряющей улыбкой приглашает их войти. Он собирался на прогулку, но ее можно отложить. Рад познакомиться.

Давно ли он сам вот так же стоял у дверей Шатобриана с бьющимся сердцем? Давно ли? Да, уже давно. Эти десять лет были наполнены до предела. Трудом, борьбой, потерями, свершениями. И вот теперь он внушает трепет и восторг молодым поэтам.

Благоговейно оглядывают они его рабочую комнату. Никакой роскоши, скорее бедность. На стенах рисунки братьев Девериа, Луи Буланже и самого Гюго. На камине две фаянсовые вазы с цветами. Книжная полка. Рядом с Вергилием и библией виднеется знакомый корешок — «Кромвель». Предисловие к этой пьесе — библия романтиков. Впрочем, юноши глубоко уверены, что ни библия для христиан, ни коран для мусульман не были предметом столь глубокого почитания, как эти заповеди романтизма для артистической и литературной молодежи Франции конца 20-х годов XIX века.

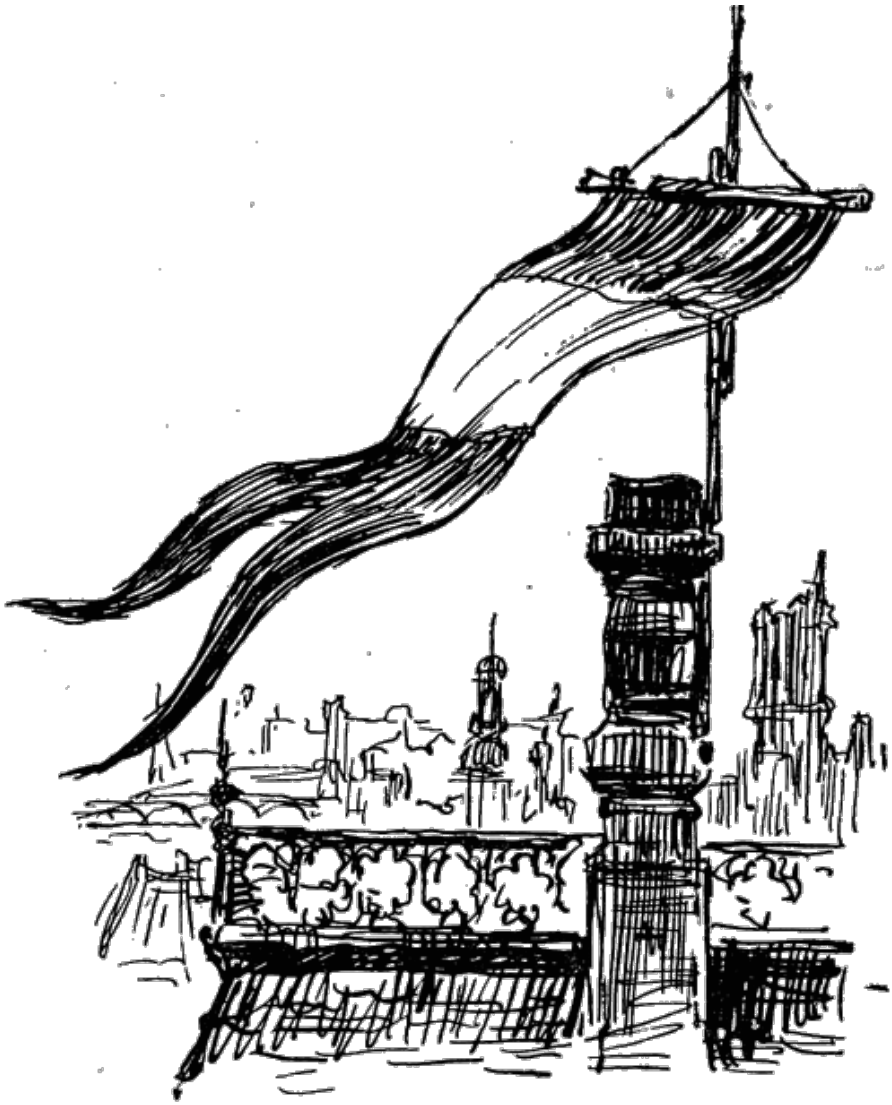
О, они готовы сражаться против старых рутинеров с лысыми черепами, надутых академических ничтожеств, против ненавистных париков. Самое слово «парик» для них символизирует тупость, косность, дряхлость и чванство. Они знают, что в битве с париконосной стоглавой гидрой надо быть смелым и верным, как шпага. Как хотели бы они сказать все это молодому мэтру, но вот молчат или бормочут что-то несвязное и смотрят на него с восторгом и преданностью. Ведь на богов, королей, прекрасных женщин и великих поэтов можно смотреть немного пристальнее, чем на простых смертных. Они к этому привыкли.

Пройдут годы, и Теофиль Готье станет известным поэтом. Вспоминая о первом знакомстве с вождем романтиков, он нарисует в своем очерке портрет молодого Гюго.

«То, что прежде всего поражало в наружности Гюго, — это

монументальный лоб, подобно беломраморному фронтону, увенчивающий его спокойное и серьезное лицо, лоб поистине сверхчеловеческой красоты и обширности… Этот лоб свидетельствовал о могуществе. Его обрамляли светло-каштановые волосы, которые были несколько длиннее, чем принято. Ни бороды, ни усов, ни бакенбард, ни эспаньолки, тщательно выбритое лицо необычайной бледности, и на нем светились два золотистых глаза, подобных глазам орла; рот со слегка опущенными уголками, твердый и волевой по очертаниям, приоткрываясь в улыбке, обнаруживал зубы сияющей белизны. На нем был строгий костюм: черный редингот, серые панталоны, маленький отложной воротничок. Манера держаться скромная, корректная. Никто не угадал бы в этом безукоризненном джентльмене предводителя кудлатых и бородатых разбойничьих банд, наводивших такой ужас на буржуа с бритыми подбородками».

Часть вторая



Что может заключаться в бутылке чернил (1830–1831)

— Сейчас во Франции два человека вызывают острую ненависть — Полиньяк и вы, — сказал редактор «Курьер Франсэз», встретившись с автором «Эрнани».

Ну, конечно, редактор для красного словца хватил через край. Против Виктора Гюго выступают лишь его литературные

противники, преимущественно ревнители старины. А вот министра-президента Полиньяка ненавидит большинство французов. Бывший эмигрант, призванный Карлом X к руководству государственными делами, Полиньяк хочет вытравить либеральный дух в стране и готов идти на крайние меры. Ограниченный и упрямый король заодно со своим министром.

26 июля в официальной газете «Монитер» опубликованы ордонансы, правительственные указы, открыто нарушающие и без того всячески урезанную конституцию — «хартию», установленную королем при его вступлении на престол. Еще усилить цензурный гнет; распустить палату, депутатов и впредь ограничить ее деятельность; урезать избирательные права, сохранив их лишь для крупных землевладельцев-аристократов, — таков смысл ордонансов Полиньяка.

Министр-президент, бросая этот вызов либералам, намеревался укрепить королевскую власть, но добился как раз обратного результата. В тот же день в Париже начались волнения.

На улицах толпы народа, несутся крики:

— Долой министров! Долой Полиньяка!

Возбуждение все усиливается.

В Париже в этот день больше 30 градусов по Реомюру.

Смахивая капельки пота со лба, Гюго прибивает книжную полку в своем кабинете и тревожно прислушивается к шуму за окнами.

Надо скорее приниматься за работу над новым романом. Если рукопись не будет представлена к декабрю, то придется взыскать с автора по тысяче франков за каждую просроченную неделю, грозится издатель Госселен. Каждый день на счету, а тут в хлопотах неожиданного переезда на новую квартиру потеряны все записи и наброски, пропал весь подготовительный труд, и ни строчки еще не написано.

Полка прибита. Книги расставлены. Утром 27 июля Гюго садится за стол. Но легко ли сосредоточить свои мысли на средневековом Париже в тот день, когда в живом современном Париже назревает восстание?

Голоса за окнами утихли. Вероятно, жители спрятались по домам. Издали слышны звуки выстрелов. Раздается тяжелый мерный топот. Солдаты. По мостовой грохочут артиллерийские фуры. Началось!

На следующий день звуки выстрелов усиливаются. Пули иногда долетают до сада Гюго. А в доме слышен писк новорожденной. Адель ночью родила дочку. До романа ли тут? Жена и малышка заснули, обе здоровы. Но тишины в доме нет. В

дверь то и дело стучат солдаты, просят напиться. Выстрелы не умолкают. Район, где поселилась семья, отрезан от центра города. Газеты не вышли, нет никаких известий о том, что происходит. Вдали слышатся призывные удары набата.

Гюго выходит из дому.

Аллея Елисейских полей вся загромождена пушками. Солдаты спиливают деревья. Пешеходов не пропускают; в городе опасно. Идут баррикадные бои.

К одному из деревьев привязан мальчик лет четырнадцати. Оборванный, бледный. Губы сомкнуты.

— Что он сделал? Зачем вы его привязали?

— А чтоб не убежал от расстрела, — отвечает солдат.

— Расстрелять этого ребенка? За что?

— Нечего сказать, невинный ребенок. Он убил наповал нашего капитана.

Со стороны заставы во весь опор мчится всадник. Генерал.

— Нашли время для прогулок! — резко говорит он поэту. — Какого черта вы здесь делаете? Отправляйтесь скорей домой — сейчас начнется сражение.

Гюго молча указывает на привязанного к дереву мальчика.

— Отведите мальчишку в полицейское отделение, — приказывает генерал солдатам. — А вы поскорее уносите ноги, — обращается он к Гюго. Видно, дело принимает серьезный оборот.

Три дня, три ночи, как в горниле,
Народный гнев кипел кругом;
Он рвал повязки цвета лилий
Иенским доблестным копьем.
На помощь смятому кордону
Улан крылатых батальоны
Бросались в бой во весь опор,
Но их, когорту за когортой,
Как горсть осенних сучьев мертвых,
Могучий пожирал костер, —

писал Гюго в оде, посвященной июльской революции.

29 июля над дворцом Тюильри уже развевалось трехцветное знамя. Во главе временного правительства банкир Лаффит, известный своей либеральностью, и генерал Лафайет, прославившийся в боях за независимость Северной Америки. Популярному в народе генералу вручено трехцветное знамя. Но Лафайет уже давно утратил свой республиканский пыл и боится ответственности. На заседании временного правительства решено передать это знамя принцу королевской крови, герцогу

Орлеанскому, и учредить во Франции не республику, а конституционную монархию. Молодой историк и журналист Тьер, активный деятель партии либералов, срочно пишет воззвание, крикливо рекламируя достоинства и добродетели герцога:

«…Герцог Орлеанский предан делу революции. Герцог Орлеанский — король-гражданин. Герцог Орлеанский носил в сражениях трехцветную кокарду… Ему вручит корону французский народ».

Лаффит везет герцога Орлеанского в Ратушу. Город еще покрыт баррикадами. Раздаются крики:

— Да здравствует свобода! Долой Бурбонов!

Народ враждебен герцогам и монархам. Как добиться хотя бы видимости его одобрения? И начинается инсценировка.

Седой генерал Лафайет выходит с герцогом Орлеанским на балкон Ратуши, перед многотысячной толпой обнимает его и передает герцогу трехцветное знамя. Раздаются аплодисменты. Это можно выдать за всенародное утверждение. Дело сделано.

«После июльской революции либеральный банкир Лаффит, провожая своего compére[3], герцога Орлеанского, в его триумфальном шествии к Ратуше, обронил фразу: *„Отныне господствовать будут банкиры“*. Лаффит выдал тайну революции».[4]

Карл X отрекся от престола и бежал в Англию.

Трон занял герцог Орлеанский, которого нарекли Луи-Филиппом I, королем французов.

Спустя много лет в романе «Отверженные», оценивая события 1830 года, Гюго так напишет о них:

«1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости, точно так же как солнце не признает огонька свечи. Кто останавливает революцию на полдороге?

Буржуазия.

Почему?

Потому что буржуазия — это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня — это сытость, завтра настанет пресыщение».

В 1830 году Гюго еще по-другому воспринимал события. Он приветствовал июльскую революцию, свергнувшую династию Бурбонов, но ему казалось, что народ «не созрел» для республики и конституционная монархия должна послужить переходной ступенью к будущему.

«Короли царствуют сегодня. Народу принадлежит завтра».

«Не пройдет и столетия, как республика, еще не созревшая сегодня, покорит всю Европу», — писал он в своем дневнике.

Оставаясь вне политических партий, Гюго занял позицию, близкую к либералам. Он надеялся что дальнейший прогресс общества будет совершаться путем мирных реформ.

С гордостью облачился поэт в мундир национального гвардейца и готов нести службу. Службу пером он уже несет: 10 августа закончена ода, прославляющая июльскую революцию. В этой восторженной оде есть, однако, и слово состраданья низверженным Бурбонам. Гюго отдает последнюю дань своим былым верованиям. Но с ними теперь кончено. Взоры обращены к будущему.

О, будущее так обширно!
Французы! Юноши! Друзья!
В прекрасный век, достойный, мирный,
Прямая нас ведет стезя.

* * *

Бурбоны пали, но издательские договоры не потеряли силы. Уже середина августа, а роман так и не начат. С трудом удалось автору, уговорить Госселена продлить срок до 1 февраля. Остается пять с половиной месяцев.

Гюго купил бутылку чернил и просторный вязаный балахон из серой шерсти. Все костюмы — на замок. Добровольное заключение, пока не будет окончен роман. Ни прогулок, ни театров, ни вечеров с друзьями. Выдержит ли он этот домашний арест?

Но уже через несколько дней он и не вспоминает о своих опасениях. Погрузившись в работу, он испытывает подъем всех сил, какую-то особую ясность мысли, радостное возбуждение. Фантазия и явь, прошлое и настоящее соединяются. Возникает новая действительность.

«Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской богоматери, или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово

ΑΝΑΓΚΗ

…Позже эту стену… не то выскоблили, не то закрасили, и надпись исчезла… Это слово и породило настоящую книгу», — пишет Гюго.

Слово «Ананкэ» — по-гречески «рок». Короткий зачин романа

— эмоциональный ключ к романтическому повествованию.

1482 год. Париж. Зал Дворца правосудия с его стрельчатыми сводами («Дорогой поэт, вас одолевает некий демон стрельчатых сводов», — говорил когда-то Виктору Шарль Нодье…). Живописная толпа парижан XV века. Уже тогда Париж был городом контрастов: педели и школяры, архиепископы и девицы легкого поведения, вельможи и нищие.

Народ собрался на зрелище. Средневековая мистерия — далекий предок современной драмы. Все было условно и наивно в этих действах. Но зрелища и тогда привлекали толпы народу. И один из героев романа, поэт Пьер Гренгуар, вероятно, испытывал чувства, похожие на те, которые переживает автор романтической современной пьесы. Тот же трепет перед разверстой пастью тысячеголового чудища — театрального зала. Что изрыгнет эта пасть — живительную бурю рукоплесканий или секущий, пронзительный свист и оскорбительный хохот?

И горластые, задиристые школяры XV века сродни лохматым восторженным юнцам из воинства романтиков.

— На гильотину парики! — кричат юноши 1830 года.

— Долой педелей! Долой жезлоносцев! — откликаются из глубины столетий школяры.

А парижские гамены смело могут перескочить из века в век — то же озорство, задор, бесшабашность. И вольнословие и вольномыслие издавна свойственны парижанам. Попадись только на зубок, будь ты кардинал или принц крови, — не поздоровится!

Приливы и отливы благоволения толпы. Зрелище, которого так ждала эта средневековая публика, она же, вероломная, не захотела даже досмотреть. Бедный поэт Гренгуар! Зрители предпочли его мистерии пестрый, грубый ошеломляющий праздник шутов. Конкурс уродов.

Безобразное во всем его великолепии: горбатый, клыкастый папа шутов Квазимодо. Гротеск. И тут же ослепительный контраст — Эсмеральда. «Была ли эта девушка человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар, сей философ-скептик… сразу определить не мог, настолько он был очарован».

Гревская площадь. Каменные столбы виселицы. И бурное веселье толпы. Пламя костров и трескучий мороз. Контрасты всюду.

И тут появляется человек, который напишет на стене собора загадочное и ужасное слово «рок». Надменный и сумрачный архидиакон Клод Фролло видит цыганку. Аскет загорается земным вожделением. Цыганка в опасности. Ее преследуют. Неожиданный спаситель, капитан королевских стрелков Феб де Шатопер с лихо закрученными усиками покоряет неопытное

сердце Эсмеральды. Увы! Таковы женщины. И в средние века даже самые лучшие из них склонны были обольщаться внешностью.

А вот и дно Парижа. Оно существовало и в XV веке. «Двор чудес». Бродяги, воры, нищие. Здесь свои законы и обряды, свои короли и подданные. Поэт Гренгуар должен пасть жертвой этих законов. Эсмеральда спасает его.

Главные герои появились на сцене. Нет. Еще не все. В действие вступает еще один, тот, чьим именем назван роман. «Вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора», — пишет Гюго.

«…три стрельчатых портала; над ними зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами… две мрачные массивные башни с шиферными навесами… Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа; единое и сложное, подобно „Илиаде“ и „Романсеро“, которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника…»

Париж с высоты башен собора — это тоже герой романа. Средневековый Париж с его островерхими кровлями, дворцами и башнями.

Сколько раз Гюго во время своих прогулок сквозь живые и переменчивые очертания и краски современного Парижа пытался различить контуры средневекового города! Впитывая настоящее, он жадно искал в нем следы прошлого. Он изучал старинные здания, мысленно восстанавливая прежний их облик, порой искаженный наслоениями веков — разрушениями или реставрациями.

Еще в детстве он взбирался по винтовым лестницам на башни собора и содрогался, оглушенный медным голосом громадного колокола. Симфония колоколов. «Поистине вот опера, которую стоит послушать». «Смешанный гул, стоящий над Парижем днем, — это говор города; ночью — это его дыхание, а сейчас — город поет».

И глухой Квазимодо, звонарь собора, слышит лишь голоса колоколов. «Собор заменял ему не только вселенную, но и всю природу». До встречи с Эсмеральдой горбун не знал человеческих чувств. Привязанность к приютившему его Клоду Фролло была преданностью собаки своему хозяину. Первый раз в жизни Квазимодо уронил слезу, когда Эсмеральда дала глоток воды ему, прикованному к позорному столбу, измученному, всеми презираемому. Слепая душа прозрела. Любовь к Эсмеральде стала с тех пор его жизнью, его вселенной. Любовь родила в нем

неимоверные силы. Квазимодо один противостоит толпе, защищая цыганку, укрывшуюся в соборе. Любовь к той же Эсмеральде становится роковой для Клода Фролло: священник-аскет превратился в клятвопреступника и злодея, он погубил девушку, обвинив ее в колдовстве. Эсмеральде грозит смерть.

Действие движется к развязке. Виселицы, пытки, страданья любящих сердец.

Но, пожалуй, страшнее и отвратительнее всех чудовищ, злодеев и убийц — образ короля Людовика XI. Венценосец во фланелевых штанах, с беззубым ртом и настороженным взглядом лисицы тщательно подсчитывает каждое су, проверяя статьи расходов. Цена прутьев железной клетки для него гораздо важнее, чем жизнь узника, заключенного в этой клетке. С холодной жестокостью приказывает он своему приспешнику стрелять в бунтующую толпу, вздернуть на виселицу цыганку Эсмеральду: «Хватай их, Тристан! Хватай этих мерзавцев! Беги, друг мой Тристан! Бей их! Бей!.. Раздавите чернь. Повесьте колдунью».

Народное восстание. Король и толпа возмутившихся бедняков. Все это было и в XV и в XIX веке. Но о королях прошлых времен дозволено говорить свободнее и правдивее, чем о властителях современности. А впрочем, иногда в облике венценосных злодеев прошлого, выведенных в произведении писателя, вдруг проступают черты их потомков. Ведь потому и задушили цензоры во главе с самим королем «Марион Делорм»… Гюго надеется, что его роман избегнет такой участи. Все-таки с тех пор многое изменилось: произошла июльская революция.

Народное восстание в романе глухо рокочет где-то в стороне, за сценой. Но уже встает и звучит здесь тема обездоленных. С этой темой Гюго никогда не расстанется.

* * *

Писатель так увлечен своей работой, что не замечает, как бегут месяцы. Идет снег, но окна в кабинете открыты настежь. Он сидит, закутавшись с головы до пят в вязаный балахон — «медвежью шкуру», и трудится без устали.

Иногда после обеда на часок заглядывают друзья, и он прочитывает им написанное за день.

Лишь один раз за эти пять месяцев Гюго нарушил свое добровольное заточение и, облачившись в новый мундир национальной гвардии (другие костюмы оставались под замком), пошел в суд на процесс министров Карла X.

Перед Люксембургским дворцом, где слушается процесс,

масса народу. Все окрестные улицы запружены толпами. Раздаются крики: «Долой Полиньяка! Долой Пейроне! Смерть министрам!» Заседание суда прервано. Народ ломится в двери. Стража прижата к стене. Крики становятся все неистовее. Люди лезут на фонарные столбы, на оконные выступы.

Генерал Лафайет выходит из зала суда на улицу, чтоб успокоить толпу, но его не хотят слушать. Надоели эти увещевания. Долой! К генералу гурьбой бросаются какие-то юноши, хватают его за ноги, поднимают в воздух с гиканьем и присвистом, перебрасывают его, как мяч, из рук в руки: «Вот генерал Лафайет! Кому он нужен? Получайте!»

На помощь Лафайету приходит линейный отряд. Солдаты, с трудом прорвавшись сквозь толпу, отбивают генерала. Лафайет, весь дрожа от волнения, обращается к Гюго:

— Господи! Что это творится? Я не узнаю своего парижского народа…

«А может быть, парижский народ уже не узнает своего генерала», — думает Гюго.

Да. Страсти не улеглись. Видно, революция не принесла народу того, чего он от нее ждал.

* * *

Роман закончен на две недели раньше назначенного срока.

14 января 1831 года дописана последняя строка.

Гюго глядит на гору исписанных листов. Вот что может заключать в себе бутылка чернил! А хорошее было бы название для романа! Надо рассказать об этом друзьям.

Первой читательницей рукописи оказалась жена издателя. Этой просвещенной даме, занимавшейся переводами с английского, роман показался чрезвычайно скучным. Госселен не замедлил предать широкой огласке отзыв своей супруги.

— Не буду больше полагаться на известные имена, — заявил издатель, — того и гляди потерпишь убытки из-за этих знаменитостей.

Однако печатание книги не задержалось. «Собор Парижской богоматери» вышел в свет 13 февраля 1831 года.

Во вторник на масленой неделе автор несет домой томики романа, пахнущие свежей типографской. краской. Навстречу толпа. Люди в масках и без масок с возбужденными криками бегут куда-то. Это уже не масленичное карнавальное шествие, а что-то другое. Угрозы, проклятья. Гюго прислушивается к выкрикам в толпе. Эти люди возмущены наглостью монархистов

и церковников, устроивших в самом центре города манифестацию и торжественный молебен в память герцога Беррийского, убитого десять лет назад республиканцем Лувелем. И после революции приспешники старого режима не унимаются.

— Довольно, пора положить этому конец! Долой их! — голоса крепнут. Толпа растет, она движется к дворцу архиепископа. Трудно пробиться в этой давке, но надо увидеть самому, что там происходит.

Дворец громят. Прямо в Сену выбрасывают книги из архиепископской библиотеки. Вот они летят и тонут. Фолианты в кожаных переплетах с золотыми застежками. Один из них, в черном шагреневом переплете, некоторое время держится на воде. Он очень знаком писателю. О, да ведь это же Хартия монастыря Парижской богоматери — важный источник романа Гюго. Все. Пошел ко дну.

Многие газеты и журналы встретили роман Гюго враждебно. Одни обвиняли автора в излишнем педантизме: в книге чересчур много описаний, деталей, исторических справок; другие, наоборот, корили его за неосведомленность, выискивая мелкие ошибки и неточности; третьи осуждали за отношение к религии. «В вашем „Соборе“ есть все, кроме малейшей доли религиозности», — сетовал Ламартин в письме к Гюго. Альфред Мюссе шутливо заметил в газете «Тан», что роман Гюго пошел ко дну вместе с архиепископской библиотекой в день народного мятежа.

Но книга отнюдь не «пошла ко дну», она завоевывала все больше и больше читателей во Франции и во всем мире.

«Собор Парижской богоматери» был крупнейшей победой, одержанной в области прозы молодым вождем французских прогрессивных романтиков. Принципы, провозглашенные им в предисловии к «Кромвелю», Гюго успешно применил в романе. Реальность картины жизни средневекового города соединяется здесь со свободным полетом фантазии. Историческая достоверность идет рука об руку с поэтическим вымыслом. Прошлое перекликается с современностью.

Контрасты пронизывают весь роман: свет и мрак, добро и зло, безобразие и великолепие, нищета и роскошь. Уродливое и смешное соседствуют с прекрасным и возвышенным, оттеняя его и порой соединяясь с ним, как в образе Квазимодо. Один из главных конфликтов — борьба сковывающих религиозных догм с живым человеческим чувством. Деспотизм, бесчеловечие, власть мрачных средневековых догматов над людскими душами и судьбами — в этом и заключается загадочное «ананкэ», злой рок,

приводящий к гибели героев.

Великолепны в романе массовые сцены: карнавальное шествие, осада собора. Многоголосие, многокрасочность, динамичность дают им дыхание жизни.

Гюго не боится предельно ярких, ослепляющих красок, сгущения, преувеличения. Кое-что в палитре автора «Собора» сродни неистово-романтическому «черному роману» с его нагнетением страстей, злодейств и неожиданностей. Но роман Гюго неизмеримо возвышается над мутным потоком «романов ужаса». Эффекты и кошмары отнюдь не являются его целью; ему чужда и враждебна мистика, страсть к потустороннему. Все в романе имеет реальное, вполне «земное» объяснение. Цель автора — пробудить в читателе чувство прекрасного, чувство человечности, пробудить протест против кошмаров прошлого, еще тяготеющих над современностью;

Роман Гюго сразу же начали переводить во всех странах Европы. Широкое звучание получил он и в России. Его читал Пушкин, им увлекались русские романтики. Бестужев-Марлинский писал Полевому: «Перед Гюго я ниц… Это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит всю французскую словесность…»

Друг Белинского В. П. Боткин в числе других многочисленных «паломников» из разных стран взбирался на башни Собора Парижской богоматери с томиком Гюго в руках.

* * *

Осень 1831 года. Поэт смотрит сквозь раскрытое окно кабинета, как падают на землю листья. «Осенние листья» — так он назвал свой новый сборник стихов. Это книга лирики. Раздумья, элегические воспоминания, картины полей и рощ, вечернего неба, стихи о детях, стихи о любви.

О письма юности, любви живой волненье!
Вновь сердце обожгло былое опьяненье,
Я к вам в слезах приник…

Эти строки были написаны в мае 1830 года. Уже тогда, в горячке театральных боев, в вечной спешке и напряжении, деятельный, возбужденный, он чувствовал минутами глухую щемящую боль. Колеблется его твердыня — семейное счастье: Адель как-то переменилась. Правда, она по-прежнему кротка, преданна, ласкова, и все-таки ему кажется, будто жена с каждым

днем отдаляется от него, становится все холоднее. Адель утомляется даже от разговоров с ним, зато часами готова беседовать с Сент-Бёвом. С лучшим другом мужа госпожа Гюго отдыхает душой, он так нежен, почтителен и к тому же всегда рад сопровождать госпожу Гюго в церковь, угождая ей. Виктор вечно занят, вечно спешит куда-то, а Сент-Бёв готов целые часы проводить в неспешных разговорах и совсем не жалеет для нее времени. Сент-Бёв любит жену друга и вскоре перестает скрывать это.

Отношения усложнялись все больше, запутывались, становились для Гюго мучительными. В дни бешеной работы над «Собором Парижской богоматери» личные горести на время отошли в сторону, образы романа заслонили их. Но Сент-Бёв, который перестал бывать в доме, тревожил Гюго своими письмами.

«Я не могу вас больше видеть. Ноги моей больше не будет на вашем пороге, — писал он в декабре 1830 года, — что мне делать у вас, если я заслужил недоверие, если подозрение постоянно проскальзывает в ваших глазах, и г-жа Гюго даже не может взглянуть на меня, не посоветовавшись с вашим взглядом…»

«Будем снисходительны друг к другу, — отвечал ему Гюго. — У меня своя рана, у вас своя. Все эти горестные потрясения пройдут, время залечит. Будем надеяться, что придет день, когда во всем этом мы найдем лишь основание для того, чтобы любить друг друга еще сильнее. Жена прочла ваше письмо. Приходите ко мне почаще. Пишите мне».

Гюго еще надеется, что когда-нибудь дружба его с Сент-Бёвом снова окрепнет и семейное счастье уцелеет. Но оно рушится.

Он перелистывает рукопись своего поэтического сборника. Не все написанное им за последние два года войдет сюда. Некоторые стихи можно оставить для следующих книг: ода революции и гимн, созданный в годовщину июльского восстания, не подойдут к лирическому строю книги. Здесь запечатлен «незримый мир раздумий и наитий», жизнь чувств, жизнь сердца. Но заключит поэт свой лирический сборник стихотворением широкого и мужественного звучания. И читатели поймут, что певец семьи и природы, весенних ручьев и осенних листьев не замкнулся в кругу узко личных тем.

Заключительный аккорд этой книги, овеянной легкой грустью, звучит оптимистически. Из мира личных переживаний распахивается окно в большой мир труда и борьбы:

Да, я пока еще в расцвете лет и сил.
Хотя раздумья плуг уже избороздил

Морщинами мой лоб горячий и усталый, —
Желаний я еще изведаю немало,
Немало потружусь. В мой краткий срок земной
Неполных тридцать раз встречался я с весной.

Я временем своим рожден, и заблужденья
В минувшие года туманили мне зренье.
Теперь, когда совсем повязка спала с глаз,
Свобода, родина, я верю только в вас!

Да, муза посвятить себя должна народу.
И забываю я любовь, семью, природу,
И появляется, всесильна и грозна,
У лиры медная гремящая струна.

«К оружию, граждане!» (1832)

Перед Тюильрийским дворцом почему-то особенно людно. К толпе любопытных присоединяются все новые и новые прохожие. Рабочие, студенты, модистки, цветочницы, парикмахеры, пожилые рантье, самые усердные читатели газет, и проворные журналисты, снующие по городу в поисках хлесткого материала. Кепки, каскетки, шляпки, чепцы. Мелькают широкополые шляпы из черной клеенки, их носят молодые республиканцы — члены

общества «Друзья Народа».

Тюильрийский сад долгое время был скрыт от глаз прохожих высоким дощатым забором. Сколько слухов ходило о таинственных работах, совершавшихся там по приказанию короля Луи-Филиппа! И что же? Оказалось, что король-буржуа захотел в большом дворцовом саду отгородить маленький личный садик для себя и своей семьи. Стройность пропорций аллей и цветников, примыкающих к дворцовому фасаду, нарушена. Выкопан глубокий ров и поставлена проволочная решетка.

В толпе слышен смех. Шутки становятся все язвительнее.

— Окопался: Отгородился рвом от народа.

— Давненько что-то не видать короля на парижских улицах. Прячется. А то, бывало, разгуливал в войлочной шляпе и с дождевым зонтиком. За руку здоровался с каждым лавочником.

— Братство, равенство! А где оно? Кто сейчас жиреет в Париже? Не мы с тобой, а Лаффиты. Они всем и заправляют у себя на бирже.

— Думаете, там, на бирже, они о славе Франции помышляют? Плевать банкирам на честь и славу.

До вечера толпится народ у Тюильрийского сада. Одни уходят, другие присоединяются к толпе. Побывал здесь и молодой немецкий писатель Гейне, который пишет корреспонденции о парижской жизни в немецкие газеты.

Проходил здесь и Виктор Гюго. Он все хочет видеть своими глазами.

Весной 1832 года в Париже рассказывают последние анекдоты о Луи-Филиппе, о новом рве, о старом зонтике, о любви короля к «золотой середине». Парижане восхищаются меткими карикатурами, которые в изобилии печатают сатирические листки.

В красном салоне Гюго в этот мартовский вечер людно и шумно. Острят наперебой.

— Да. У художника Филипона острый глаз. Он первый обнаружил поразительное сходство физиономии Луи-Филиппа с грушей.

— А слыхали вы о том, что правительство затеяло еще один процесс против этого художника?

— Глупцы! Они сами себя делают смешными. Скоро поток карикатур превратится в потоп.

— Как вам нравится портрет Казимира Перье, всесильного министра его величества и богатого банкира к тому же? Стоит на трибуне и потрясает… грушей!

— Ха-ха-ха! И еще, не помню, в каком это было сатирическом листке, нарисован спящий генерал Лафайет. Лежит в своем

парике, глаза закрыты, а на груди у старика огромная груша. Давящий кошмар.

— А что слышно о деле заговорщиков из Собора Парижской богоматери? Говорят, что они собирались по ночам в одной из башен. Как романтично!

— И вовсе не романтично, а классически, — острит кто-то. — Ведь давно уже рассказывают, что это сторонники классицизма из ненависти к роману Гюго собирались поджечь собор, а правительство приняло их за политических заговорщиков.

— Мне передавали, что это обыкновенная полицейская интрига, а не заговор.

— Кто знает! Заговоров все больше. Правительство не зря беспокоится. Сколько политических партий в оппозиции! Карлисты мечтают о Реставрации, бонапартисты об империи, республиканцы о временах Марата, но все сходятся в одном: июльская монархия — совсем не то, а Луи-Филипп — совсем не тот.

— Золотая середина. Царство посредственности.

— Вы были в опере на «Роберте-Дьяволе» Мейербера? В ней символический смысл. Главный герой Роберт-Дьявол мечется между духом отца, олицетворяющим революцию, и духом матери, воплощающим «доброе старое время». Герой, раздираемый двумя противоположными началами, мечтает о «золотой середине». И политика золотой середины, которой придерживается правительство, — это поистине роберт-дьявольская политика.

Гости смеются. Но хозяин почему-то сегодня хмур. Он участвует в общей беседе, переходя от группы к группе, но не хохочет вместе со всеми над очередными остротами и каламбурами. Ему хочется побыть одному. Жена вполне может заменить его, взять бразды правления в салоне. Гюго незаметно уходит.

Пройтись по вечерним улицам. Они уже затихают.

Навстречу идет оборвыш. Протягивает руку. Нищий. Их все больше в Париже. Нищие, преступники, проститутки. Тюрьмы, каторга, гильотина. Недоделанные революции, незавершенные реформы. Несбывшиеся надежды.

В отчете «Судебной газеты» Гюго прочитал о деле Клода Гё. Клод Гё рабочий. Фабрикант уволил его. Жене и ребенку нечего было есть, и Клод украл, чтоб накормить их. Его приговорили к пяти годам тюрьмы. В тюрьме надзиратель в течение четырех лет издевался над ним, унижал его человеческое достоинство. Клод не выдержал и восстал против несправедливости, против бесчеловечности. Он убил надзирателя. Кто же виноват в этом убийстве? Кто должен отвечать?

Клоду Гё вынесен смертный приговор… Гюго невольно ускоряет шаг, как будто спеша на помощь.

«Снова казнь! Когда же они устанут? Неужели не найдется такого могущественного человека, который разрушил бы гильотину. Эх, ваше величество, ведь вашему отцу отрубили голову!»

А его величество мирно почивает в Тюильрийском дворце. Говорят, что он рано ложится, соблюдает режим…

Дальше. Дальше. Темнеют башни собора. В какой же из башен собирались заговорщики? Гюго невольно улыбается, вспомнив рассказ о мести разъяренных защитников литературной старины. Да. Они побеждены. Новое литературное поколение собирает жатву, но действительность пока еще горька.

* * *

В конце марта 1832 года в Париже началась эпидемия холеры. Заболел сын Гюго Шарль. Отец дежурит у его постели. Мальчик лежит весь синий, холодный. Пальцы его почернели и скрючились. Доктор сказал, что надо, не переставая, растирать больного фланелью, намоченной в спирте.

Много отцов, матерей, жен плачут в эту ночь у постелей умирающих или вот так же, как он, борются за жизнь своих близких.

Холера нагрянула в разгар масленичного карнавала. Смех и танцы ряженых на бульварах умолкли, когда разнеслась весть, что один веселый арлекин сорвал свою маску и упал в страшных корчах. А вслед за ним свалилось еще несколько пьеро и коломбин. Засновали санитарные фургоны.

Потом кто-то пустил слух, что это вовсе не холера, а яд, который какие-то отравители подсыпали в источники или в пищу.

Что творилось в Париже! Яростные толпы хватали и обыскивали всех прохожих, казавшихся почему-либо подозрительными. Растерзали, умертвили, повесили на фонаре нескольких ни в чем не повинных людей. Когда же убедились, что это не происки отравителей, а эпидемия холеры, сразу замолкли, спрятались по домам. В городе странная тишина. Театры закрыты. На улицах груды холщовых мешков с покойниками. Гробов не хватает. Еще больше будет теперь сирот, нищих, бродяжек. Сколько семей потеряли кормильцев! А сколько родителей оплакивают своих детей!

Гюго, не переставая, растирает Шарля. Руки мальчика как будто чуть-чуть потеплели.

— Ой, папа, больно! — Он заговорил. Он чувствует боль, значит ему лучше.

За окнами занимается заря. Отец с надеждой и тревогой всматривается в лицо мальчика.

Шарль выздоровел. Эпидемия затихает. Хотя весна в этом году и одета в траур, люди снова улыбаются, спорят, думают о будущем, говорят о политике, о литературе. На бульварах влюбленные. На перекрестках уличные певцы, ораторы.

В красном салоне открыты окна, доносится запах майской листвы, звучат оживленные голоса, даже не верится, что совсем недавно все кругом дышало смертью.

В центре кружка гостей Оноре Бальзак. Он хвалит только что вышедшую книгу молодой писательницы Авроры Дюдеван, которая выступает под именем Жорж Санд. Ее роман «Индиана» вызвал много споров в Париже. «Эта книга — реакция правды против фантастики, нашего времени против средневековья… простой современности против преувеличений исторического жанра», — писал Бальзак в своей рецензии на «Индиану». И он отстаивает свое мнение.

— Если вы устали от морга, холеры, санитарных бюллетеней и лицезрения государственных людей — возьмите эти два тома. Они увлекут вас, хотя здесь нет ни кинжалов, ни крови!

— И вы оправдываете героиню, которая оставила мужа? — спрашивает одна из присутствующих дам.

— Да. Хрупкая, нежная Индиана сильна душой. Она не боится сбросить с себя иго, возложенное на женщину предрассудками и гражданским кодексом, — увлеченно говорит Бальзак.

— Мне кажется, что Жорж Санд близка по своим взглядам к мадам де Сталь. Она проповедует те же идеи, которые поражали нас в романах «Дельфина» и «Коринна», только Жорж Санд еще смелее, — замечает одна из собеседниц.

— Говорят, что Жорж Санд сама похожа на своих героинь. Живет так, как велит ей чувство, и бросает вызов условностям, — подхватывает другая.

— Правда ли, что она ходит в мужском костюме и курит?

— Да, когда Аврора приехала в Париж, оставив своего ограниченного и деспотичного супруга, и решила стать писательницей, она предпочитала ходить по городу, по редакциям газет в мужском платье. Согласитесь, что для нее это было удобнее во всех отношениях. Она чувствовала себя свободнее.

Но в гостиных, в театре вы встретите ее в скромном женском костюме: черное платье, белый воротничок.

— Никто и не поверит, что это легендарная Жорж Санд.

Право женщины, свобода чувств, свобода личности, семейный деспотизм, социальный деспотизм — об этом гости Гюго готовы говорить без конца, разговор не умолкает.

Книга Жорж Санд как будто далека от политики и все же связана с ней, она отражает тот протест, то брожение умов, которое все усиливается во Франции.

* * *

Правительство надеялось, что мешки с покойниками, скорбь и траур вытеснят, заглушат политические страсти. Но эпидемия лишь приостановила все усиливавшееся брожение.

«А теперь брожение переходит в кипение», — думает Гюго. Достаточно пройти по городу, особенно по улицам Сент-Антуанского предместья, порохового погреба революции, чтобы понять и почувствовать это. В задних комнатах кабачков тайные сходки, а в общих залах и даже прямо на улице открытые разговоры об оружии, о патронах. Гюго сам видел, когда проходил по Сент-Антуанскому предместью, как пожилой рабочий вынул пистолет из-за пазухи и быстро передал его товарищу. Рабочие вооружаются. Студенты ходят группами с видом заговорщиков.

А в Тюильрийском саду чинно прогуливаются старички, обсуждают газетные новости. Солнечное утро. Гюго идет в глубь сада. Он облюбовал себе укромный уголок на скамейке в зарослях на берегу реки. Доктор рекомендовал ему больше быть среди зелени. Это полезно для глаз, утомленных от работы при свечах и от ежедневного созерцания солнечных закатов. Надеть зеленые очки и приняться за дело. Он пишет уже несколько дней и сегодня заканчивает первый акт пьесы «Король забавляется». Главное действующее лицо — королевский шут Трибуле. Озлобленный урод, потакающий всем прихотям развращенного тирана и в то же время нежный, любящий отец. Король Франциск I похитит дочь Трибуле…

Вдруг тишина зеленых зарослей раскалывается. Выстрелы. Встревоженные голоса.

— Эй, кто в саду! Скорее выходите! Решетки сейчас запрут.

Гюго собирает листы рукописи. На улицу! Пусто, людей как будто смело. Двери домов заперты, ставни закрыты. Укрыться негде, а стрельба все усиливается.

Прислонившись к тонкой колонне — единственное укрытие, — Гюго следит за полетом пуль. Это королевские войска

атакуют позиции повстанцев, но выбить их не удается. Отряд меняет фронт, пробует зайти с другой стороны. Направление стрельбы меняется. Можно оставить свое ненадежное убежище и попробовать пройти по городу.

Восстание началось 4 июня. В этот день парижане хоронили генерала Ламарка, одного из наполеоновских ветеранов, чрезвычайно популярного в массах. На похороны собрались несметные толпы: студенты всех факультетов, рабочие всех профессий, политические изгнанники всех национальностей, отставные военные с лавровыми ветвями в руках.

Достигнув. Аустерлицкого моста, процессия остановилась. Говор умолк. Все глаза устремились к генералу Лафайету, который прощался с Ламарком.

Вдруг в толпе появился всадник весь в черном, с высоко поднятым красным знаменем, на древке знамени красный фригийский колпак. Это был сигнал к восстанию. Раздались крики:

— Да здравствует свобода! Ламарка — в Пантеон! Лафайета — в Ратушу!

Молодежь впряглась в траурную колесницу Ламарка, в фиакр Лафайета и двинулась по намеченному толпой направлению.

Наперерез толпе пошли королевские драгуны. И тут началась буря.

Перебрасываясь из одного квартала в другой, восстание охватило весь город.

Клич «К оружию, граждане! Да здравствует республика!» несся по Парижу, воспламеняя его. Меньше чем за час выросли сотни баррикад. Повстанцы заняли Арсенал, мэрию, захватили Бастилию.

К вечеру треть города была в руках республиканцев.

Всю ночь звучал набат монастыря Сен-Мери. Там укрепились республиканские отряды.

Всю ночь продолжалась перестрелка. На другой день правительство двинуло против повстанцев линейные полки и тяжелую артиллерию.

«…я не думаю, чтобы при Фермопилах сражались более отважно, чем у входа в улочки Сен-Мери и Обри-де-Буше, где под конец горсточка людей — каких-нибудь шестьдесят республиканцев — защищалась против шестидесяти тысяч линейного войска и национальных гвардейцев, дважды заставляла их отступать, — писал Генрих Гейне об июньском восстании. — Старые солдаты Наполеона, знающие толк в военном деле… утверждают, что бой на улице Сен-Мартен принадлежит к числу величайших подвигов в новейшей истории.

Республиканцы творили чудеса храбрости, и немногие, оставшиеся в живых, отнюдь не просили пощады…».

6 июня к вечеру восстание было подавлено.

На бирже ликовали.

«Только что перед тем пришло известие, что поражение „патриотов“ достоверный факт, и на всех лицах изображалось сладостнейшее удовлетворение; можно сказать, улыбалась вся биржа. Под пушечный гром фонды поднялись на 10 су», — писал Гейне.

Через тридцать лет в романе «Отверженные» Гюго воскресит дни июньского восстания. Он не был на баррикадах в 1832 году, но его герои будут сражаться за республику. Писатель слушает рассказы очевидцев, делает заметки и сам ходит по городу, стремясь все увидеть своими глазами.

* * *

В Париже усиленно наводят «спокойствие». Всюду войска. Город на осадном положении. Жители сидят в домах и остерегаются по вечерам высунуть нос на улицу.

Гюго снова принялся за работу над пьесой. Устами шута, существа изуродованного и затоптанного теми, кто считает своим законным правом надругательство над человеком, писатель бросит вызов произволу, насилию, тирании.

Когда желанье мстить откроет нам глаза
И сонные сердца любая малость ранит, —
Кто хил — тот вырастет, кто низок — тот воспрянет!
И ненависти, раб, не бойся и не прячь!
Расти из кошки тигр! И из шута — палач!

Шут Трибуле решил убить короля, надругавшегося над его дочерью. Он попирает ногой мешок с трепещущим телом. Нож занесен. Нож вонзается в тело обидчика. Увы, он пронзает сердце жертвы. В мешке дочь Трибуле Бланш.

Закончив к концу июля пьесу «Король забавляется», Гюго не переводя дыхания берется за другую: «Ужин в Ферраре», или «Лукреция Борджа», и завершает ее столь же быстро. Пьеса «Король забавляется» сразу же принята к постановке театром «Комеди Франсэз». Репетиции начались той же осенью. Гюго в эти дни снова поглощен хлопотами переселения на новую квартиру в доме на Королевской площади. Здесь, по преданию, жила в XVII веке героиня его драмы прекрасная куртизанка Марион Делорм.

Он был занят устройством кабинета, когда неожиданно явился посыльный от министра Публичных работ д'Аргу с приглашением явиться на прием.

Д'Аргу, хилый старичок с благожелательной миной, сразу же начал излагать свои опасения по поводу пьесы «Король забавляется».

— Говорят, в вашей пьесе, мосье Гюго, есть какие-то намеки на короля. Правда ли это?

— При всем желании невозможно обнаружить какое-либо сходство между Франциском Первым и Луи-Филиппом, — отвечал Гюго.

— Но ведь Франциск Первый, по слухам, изображен в очень дурном виде, а такая обрисовка одного из самых популярных королей может повредить монархии в самом принципе. Не могли бы вы, мосье Гюго, хоть немного смягчить какие-нибудь резкие черты?

Поэт решительно отказался. Министр развел руками: «Конечно, было бы приятнее, если б вы по-иному отнеслись к Франциску Первому, ну что ж…»

Все это раздражало Гюго. И теперь, после революции, те же разговоры, что и при Бурбонах, те же опасения и придирки властей.

Как-то пройдет спектакль?

Вечер премьеры. Сияют люстры. Театр полон. Ложи лорнируют партер. Как всегда бывает на пьесах Гюго, там, внизу и на галерке, полно каких-то подозрительных косматых юнцов. Что это? Дамы вздрагивают. В партере грянул хор. Юнцы во все горло поют «Марсельезу». А когда они замолкают, с балкона несется грозно-веселая «Карманьола».

Тише, тише. Уже звучит сигнал к поднятию занавеса. Но тишины нет. Какая-то весть передается по рядам. В зале гул, тревога.

— Только сейчас стреляли в короля!

Некоторые вскакивают с мест. Тревога не унимается.

Первый акт еле смотрят. А потом в зале начинается буря. Как на «Эрнани». Пронзительный свист, топот противников и оглушительные аплодисменты защитников. Актеры играют как-то вяло, им трудно прорваться сквозь этот шум и завладеть вниманием публики. Автор уходит домой без оваций, без торжественных проводов.

На другой день группа драматургов-консерваторов обратилась в министерство с петицией. Пьеса Гюго не только безнравственна — более того, это явная апология цареубийства, заявляли они, доказательством тому была демонстрация в театре

в час покушения на короля и аплодисменты, которыми встретила публика некоторые подстрекательские стихи.

Спешно собрался совет министров, и пьеса «Король забавляется» была решительно запрещена. Театр снял ее с репертуара.

Не имея возможности непосредственно напасть на правительство, Гюго решил возбудить судебный процесс против незаконных действий театра. Таким образом, он сможет выступить против тиранического произвола властей и привлечь к этому вопросу общественное внимание.

На помощь призван Теофиль Готье и еще несколько бойцов из армии «Эрнани». Гюго меряет шагами комнату и диктует свою речь. Ее надо не только произнести в суде, но в тот же день опубликовать в газете, а для этого требуется несколько копий. Речь все разрастается. Помощники бурно одобряют и неутомимо строчат. Уже три часа ночи. Домой идти поздно. На полу расстилаются матрацы, рабочий кабинет похож на бивак.

Наутро бой. Зал суда переполнен. Поэт на трибуне. Он обвиняет.

— Где же закон? Где же право? Могут ли в самом деле совершаться такие вещи во Франции? Было ли то, что мы называем июльской революцией?..

Аплодисменты то и дело прерывают его речь. Публика на стороне Гюго. Судьи же не решаются пойти против министерства. Этого следовало ожидать. Иск против театра не удовлетворен. Но не в денежном иске дело. Важно то, что писатель вступил в борьбу за права гражданина, за свободу печати. Дело получило широкую огласку, все газеты заговорили о нем. Естественно, что враги не преминули воспользоваться случаем и очернить политическую репутацию поэта-обвинителя. Встает в позу борца за свободу, а сам получает королевскую пенсию, злопыхали правительственные газеты.

В ответ на это заявление Гюго обратился с письмом к министру д'Аргу.

«…при настоящем положении дел, — писал он, — когда правительство, очевидно, полагает, что так называемые литературные пенсии выдаются им, а не страной, что это не более как субсидии, связывающие независимость… честному писателю следует прежде всего порвать денежные счеты с правительством… из всего этого следует, что я отказываюсь от своей пенсии».

Драмы и жизнь (1833–1838)

«Выпустить в свет новую драму после запрещенной — это тоже был способ сказать правительству правду в лицо… — писал Гюго в предисловии к пьесе „Лукреция Борджа“. — И автор теперь рассчитывает в одно и то же время продолжать политическую борьбу, если в том будет надобность, и свой литературный труд. Можно выполнять свой долг и вместе с тем заниматься своим делом. Одно не мешает другому. У человека две руки».

О новой пьесе прослышал Гарель — директор театра Порт Сен-Мартен. Декабрьским утром он явился к Гюго. Маленький, тучный, сияющий улыбкой, брелоками, лакированными сапогами, Гарель, плотно усевшись в кресло, принялся уговаривать Гюго:

— Отдайте мне вашу новую вещь. В главной роли будет сама мадемуазель Жорж!

Прежде чем приступить к репетициям, решили прочесть пьесу знаменитой актрисе, которая всецело властвовала и над директором и над репертуаром этого театра. Пьеса понравилась примадонне.

На следующее чтение в театре собрались все актеры. Драматический сюжет пьесы должен найти у них отклик. Италия XVI века. Развращенный двор феррарского герцога. Интриги, тайные убийства, борьба за власть. Героиня — легендарная отравительница Лукреция Борджа. Чувство материнства очищает и возвышает ее. В нем ее искупление и ее гибель.

Слушают напряженно. Вероятно, каждый мысленно «примеривается» к будущей своей роли. А некоторые из молодых мечтают о том, чтобы получить хотя бы самую маленькую роль, только бы получить.

Глаза, голубые, серые, карие, утомленные и жадные, восторженные и холодноватые, прикованы к автору. Но чей-то взгляд особенно пристален, он зовет, тревожит. Гюго все время ощущает его на себе. На миг он отрывает глаза от рукописи, и они сразу же встречаются с глазами молодой женщины. Замечательно хороша! Как будто античная статуя превратилась в пленительную парижанку, пришла в этот зал и смотрит на поэта. Он где-то видел ее раньше. Где же?

Чтение окончено. Приступают к распределению ролей. Молодая актриса, ее зовут Жюльетта Друэ, просит дать ей маленькую роль принцессы Негрони. Почти без слов. Только один выход на сцену. Надо замолвить слово за дебютантку, наружность ее вполне подходит к роли. Гюго вспоминает теперь, что видел Жюльетту весной на балу, и тогда она показалась ему такой ослепительной, что он даже не решился заговорить с ней. Раньше он всегда боялся актрис, их легких нравов, капризов, кокетства. Но эта, кажется, не такая. В ее глазах он прочел мольбу, преданность, восторг.

Жюльетте Друэ поручена роль принцессы Негрони. Каждый день Гюго теперь встречается с ней в театре. С каждой встречей Жюльетта становится все прекраснее. Оказывается, она знает на память его стихи и уже давно восхищается им. С ней так легко обо всем разговаривать, она понимает его с полуслова.

Гюго уже многое узнал о жизни молодой актрисы. Жюльетте 26 лет. Она дочь портного из Фужера. Урожденная Говэн. Друэ — фамилия ее дяди, который стал опекуном девочки после смерти родителей.

Сирота с детства. Воспитывалась в пансионе. С девятнадцати лет должна была зарабатывать на жизнь. Ни профессии, ни поддержки. Ей сказали, что скульптор Прадье ищет натурщицу.

Жюльетта стала его моделью, а немного погодя и любовницей. Скульптор сначала любил Жюльетту, но жениться, конечно, не собирался, скоро бросил ее и перестал помогать. Ей нужно было заботиться не только о себе, но и о дочке, которая появилась на свет. «Покровители» менялись… Жюльетта теперь блистает в полусвете. Но она недовольна жизнью, ей хочется вырваться из этой трясины, она мечтает стать актрисой.

Она страдает и стремится к чему-то иному, думает Гюго. Как помочь ей? Как спасти ее? Он по-прежнему сдержан с Жюльеттой, но уже не в силах не думать о ней. А она поклоняется ему и не скрывает этого.

Первое представление «Лукреции Борджа» проходит с блестящим успехом. Мадемуазель Жорж великолепна в роли отравительницы Лукреции. А принцесса Негрони — Жюльетта Друэ — только прошла по сцене, сказала несколько слов — и покорила зрителей. И автор тоже покорен. Он снова молод, горд, радостен, полон надежд. Снова зал рукоплещет ему, и восторженная толпа провожает его до самого дома.

В Париже в эти дни масленичный карнавал. Рассказывают, что под вечер ряженые собираются у балкона мадемуазель Жорж и вызывают актрису.

— Отравительница, покажись!

Невиданный успех!

В ночь с 16 на 17 февраля в театре Порт Сен-Мартен после спектакля состоялся бал. Жюльетта Друэ и Виктор Гюго ушли вместе задолго до окончания праздника.

Он любит. Он захвачен, потрясен. Ему кажется, что он рождается заново. И в то же время он в смятении, он терзается. Как понятны теперь Гюго страданья собственного героя, гордого Дидье! Он сам очутился в таком же положении. Он — Дидье, а Жюльетта — его Марион… Нет. Это нестерпимо. Она должна порвать со своим прошлым. Искупить его.

Жюльетта на все готова. Но как это, оказывается, трудно — порвать с прошлым и начать новую жизнь! Может ли она признаться Виктору, сколько у нее долгов?

Понемногу она начала распродавать свои наряды, нигде, кроме театра, не бывает, сидит целыми днями дома одна, ждет Виктора, переписывает его рукописи. Она обещала никуда не выходить без него и держит слово. Он всегда занят. У него столько дел! Но все-таки каждый день он заглядывает к ней. Для нее счастье, что она может быть ему полезной, помогать ему. Она хранит каждый клочок его черновиков. Безгранично радуется каждой строчке стихов, посвященной ей. Несмотря на

неумолимых кредиторов, на сплетни и злословие, на тяжесть добровольного заточения, Жюльетта впервые в жизни счастлива и всегда старается быть веселой. Лаской, острым словечком, шуткой разгоняет она тучи на челе своего божества. Она рассказала ему всю свою жизнь и теперь отдает Виктору отчет в каждом помышлении и поступке, в каждом истраченном су и сделанном шаге. Жюльетта с благодарностью принимает его помощь, но хочет и сама работать, стать настоящей актрисой.

Гюго пишет новую пьесу «Мария Тюдор». В ней две центральные женские роли. Обе трагические: гордая королева Мария, неистовая в своей страсти и ревности, и скромная Джен, воспитанница и невеста ремесленника, чеканщика Жильбера. Клубок политических интриг, страстей, обманов, неожиданностей. Судьбы героев принимают роковой оборот…

Мадемуазель Жорж будет играть Марию Тюдор, а роль Джен предназначена автором для Жюльетты Друэ.

В театре Порт Сен-Мартен начались репетиции, но на этот раз все идет не так гладко, как было в «Лукреции Борджа». Роль не дается Жюльетте. Она старается изо всех сил, а получается не так. Не те движения, не те интонации. Директор и примадонна требуют немедленной замены мадемуазель Друэ другой актрисой.

Гюго, конечно, видит, что у Жюльетты что-то не ладится с ролью, но не хочет соглашаться на замену. А она, чувствуя недоброжелательные взгляды, смешки за спиной, иногда и в лицо, играет все хуже, робеет, теряется.

Опасения подтвердились. Премьера прошла неудачно. Жюльетта-Джен была освистана публикой. От огорчения она слегла, и на следующий день ее роль передали другой актрисе.

Вскоре после этого Гюго порвал свои отношения с театром Порт Сен-Мартен, но его пьеса еще долго шла и давала немалые сборы.

* * *

Дом на Королевской площади сияет огнями. Все стремятся побывать в этом салоне. Правда, остряки говорят, что, направляясь к Гюго, желудок надо оставлять в передней. Закусок мало, зато много знаменитостей — и своих и приезжих. Появляются все новые и новые гости. Звучат новые стихи.

Но где же прежние завсегдатаи красного салона? Их не видно. Ламартин путешествует по Востоку. Дельфина Гэ вышла замуж за известного журналиста Жирардена, у нее теперь свой салон, один из самых популярных в Париже, Альфред де Виньи

явно охладел к Гюго; пути их разошлись. Сент-Бёв давно уже не переступает порог этого дома… Госпожа Гюго время от времени встречается с ним тайком, слушает его стихи и признанья, но все это утомило ее. Она не создана для романтических авантюр. Несмотря ни на что, она предана Виктору, любит свою семью, предпочитает устойчивость шаткости. Конечно, ей нелегко, но она никому не станет жаловаться. Адель решила смотреть на увлечение мужа какой-то актрисой сквозь пальцы. Никаких сцен и упреков. Может быть, она и сама виновата в измене мужа. Но когда-нибудь это пройдет, надеется она.

Голоса, смех, музыка вырываются из окон на вечернюю улицу. Прохожих мало в этот поздний час. Вот на другой стороне площади показалась одинокая женская фигура. Закутана в шаль, идет легкой поступью, почти бежит. Потом останавливается, прижимается к стене, глядит. За плотными занавесями движутся тени. Может быть, среди них ей удастся различить его силуэт? Долго стоит Жюльетта, не спуская глаз с освещенных окон. Когда она вернется домой, то перед сном напишет Виктору письмо; она пишет ему иногда по два раза в день. Любовь к нему — это ее жизнь.

Трудное, горькое счастье. Раздваиваться, таиться от всех, потихоньку убегать из дому и всюду слышать за спиной шепот, смешки, сплетни.

Поэт знает, что говорят о нем в гостиных. Судят, рядят, укоризненно покачивая головами.

— О, этот Гюго, певец семейного очага, певец античных добродетелей. Дома четверо детей, а он…

Многие из тех, кого он считал друзьями, теперь, когда ему особенно трудно, поворачиваются спиной. Замкнутые лица или — еще хуже — лицемерные улыбки, а за маской притворного доброжелательства холодное лицо врага. Немало среди них и таких, кто под шумок пересудов о личной жизни писателя торопится свести литературные счеты.

Недавно еще певший поэту хвалы критик Гюстав Планш резко и откровенно перешел в стан его противников.

Сент-Бёв давно уже перестал быть «первым другом» Гюго, но все еще оставался его верным литературным соратником, а теперь явно переменил фронт. В начале 1834 года он очень холодно отозвался в своей рецензии об очерке Гюго, посвященном жизни Мирабо.

Даже славный Дюма уже не так ослепительно улыбается при встречах с Гюго. Конечно, он не осуждает Виктора, не вмешивается в личные дела. Нет, его огорчает другое. В Париже

говорят, будто перу Гюго принадлежит статья против драматургии Дюма, появившаяся в журнале «Деба». В действительности Гюго не был повинен в этом выпаде против своего друга, но недоброжелатели раздувают слухи, и отряды романтической молодежи раскалываются. Сторонники Дюма не хотят быть защитниками пьес Гюго.

Вообще прежнего энтузиазма в романтической армии уже нет. И это беспокоит Гюго, может быть, глубже и острее, чем личные неурядицы. Он создает одну за другой новые пьесы, но они не становятся ошеломляющими литературными событиями. Он привык чувствовать себя вождем, преобразователем, возглавляющим большое движение, находящимся в самом центре схватки. Но движение постепенно приобретает новый характер, центр его начинает перемещаться. Гюго продолжает одерживать блистательные победы на поприще поэзии, он в зените славы, но уже перестает быть полководцем в большом литературном движении своего времени.

* * *

Прежний кружок друзей-романтиков год от года распадался. И причиной тому было расхождение общественных и творческих позиций былых соратников.

Виктору Гюго с его оптимистической верой в будущее было не по пути с мизантропом Виньи, устремлявшим взоры в прошлое, замыкавшимся в гордом одиночестве.

Давно наступило охлаждение между автором «Эрнани» и кружком Нодье, участники которого оказались слишком робки для того, чтобы идти в ногу с преобразователями-новаторами. Шарль Нодье продолжал писать чудесные романтические новеллы, но сколько-нибудь заметного влияния на развитие литературы уже не оказывал.

Многие из тех, кто в 20-е годы шел плечом к плечу в рядах общего движения, стремясь преобразовать литературу, обратить ее «к природе и истине», двинулись после июльской революции новыми путями. От ослепительных романтических фейерверков и карнавалов — к суровой реальности, к срыванию масок и декораций.

Еще в декабре 1830 года, когда Гюго вместе со своими героями страдал и мечтал под сводами «Собора», вышла в свет книга Стендаля «Красное и черное». «Правда, суровая правда» — стояло эпиграфом к ней. В основу этого романа легли факты — отчет о судебном деле некоего юноши-семинариста,

покушавшегося на жизнь женщины. Стендаль задумался над судьбой крестьянского сына, одаренного плебея, столкнувшегося лицом к лицу с обществом, враждебным разуму, таланту, человечности. И образ юноши-современника ожил на страницах его книги.

Человек и общество — эта проблема вставала все острее, влекла к себе писателей, вступивших на путь пытливого исследования человеческих душ и исторических судеб.

Познать, исследовать потайные пружины общества, создать в романах, повестях, новеллах художественную историю современной Франции — такой исполинский замысел уже зарождался в начале 30-х годов у Оноре Бальзака.

А познание вело к обличению. В романе «Шагреневая кожа», выпущенном Бальзаком через год после июльской революции, еще многое шло от романтизма с его символикой, приподнятой взволнованностью чувств, выходящим из берегов лиризмом, но уже зазвучала здесь главная струна Бальзака — его горькие раздумья над судьбой человека в «ледяной пустыне эгоизма», в мире, где талант, ум и чувство становятся товаром. Зловещие, искаженные алчностью черты властителей этого мира предстали затем перед читателями в других повестях и романах Бальзака — в образах ростовщика Гобсека, хищного накопителя Гранде.

И Проспер Мериме сбросил маскарадный костюм загадочной Клары Газуль. От средневековых сюжетов он вслед за своим старшим другом Стендалем повернулся к современности. Одна за другой появлялись во Франции его новеллы. Строгость чеканки, лаконизм, объективность повествования, отличавшие их, были своего рода реакцией на словесные бури, хаос чувств, феерию красок, присущие многим романтическим произведениям.

Реалисты и романтики глубоко различались по эстетическим принципам, по художественному методу.

Реалисты трезвее и беспощаднее смотрели на действительность, стремились к объективному познанию, чуждались приукрашивания и «приподымания» героев.

Романтики же порою превращали провозглашенную ими свободу творчества в господство вымысла над фактами, идеального над действительным.

И все же между реалистами и прогрессивными романтиками не было непроходимой пропасти. В творчестве реалиста Бальзака то и дело слышались отзвуки романтических увлечений его молодости. А в творчестве романтиков Гюго и Жорж Санд с годами нарастали реалистические черты.

Многое в те годы сближало, эти два направления литературы — общие поиски нового, общий протест против действительности

и общие источники силы.

* * *

Одержав победу над «старым литературным режимом», писатели-новаторы — прогрессивные романтики и реалисты — совместными усилиями создавали новую французскую литературу. Каждый из них искал общественных идеалов, философской опоры, маяков, которые могли бы пролить свет на непроторенные дороги в будущее.

И романтики и реалисты отдавали щедрую дань утопиям своего времени.

Прогрессивных романтиков с их демократическими симпатиями, мечтой о свободе, жаждой высокого человеческого идеала особенно привлекали идеи Сен-Симона и Фурье.

Виктору Гюго была близка мечта Сен-Симона о некоем разумном государстве Будущего, во главе которого стоит «Ньютонов совет», «Совет мудрейших», составленный из лучших людей науки, промышленности, искусства. Ему казалась прекрасной идея мирного угасания общественных противоречий, устраняемых с помощью просвещения, силой проповеди. Он разделял протест Сен-Симона против жестокого общественного порядка с несправедливым распределением благ, с полюсами богатства и бедности, разделял и горячее сочувствие к «самому бедному и самому страдающему классу общества» — пролетариату. Но, как и сен-симонисты, Гюго еще не видел в этом классе самостоятельной исторической силы, способной преобразовать старое общество. Он видел в рабочих «страдальцев» и мечтал о реформах, которые могли бы облегчить их жизнь.

После смерти Сен-Симона последователи этого философа постепенно начали изменять дух его учения. Сен-симонизм все более проникался религиозными идеями. Общины экзальтированных «братьев» и «сестер», восторженных вплоть до галлюцинаций, оторванных от реальной борьбы народа мечтателей, стали в 30-е годы больше походить на религиозные секты, чем на политические организации.

Гюго не вступал в эти секты. Не уход в таинство самосовершенствования, не бегство в уединенную общину, а участие в большой жизни страны, влияние на ее судьбы — вот в чем видел он долг поэта. Все чаще стал он задумываться о возможностях непосредственного влияния на судьбы страны, о роли политического трибуна, которую он мог бы играть,

оставаясь поэтом.

Он стоял вне партий, не хотел связывать себя какой-либо политической доктриной, опасался «крайностей». Республиканцы, члены «Общества друзей народа», возникшего позже «Общества прав человека и гражданина», мечтали о возврате к республике Робеспьера. Гюго же, признавая и оправдывая необходимость насильственного переворота в 1789 году, с опаской и осуждением относился к методам якобинской республики. Он верил, что положение народа можно облегчить и при существующем политическом порядке. Для этого, думал он, необходимо, чтобы талантливые и просвещенные люди приобщались к государственной жизни.

Стать государственным деятелем. Но как добиться этого? Чтобы сделаться депутатом от какого-либо округа, надо обладать «имущественным цензом», а его средства невелики: ни земельных угодий, ни собственного дома, ни солидных сумм на счету в банке.

Остается один путь — через Французскую Академию. Академик, даже неимущий, может быть избран депутатом и получить звание пэра.

Но нельзя становиться на новый путь, не определив своих позиций. Надо отдать самому себе, своим читателям (а может быть, будущим избирателям!) отчет в том, каковы его убеждения и как он к ним пришел.

Гюго перелистывает старые комплекты журнала «Литературный консерватор», перечитывает свои дневники, заметки, статьи, записи, сделанные им в дни июльской революции. Из всех этих материалов он создаст книгу. Это будет его исповедь, политическое кредо, сюда войдет «Дневник юного якобита 1819 года» и рядом с ним «Дневник революционера 1830 года». Книга отразит путь его исканий. От первых лет Реставрации до Июльской монархии, от юношеского роялизма, от преклонения перед образцами и традициями — к борьбе за литературную революцию, к литературному и политическому либерализму.

Будущее должно быть светлым. «Золотой век впереди» — Гюго согласен с этим убеждением Сен-Симона. Но как далека от «золотого века» реальная Июльская монархия, Франция 1834 года!

По всей стране катится эхо апрельского восстания лионских ткачей. Доведенные до отчаяния нечеловеческими условиями труда, они поднялись, взяли ружья и пошли на баррикады. Восстание было подавлено бесчеловечно. Солдаты расстреливали

пленных, взрывали дома повстанцев.

Париж откликнулся на зов Лиона. 12 апреля он покрылся баррикадами. Три дня шли уличные бои. И они закончились, как и в июне 1832 года, расправой над побежденными. Правительственные войска, подстрекаемые властями, озверели. Убивали не только пленных; расстреливали, кололи штыками, избивали прикладами женщин, детей, стариков. Париж не забудет зверств на улице Транснонен.

«Называется ли Франция республикой, называется ли она монархией, народ все равно страдает — это бесспорно», — пишет Гюго в своей новой повести «Клод Гё».

Еще в 1832 году, когда он прочитал судебный отчет о деле рабочего Клода Гё, Гюго пытался вмешаться в это дело, помочь Клоду, защитить его, предотвратить казнь. Он послал королю просьбу о помиловании осужденного. Но казнь свершилась.

И теперь после кровавых событий в Париже Гюго вернулся к этой теме: «Мы считали своим долгом подробно рассказать историю Клода Гё, ибо мы уверены и том, что любой отрывок из этой истории может послужить вступлением к книге, в которой решалась бы великая проблема народа XIX века…»

«Посмотрите на Клода Гё, сомнений нет — это человек со светлым умом и чудесным сердцем. Но судьба бросает его в общество, которое устроено так дурно, что он вынужден украсть; затем общество бросает его в тюрьму, устроенную так дурно, что он вынужден убить.

Кто же поистине виновен?..

Автор этих строк попытается ответить на этот вопрос…»

Виктор Гюго обращается к «праздноболтающим» политикам:

«Депутаты центра, депутаты крайней правой и депутаты крайней левой, знаете ли вы, что народ страдает?..

Народ голодает и мерзнет. Нищета толкает его на путь преступлений и в пучину разврата. Пожалейте же народ, у которого каторга отнимает сыновей, а дома терпимости дочерей. У нас слишком много каторжников и слишком много проституток.

На что указывают эти две общественные язвы?

На то, что весь государственный организм в целом заражен тяжелым недугом…

Вы плохо лечите эту болезнь. Изучите ее хорошенько… Одна половина нашего законодательства — рутина, другая — шарлатанство…

Разрушьте вашу старую и нелепую градацию преступлений и наказаний…

Подумайте же о народе. Дайте детям школы, а взрослым —

работу».

В повести «Клод Гё» Гюго развивает гуманистическую тему, выдвинутую им в «Последнем дне приговоренного». Прошедшие пять лет с их опытом революции не прошли для писателя даром. Если прежде он ратовал за «человека вообще» и против смертной казни «вообще», то теперь и защита его и обличение получили определенный социальный адрес. Громче, смелее, яснее, чем в прежних его произведениях, звучит здесь протест против действительности Июльской монархии.

«Клод Гё» гораздо суровее, проще, лаконичнее, чем прежние его произведения. Романтик Гюго создал реалистическую повесть.

Социальная тема, судьба обездоленных в современном обществе все больше начинает волновать писателя, он продолжает собирать материал для большого романа… Падшая женщина. Каторжник. Страдающие дети. Юноши, умирающие на баррикадах во имя будущего.

Обо всем этом он еще заговорит в полный голос. Все новые жертвы несправедливого общества гибнут на его глазах. Все новые заметки появляются в его записных книжках.

* * *

Во Французской Академии освободилось кресло: умер один из старых ее членов. И Виктор Гюго выдвинул свою кандидатуру.

По установившимся исстари правилам кандидат перед выборами должен нанести визиты своим будущим избирателям. Академиков около четырех десятков.

Трудно переступать порог дома заведомых противников, но приходится. Один из наиболее влиятельных среди них — старый литератор Жуи. Это классик-коммерсант, издатель газет и автор многочисленных трагедий, их пишут для него литературные поденщики, «негры». Старый волк поучает дерзкого романтика:

— Поэзия — это язык богов, а вы хотите превратить его в язык смертных. Нет. Я не буду за вас голосовать.

Гюго едет к Тьеру. Этот историк получает все больший вес в политических кругах. Тьер, выпрямившись во весь свой маленький рост, так и сыплет словами. Он ободряет кандидата и, кажется, готов милостиво похлопать Гюго по плечу:

— Вы обязательно попадете в Академию, я в этом те сомневаюсь, но, к сожалению, в этот раз я уже обещал голосовать за другого кандидата.

Дряхлый Рэйнуар не соизволил даже пригласить Гюго в дом,

разговаривали в саду.

— Слишком рано вы, молодой человек, начали получать премии, — шамкал старый академик, толкая тачку с сухими листьями, — не торопитесь, у вас еще все впереди.

Другой академик посоветовал Гюго приняться не спеша за какое-нибудь произведение в классическом духе и постараться написать его «как следует», без погрешностей против правил.

Можно ли было после всего этого ожидать успеха?

Выборы состоялись 18 февраля 1836 года. Виктор Гюго получил только два голоса, «бессмертные» предпочли великому поэту некоего Дюпати, автора веселеньких водевилей и комедий.

* * *

На высоком, ясном лбу и в уголках рта появились первые морщины, во взгляде Гюго все больше озабоченности.

Новый, 1837 год несет новые печали. 20 февраля в Шарантоне, лечебнице для душевнобольных, скончался Эжен. С похоронами близкого человека как будто теряешь какую-то частицу своего «я». А Эжен был когда-то одним из самых близких. Неразлучный товарищ детских игр.

Гюго пишет стихи на смерть брата. Они войдут в его новый сборник «Внутренние голоса». «Медная струна» звучит в этой книге слабее, чем в прежних поэтических сборниках Гюго.

О, муза, подожди! Ты гимны можешь петь,
В которых слышится торжественная медь;
Ты, муза истины и права, ты, как пламя,
Могла б испепелять, горящими словами,
Что вырываются, как искры, из души.
Но нет. Твой срок придет. Пока же не спеши.

Нужно, чтоб поэт «умел подниматься над волнениями жизни, оставаясь непоколебимым, суровым и доброжелательным… быть порой снисходительным, а это трудно, — и всегда беспристрастным, а это еще труднее; чтобы в сердце его жило сочувствие к революциям, заставляющее гнушаться мятежа, и глубокое уважение к народу, соединенное с презрением к толпе, чтобы разум его не делал никаких уступок ни мелкой злобе, ни тщеславию… чтобы он мог приветствовать трехцветные знамена, не оскорбляя геральдических лилий…», — пишет Гюго в предисловии к новому сборнику.

Ноты примирения? Да, они звучат здесь. Разгорающийся

огонь как будто начал покрываться пеплом. Вместо недавних порывов к борьбе — стремление к покою, к умиротворенной мудрости, к горным вершинам, где можно наедине беседовать с божеством.

Возвышенные размышления и горести, однако, не отрывают поэта от привычных забот, трудов и обязанностей. Он не бежит от пестрой суеты повседневной жизни, находя в ней свое очарование.

В летний день 1837 года Гюго получил приглашение на бал в Версальский дворец.

Он едет вместе с Дюма. В буржуазных фраках во дворец не допускают. Что надеть? Гюго открывает гардероб. Там в углу висит его мундир национального гвардейца, еще совсем новенький.

— И у меня есть такой. Поедем в одинаковой форме! Это будет свидетельством нашей братской солидарности назло всем недругам, — смеется Дюма.

В раззолоченных версальских залах букет знаменитостей: ученые и министры с женами, генералы, аббаты, банкиры, художники и, конечно, вездесущие журналисты. Некоторые в этот вечер ждут наград, орденов Почетного легиона. У Гюго уже хранится такой орден, полученный когда-то от Карла X, теперь он получит еще один из рук короля-буржуа. Может быть, король тем самым рассчитывает повлиять на отношение к нему поэта?

Друзья прогуливаются по бесконечным версальским галереям, переходам, залам. Блестящие паркеты отражают чинно прохаживающиеся пары. А вот кто-то бежит совсем не чинной рысью. Маленький, коренастый, в маскарадном костюме маркиза. Что-то в его движениях очень знакомое. Ба! Ведь это Бальзак! Хоть атласный камзол ему узок и башмаки с загнутыми носами, видно, не совсем впору, но он не смущается, весело приветствует друзей:

— Еще увидимся! — И быстро семенит по зеркальному паркету — как бы не упал! — догоняет важную расфранченную даму. Этот замечательный писатель неустанно штурмует аристократических дам.

Ему мало блестящего литературного имени. Ему нужна к этому имени частица «де», ему нужны кареты, гербы, ливрейные лакеи. Дельфина Жирарден недавно сочинила фельетон о сакраментальной сногсшибательной трости господина де Бальзака!

Друзья хоть и посмеиваются над великосветскими аллюрами демократического Бальзака, но искренне восхищаются его ярким талантом, неимоверной энергией и трудоспособностью. Бальзак

сумел разглядеть и обнажить в своих произведениях многие явные и тайные болезни французского общества, обнаружить недуги и пороки своих излюбленных аристократов. Но есть у писателя и враги, злопыхатели, пигмеи, донимающие его своими издевками и домыслами. Около каждого великана толпятся карлики, они сеют клевету, плетут сети зависти, хихикают, путаются под ногами. И все-таки исполины шагают вперед.

На глазах Гюго выросло поколение больших писателей, его современников и сверстников. Плеяда талантов, призванная к жизни революциями. Романы Бальзака и Жорж Санд завоевывают Европу. Французская литература снова выпрямилась, вышла на просторы, сияние ее распространяется по всему миру. И разве мало сделал он, Гюго, расчищая и указывая пути своему поколению к новым вершинам?

Обо всем этом думает поэт, шагая рядом с Дюма по зеркальному паркету версальских покоев.

К приятелям присоединяется Эжен Делакруа.

Они садятся на низкий диванчик с изогнутыми золочеными ножками, и скоро вокруг них собирается кружок. Гости все прибывают. Огромный зал полон.

Вдруг ровный гул голосов утих. Все встают. Входит король. Вслед за ним его сын герцог Орлеанский под руку с молодой женой. На грушеобразном лице Луи-Филиппа благодушная улыбка приветливого хозяина. В этот вечер он особенно любезен. Запросто переходит от одной группы к другой, шутит, задает вопросы.

— Как вам нравится Версаль? — опрашивает король у Гюго.

— Эту прекрасную книгу, созданную своим веком, его величество сумел облечь в достойный переплет, — отвечает поэт.

Вот приближается герцогиня Орлеанская. Совсем молодая. Плавная поступь. Лебединая шея, мелодичный голос.

— Как я рада, наконец, познакомиться с мосье Гюго! Мне не раз приходилось еще в детстве беседовать о вас с мосье де Гёте (она так старается хорошо говорить по-французски, эта немецкая принцесса, что даже к имени Гёте прибавляет частицу «де»).

О, я читала все ваши произведения, — продолжает герцогиня и тут же декламирует четверостишие из сборника «Песни сумерек». — И в *вашем* соборе я уже побывала.

Гюго учтиво кланяется.

После парадного обеда на полторы тысячи персон гости устремляются к театральному залу. Лысые сановники, лощеные дипломаты, толстые финансовые тузы бегут взапуски по навощенному паркету. Куда девалась чинность! Они торопятся занять места поближе к королевской ложе. Быть на виду! А какая

пьеса пойдет, им безразлично.

Почтенный старец в лентах и звездах сделал вдруг невообразимый пируэт и — бац! — растянулся во всю длину на скользком полу, вслед за ним споткнулся другой. Минута — и десятка два важных гостей барахтаются на зеркальном паркете. Поток запружен. Давка. Гюго вместе с Дюма помогает подняться поверженным. Какой-то щуплый сановник пытается вцепиться в его руку, Гюго узнает в нем бывшего министра д'Аргу. Нет, поэт не забыл о судьбе своей драмы «Король забавляется», министр был в числе ее душителей, ему не стоит подавать руки.

* * *

Гюго и Дюма давно мечтали основать новый театр. Не зависеть от корыстных директоров, от продажных интриганов. Иметь свою трибуну новой литературы, новых идей, театр с романтическим репертуаром. И вот им удалось получить право на его открытие.

С трудом нашли директора, который, сделав денежный заем, снял пустующее помещение. Летом 1838 года срочно приступили к ремонту.

Гюго принялся писать драму для будущего «Театра Возрождения». Драма в стихах. Имя ее героя Рюи Блаз. Слуга, на краткий миг призванный волей судеб к государственной деятельности. Действие происходит в Испании конца XVII века. Мрачная пора истории недавно могущественной державы. Страна гибнет, задыхается, а ничтожный король увлечен охотой. Томится и чахнет в мрачных дворцовых покоях молодая королева. Она родом из Германии. Слуга аристократа Рюи Блаз введен в высшие сферы под чужим именем. И «червь земли поднял глаза на звезду» — Рюи Блаз полюбил королеву. Юноша умен и смел. Он больше понимает в делах государства, чем высокопоставленные интриганы, он, человек из народа, мог бы стать и национальным героем и государственным мужем, но он скован, унижен, обречен на гибель. Рюи Блаз умирает, спасая честь королевы.

Роль Рюи Блаза будет исполнять Фредерик Леметр. Роль королевы автор обещал Жюльетте Друэ. Она выучила ее, переписывая рукопись пьесы, и полна надежд.

— Не стоит рисковать, — говорит директор театра, — лучше бы поручить роль какой-нибудь крупной, известной актрисе и быть спокойным за судьбу спектакля.

Гюго и сам втайне сомневается в артистических возможностях Жюльетты. Как поступить? Имеет ли он право

настаивать?

И мечта Жюльетты рухнула. Ей не дали роли. Она никого не винит, но ей очень тяжело.

— Моя скорбь сильнее, чем ты думаешь, — говорит она Виктору. — Эта последняя потерянная надежда — ужасный удар для меня.

Гюго хотел бы превратить новый спектакль в новую битву за романтическое искусство. Жаль, что армия «Эрнани» рассеялась. Бывшие «кудлатые разбойники» давно остриглись по моде, сбрили бороды и уже не носят пурпурных жилетов или испанских сомбреро. Многие из них стали видными, преуспевающими деятелями, респектабельными буржуа, рантье.

А новое поколение молодежи совсем другое, чем было в 1830 году; царство «золотой середины» — плохая питательная среда для высоких страстей, другие страсти волнуют теперь юных парижан; все больше появляется среди них расчетливых честолюбцев, похожих на бальзаковского Растиньяка, все меньше гордых и самоотверженных юношей, подобных Дидье.

И все же романтические юноши не перевелись окончательно. С двумя такими Гюго недавно познакомился: Огюст Вакери и Поль Мерис. Студенты, энтузиасты-романтики; поклонники его таланта. Когда они пришли вдвоем в дом на Королевской площади, ему вспомнился первый визит Теофиля Готье. Тот же восторг в глазах юношей, та же беззаветная преданность. Теофиль стал теперь видным писателем, он остается верным другом, но у него много собственных дел и забот, а эти двое готовы целиком отдать «мэтру» все свои силы, все досуги, только бы служить ему, только бы приобщиться к его воинству. Поль и Огюст сделались частыми гостями в доме Гюго и его верными адъютантами.

Первое представление «Рюи Блаза» состоялось в сырой ноябрьский вечер 1838 года. В зале установлены калориферы, но они не греют, и зрители ежатся от холода. Гюго, как и в прежние времена, с волнением глядит в бездну зала. Разогреют ли публику страстные монологи Рюи Блаза? Фредерик Леметр блистательно исполняет эту роль. Публика благосклонна, но до триумфа далеко.

В прессе на следующий же день начались атаки на «Рюи Блаза». Особенно злобствовал Гюстав Планш, его статья была помещена в «Ревю де дё Монд». Критик усматривал в пьесе «раздражающий цинизм» и словесные излишества. «Автор относится к словарю как к лотерейному колесу, — писал Гюстав Планш. — Слова ему ничего не стоят, и он нагромождает их с беспримерной щедростью». «Вся пьеса не что иное, как ребячески неумное нагромождение невероятных сцен…»; «…аплодировать

„Рюи Блазу“ — это провозглашать падение драматической поэзии».

Друзья старались отстоять пьесу. В газете «Монитер» появилась хвалебная рецензия Теофиля Готье. Он отметил превосходную игру Фредерика Леметра, выдающиеся поэтические достоинства новой пьесы Гюго. Но все же настоящего успеха не было. Скорее полууспех. Гюго ждал совсем другого. Вероятно, публика уже пресытилась романтическим пафосом, высокими чувствами. Может быть, миновала пора романтического театра и окончательно укрепилось царство мелких чувств и дел, царство «золотой середины»?

После этой пьесы Гюго-драматург на несколько лет умолк. Мечта о «Театре Возрождения» не осуществилась. Новых романтических драм не было в репертуаре. Директор в коммерческих целях соглашался на постановку ходовых оперетт. Лицо театра стало совсем другим, чем представляли себе Гюго и Дюма, когда хлопотали о его основании. И скоро они утратили интерес к своему неудачному детищу.

«Рюи Блаз» завершает вереницу драм, созданных Гюго в 30-е годы. Это блестящий финал романтической сюиты, в котором особенно ясно выступают ее главные темы, господствующая тональность.

Утверждение демократического героя, мужественного человека с большим сердцем, противостоящего бессердечным, коварным вельможам, — главный мотив «Рюи Блаза» звучал и в «Марион Делорм», и в «Эрнани», и в «Марин Тюдор».

Раскаты народного гнева против тиранов слышатся во всех пьесах Гюго. С духом тираноборчества сочетается стремление сокрушить старые литературные запреты, дать волю свободному вымыслу художника, создать новые образцы стихотворной сценической речи.

Виктор Гюго обогатил французскую сцену. Но в драмах его с большей отчетливостью, чем в других жанрах творчества, сказались и некоторые романтические «крайности». Злодеи, чудовища и рыцари без страха и упрека порой становились в его пьесах на место живых людей. Индивидуальное, конкретное нередко сглаживалось в событиях и людях, уступая место «общечеловеческому», «абсолютному».

Эти особенности, так же как и сильные стороны драматурга-романтика, ясно видны в «Рюи Блазе», одной из самых характерных пьес Гюго.

В 1872 году Гюго услышал хвалу «Рюи Блазу», возданную уже совсем другим поколением французов. Эмиль Золя написал о ней

следующие строки:

«…Из всех драм Гюго „Рюи Бляз“ самая сценичная, человечная и жизненная. Стихи „Рюи Блаза“ останутся вечной славой нашей поэзии…

Стихи Гюго прозвучали, как звуки рога, среди лепета и бормотания классицистической поэзии… Дуновение нового, струя свежего воздуха, сияние солнца. И они остаются сегодня и останутся навсегда, эти драгоценности, отчеканенные с редким искусством.

Да, музыка, свет, цвет, запах — все есть здесь… Стихи Виктора Гюго хорошо пахнут, имеют кристально-чистый голос, сияют золотом и пурпуром».

Кризис нарастает (1839–1847)

12 мая 1839 года Гюго работал в своем кабинете. Вдруг дверь приоткрылась, и заглянула Леопольдина:

— Папа, ты знаешь, что делается? На мосту Сен-Мишель сражаются.

Он подошел к окну. Издали слышна перестрелка. Весь дом в тревоге. Двери и окна то с шумом захлопываются, то снова распахиваются. Говорят, что в Париже началось восстание. Поэт спешит на улицу. Как всегда, он хочет все увидеть собственными глазами.

Майское восстание 1839 года было организовано тайным

республиканским обществом «Времена года». Его руководитель Огюст Бланки, отважный и стойкий боец-революционер, предпочитал тактику тайных заговоров и неожиданного удара широкой пропаганде. В этом была его слабость. К тому же члены общества не имели опыта и не располагали запасами оружия. Восстание было подавлено на следующий день. Бланки удалось скрыться. Другой руководитель восстания, Арман Барбес, был схвачен и привлечен к суду. Дело его рассматривала Палата пэров.

Гюго пришел на заседание палаты взглянуть на подсудимого. Совсем еще молодой. Открытое, смелое лицо. Честные, ясные глаза. Держится, спокойно. Видно, что убежден в правоте своей идеи. Пусть даже Гюго не разделяет его взглядов, он не может не сочувствовать этому отважному юноше. Какой приговор вынесут Барбесу?

Об этом Гюго узнал вечером 12 июля. Он был в опере, слушал один из актов «Эсмеральды», тот, в котором звучит его любимая музыка колоколов. Соседом по креслу оказался пэр Франции де Сен-Приест. В антракте они разговорились.

— Только что выполнили тяжелую обязанность, — вздыхая, сказал Сен-Приест. — Барбес приговорен к смертной, казни. Министры настояли на этом.

— И когда же это произойдет?

— Завтра утром.

Гюго поднялся. Тут же в театре, в режиссерском кабинете, он быстро набросал четверостишие с просьбой к королю помиловать Барбеса.

Письмо запечатано в серый конверт для рассылки билетов. Адрес короткий: Тюильри. Королю от Виктора Гюго. Лично.

Быстрым шагом к дворцу. Нелегко уговорить привратника доставить письмо тотчас же. Тот упрямо твердит свое:

— Письмо можно передать только завтра утром. Сейчас поздно.

— Но, помилуйте, дело идет о жизни человека, — настаивает Гюго. Наконец письмо передано.

На следующее утро в Париже стало известно, что казнь Барбеса не состоялась. Король внял просьбе поэта и приостановил решение Палаты пэров.

Через двадцать три года уже седобородый поэт получит от Барбеса письмо с проникновенным словом благодарности.

* * *

Успех в спасении Барбеса еще более окрылил Гюго в его мечтаниях приблизить «государство милосердия», стать одним из тех, кто творит законы.

Уже три раза выставлял поэт свою кандидатуру на выборы во Французскую Академию, и три раза ее проваливали. Но он не отступит. Уж если он решил добиться чего-нибудь, то доведет дело до конца и не успокоится, пока не одержит победу.

В 1839 году Гюго потерпел еще один провал на выборах.

— Что я им сделал? — горестно спрашивает он у своей утешительницы Жюльетты.

Она улыбается.

— Как? Разве ты забыл, мой дорогой кандидат в «бессмертные»? Ты сделал «Эрнани».

«Эрнани». Это было уже давно. Поэт ищет теперь другие дороги, он на распутье. Новый триумф романтического искусства, о котором он мечтал, когда работал над «Рюи Блазом», не состоялся. И работа над новой пьесой «Близнецы» не ладится. Первый раз в жизни замысел Гюго остается незавершенным.

Он пишет стихи. В мае 1840 года выходит новый сборник Гюго «Лучи и тени». Слова повинуются ему беспрекословно. Они сверкают, переливаются золотом и пурпуром. Стройные аккорды. Солнечный свет и лунное сияние, плеск моря и журчанье весенних ручьев. Вот он, образ поэта, спокойного мудреца, скрывающегося в мирной зелени долин и рощ, в стороне от бурь и схваток:

И тихо радуйся, в спокойствии душевном,
Смиренного житья заботам повседневным.
Любовью, пусть всегда твоя пылает грудь.
Будь ласковым с детьми, усопшим верен будь.

Даже любовь здесь уже не буйная страсть, а скорее умиленное поэтическое воспоминание. Стихотворение «Грусть Олимпио» написано после посещения памятных мест в долине Бьевры, где поэт проводил счастливые часы с Жюльеттой в первые годы их любви.

Пройдут другие там, где мы бродили ране.

Элегический вздох. Воспоминания о недавнем чередуются в стихах сборника с воспоминаниями детства. Мать. Фейльянтинский сад.

Эти стихи не вызовут ярости в цитадели «бессмертных». На

смену мятежному Дидье пришел возвышенный Олимпио. Какие метаморфозы еще предстоят ему впереди?

Но и в этой книге таятся трагические тени. Они порой уходят в сумрак, но не исчезают. Видение людского горя. Несчастные. Обездоленные. Призрак женщины, умершей от голода, протягивает иссохшие руки, за ними тянутся худые ручонки детей. Нищета. А рядом равнодушие сытых.

Все чаще Гюго возвращается к мысли о большом романе из жизни бедняков. Он набрасывает план, просматривает материалы. Их много. Но взяться за работу мешает многое.

* * *

Летом 1840 года в Академии снова освободилось кресло. Умер Непомюсен Лемерсье, один из ревностных защитников литературного «старого режима».

Бальзак, кандидатура которого тоже была выдвинута, снял ее, чтоб не конкурировать с Виктором Гюго.

Выборы состоялись 7 января 1841 года. Едва ли стены Французской Академии видели когда-либо такое пестрое, многолюдное собрание. Седовласые ученые и царицы салонов, политики, историки, актрисы, классики и романтики, друзья и недруги поэта пришли под этот купол.

— Поистине блистательное сборище! — говорит Оноре Бальзак своему соседу Теофилю Готье.

Атмосфера в зале на этот раз не такова, чтобы ждать поражения Виктора Гюго.

Благосклонно улыбается герцогиня Орлеанская, она здесь вместе с мужем. И герцог Немурский тоже пожаловал; ученые раскланиваются с сановитыми гостями, любезно поблескивая очками, лысинами, сединами.

Гюго начинает речь.

Он говорит о славе Франции, о величии Наполеона. Ораторские периоды. Антитезы. Метафоры.

Он говорит о примирении прошлого и настоящего, о преимуществах конституционной монархии.

Политики и историки переглядываются. Это больше похоже на программную речь в кабинете министров, чем на слово писателя.

Наконец он переходит к литературе. Звучит хвала покойному Непомюсену Лемерсье, хвала его сверстникам и современникам — Шатобриану, Жермене Сталь, Бенжамену Констану, не захотевшим признать Наполеона. Эти независимые умы — тоже

слава Франции.

Речь заканчивается восхвалением Французской Академии.

Слушатели удивлены. От вождя романтиков ждали чего-то другого.

В этой речи нет и следа того боевого задора, каким дышало Предисловие к «Кромвелю». Вступая в цитадель «бессмертных», Гюго пытался подняться над политическими и литературными разногласиями, примирить их в лоне мечтаний о всеобщем прогрессе, о постепенном мирном движении общества к идеалу будущего.

На собственном горьком опыте писатель убедился в том, что бунтарям в Академию вход заказан. И выдвинутая им программа далека от бунтарства, она имеет мирно просветительский характер.

«Незаметное поглощение грядущих сотрясений путем прогресса в настоящем, смягчение нравов, воспитание масс через школы, мастерские и библиотеки, постепенное улучшение людей при помощи законов и образования — вот та серьезная цель, которую должны ставить перед собой каждое хорошее правительство и каждый подлинный мыслитель», — провозглашает он в конце своей речи.

При баллотировке Гюго получил большинство голосов. Наконец-то!

В жизни писателя начинается непрестанная череда заседаний, балов, приемов, банкетов.

* * *

Каждое лето Гюго устраивает себе каникулы и путешествует. Начиная с 1838 года он три раза совершал паломничество на Рейн.

«Ведь вы знаете, я не раз говорил вам, что люблю реки. Реки такой же удобный путь для мыслей, как и для товаров…

Я также говорил вам, что больше всех рек я люблю Рейн», — пишет Гюго.

«Да, мой друг, это благородная река, река феодальных времен, река Республики и Империи; она достойна быть и французской и немецкой рекой…»

Легенды, история, политика — все это притягивает Гюго к берегам Рейна. Карл Великий и Роланд, Оттон, Фридрих Барбаросса и рядом с ними герои сказаний — рыцари и феи, лесные и горные духи. Там и сям под цветочным ковром мелькают руины. На прибрежных горах развалины старинных

замков.

Дорожный альбом поэта наполняется рисунками, эскизами, записные книжки — заметками. Пища для романтической фантазии богатейшая.

Писателю хочется верить, что Рейн, давний источник раздора между Францией и Германией, станет когда-нибудь рекой согласия и мира. «Рейн — река, которая должна их объединить, а ее сделали рекой, которая их разъединяет», — пишет Гюго. Его проекты объединения интересов двух наций, перераспределения земель фантастичны так же, как и его романтические видения, но он стремится придать им программно-политический характер. Здесь впервые рождается у него идея о будущей объединенной Европе. Это не реальные планы настоящего, а скорее поэтическая мечта о далеком будущем.

Своим путевым очеркам Гюго придает форму писем к другу и в 1842 году выпускает книгу «Рейн».

Видения рейнской старины навеяли писателю и замысел новой драмы. Он хочет создать нечто грандиозное, драму невиданного эпического размаха, философского и символического звучания.

В его воображении оживают обитатели тех древних замков, с башен которых он созерцал сверканье Рейна и зелень прибрежных долин. Бургграфы, равные королям, были когда-то хозяевами этих земель. Четыре поколения феодалов станут героями его пьесы. Деградация рода. Пороки, преступления, фамильные тайны. Карающий рок и всепрощающее провидение.

В драме «Бургграфы» восстанет из гроба легендарный Фридрих Барбаросса — «Юпитер XII века». Неистовые оргии в залах, лязг цепей в подземельях. Муки совести. Заклинания. Призраки. И на мрачном фоне сияет светлый луч — любовь двух молодых сердец.

Пьеса разрастается. Герои принимают все более гигантские, сверхъестественные очертания, превращаясь в туманные символические фигуры.

Писателю кажется, что эта драма, родившаяся на свет после пятилетнего молчания, должна стать его шедевром. В октябре автор передал «Бургграфов» в «Комеди Франсэз» и потребовал, чтобы роли поручили лучшим актерам.

Молодой актрисе Рашели, имя которой гремело на французской сцене, предложили роль колдуньи Гвангумары. Но Рашель отказалась. Роль старухи едва ли подойдет для нее, и вообще новая пьеса Гюго трудна для исполнения, слишком длинна. К тому же Рашель занята в пьесах классического репертуара. Интерес к классикам возрождается во Франции,

парижане заново открывают Корнеля и Расина, а романтические драмы выходят из моды.

7 марта 1843 года состоялось первое представление «Бургграфов».

Оно имело лишь полууспех. На следующих представлениях друзей уже не было, а сторонники «неоклассиков» пошли в атаку. Голоса актеров были еле слышны сквозь свист и выкрики. Потом дело пошло еще хуже. Полупустой зал. Сборы все меньше. Пьеса отвергнута самой публикой.

Гюго возвращается из театра. Весенний вечер. Продают фиалки. Улицы полны народу, несмотря на поздний час. Над Парижем какое-то особое сияние. Комета. Поэт останавливается, смотрит на небо, и в памяти встает давний вечер. Детство. Испания. Он стоит рядом с Эженом на балконе дворца Массерано. На небе гигантский, феерический, сияющий хвост. А внизу голоса: «Узурпатору скоро конец. Это знамение…»

Другие голоса кругом, и он сам далек от того мальчика…

Что-то не так идет в его жизни. Но что?

Неужели утрачен контакт с публикой, контакт с живой, непрестанно меняющейся современностью? Почему освистали «Бургграфов»? Он не допускает мысли, что пьеса слаба. Но что бы ни было, для театра он больше писать не будет. Довольно. У него теперь есть другая трибуна. И все же горько. Миновала какая-то большая, яркая полоса в его жизни.

На следующее утро Гюго, просматривая за утренним завтраком газеты, разворачивает юмористический листок «Шаривари» и видит карикатуру. Знакомое изображение: громадная голова, высокий лоб, длинные волосы, мрачный вид — так художники-юмористы рисуют Виктора Гюго. Под карикатурой четверостишие:

На небеса взглянув, поэт
Печально задает вопрос:
«Зачем растут хвосты у звезд,
А у моих „Бургграфов“ нет?»

Он с досадой отбрасывает газету. Гордый Олимпио уязвлен.

Драма «Бургграфы», которую Гюго считал своим шедевром, в действительности была его творческой неудачей. В «Бургграфах» поэт утерял многое из того, в чем заключались сила и обаяние «Эрнани», «Марион Делорм», «Рюи Блаза», — живую перекличку с современностью, энергию в развитии действия; боевой демократический дух. Многословная, пронизанная мистическими

мотивами, эта драма потерпела решительное фиаско, несмотря на великолепный язык и грандиозность образов.

Ощущение потери чего-то важного и дорогого Гюго испытывает и в кругу семьи. Дом как будто опустел — любимая дочка Леопольдина вышла замуж за Шарля Вакери, брата одного из самых верных друзей Гюго, и уехала в Гавр. Она счастлива. Ей хорошо, но отец грустит.

Может, быть, путешествие развеет его грусть? Он давно мечтал снова увидеть Испанию. Страна романтических контрастов. Страна гверильясов, непокоренных. Она всю жизнь влечет поэта. И вот он вновь едет по ее потрескавшимся от зноя каменистым дорогам.

Скрипят колеса экипажа. Стучат о кузов камешки. Теснятся, набегают воспоминания. То же слепящее солнце, те же скалы, и гордые пастухи с длинными посохами, и виноградники по склонам гор.

Но все совсем не так лучезарно, как в детстве. Все как будто немного потускнело. А может быть, это потому, что он сам постарел? Рядом с ним в экипаже его привычная спутница Жюльетта Друэ. Они путешествуют инкогнито, под именем супругов Жорж. Так легче и свободнее. Имя Гюго привлекало бы любопытные взоры.

Сколько городов посетили они за этот месяц путешествия по Испании! Живые впечатления, образы. Источники новых творений.

Путешествие тянется уже около пятидесяти дней. Что там в Париже, что в Гавре? Уже давно они не получали писем от близких, не видели французских газет. Несколько дней провели в море, останавливались на уединенном острове.

Высадившись на берег, они заходят в маленькое кафе. На столе стопка свежих французских газет. Гюго тотчас же погружается в чтение, а Жюльетта изучает меню.

— Ну, что там нового? — весело спрашивает она у своего спутника.

Он молчит. Что с ним? Почему он так смертельно побледнел? Рука прижата к сердцу. Глаза остановились.

Она вырывает у него газетный листок. Что он там увидел? Ей бросаются в глаза строки: «Гибель дочери знаменитого поэта». Позже они узнали подробности.

Это случилось 4 сентября. Леопольдина и ее муж отправились на прогулку в легкой парусной лодке. Неожиданный порыв ветра. Лодка накренилась, зачерпнула воды и перевернулась. Леопольдина не умела плавать. Она ухватилась за борт и потеряла сознание. Шарль пытался спасти ее, но напрасно,

он не мог оторвать ее руку от тонущей лодки. Тогда он обнял ее и они вместе пошли ко дну.

Так их и похоронили в одной могиле на кладбище в Виллекье.

Дом на Королевской площади в трауре. Госпожа Гюго смотрит в одну точку сухими, воспаленными глазами и молча перебирает, гладит, прижимает к груди прядь волос Леопольдины.

«…Гюго сразу постарел на десять лет», — пишет Бальзак Ганской.

На всю жизнь день 4 сентября останется для поэта днем траура, посвященным памяти дочери. Каждый год в этот день он будет писать стихи, обращенные к Леопольдине.

Сладостная горечь воспоминаний:

Ей десять минуло, мне — тридцать;
Я заменял ей мир в те дни.
Как свежий запах трав струится,
Там, под деревьями, в тени!

Я слушал сквозь полет мечтаний
Ее бесхитростный рассказ,
И мысль мою вело в тумане
Сиянье этих детских глаз.

О ангел мой чистосердечный!
Ты весела была в тот день…
И это все прошло навечно,
Как ветер, как ночная тень!

* * *

Проходят дни, недели, месяцы, притупляется понемногу острота горя. Жизнь идет своим чередом. Снова Гюго произносит торжественные речи в Академии. Хвалы усопшим. Приветствия вновь избранным. Он величествен в председательском кресле. Даже Сент-Бёв вынужден признать, что Виктор Гюго выше личных обид, страстей и распрей. Критик опасался, что Гюго постарается провалить его кандидатуру на выборах в Академию, подозрения его, однако, были напрасны. Во вступительном слове Гюго воздал должное заслугам и талантам Сент-Бёва.

Но «бессмертные» и не подозревают, что, когда Виктор Гюго

во время длинных и скучных словопрений рассеянно чертит что-то в записной книжке, на листках ее появляются отнюдь не хвалы академикам, а шутливые и порой едкие карикатуры, сатирические портреты собратьев.

Король Луи-Филипп всячески старается выказать свое расположение знаменитому писателю, приручить его. 13 апреля 1845 года издан королевский указ: Виктору Гюго пожаловано звание пэра Франции.

В оппозиционных газетах тотчас же появился поток эпиграмм, карикатур.

«Виктор Гюго умер. Да здравствует виконт Гюго!»

«Гюго-писатель теперь совсем умолкнет. Талант его исчерпан», — говорят многие.

К обязанностям академика прибавились еще обязанности пэра. Для работы над новыми книгами не остается времени.

Неужели талант его действительно иссяк? Нет. Он должен предпринять какой-то решительный шаг. Оторваться хоть на время от заседаний и приемов. Вернуться к главному делу своей жизни.

Некоторое время Гюго не появляется ни в палате, ни в салонах. Он взялся за перо.

* * *

Давно уже он задумал большой роман о нищете, каторге, страданиях обездоленных. Замысел начал зарождаться еще в далекие дни, когда писатель собирал материалы для «Последнего дня приговоренного». За долгие годы скопилась целая гора заметок, набросков, фактов, наблюдений. Надо вернуться к старым планам. Это будет книга о жизни французского народа и о собственной молодости писателя. Канвой для биографий героев послужат действительные события и человеческие судьбы.

Общий план романа был намечен в 1840 году.

История святого.

История мужчины.

История женщины.

История куклы.

Святой будет походить на епископа Диньского, монсеньера Миоллиса, человека, который славится своей необычной добротой. Гюго беседовал с ним, слушал рассказы людей, которые знали епископа. Особенно запомнился один рассказ. Каторжник Пьер Морен, отбывший свой срок, возвращался на родину и безуспешно искал в городке пристанища на ночь. Никто не пускал

в дом клейменого с желтым паспортом. Епископ открыл Морену свои двери, помог ему словом и делом.

Судьба главного героя романа будет схожа с историей Пьера Морена, приговоренного в 1801 году к каторге за кражу хлеба. Этот герой, конечно, не станет копией Морена. Художник не копирует, а преображает, освещает, концентрирует главное в жизни.

Третья героиня. Таких, как она, много вокруг. Сияющая, доверчивая, юная затоптана в грязь, брошена. У нее ребенок, его надо кормить. Женщина становится проституткой. Проституция — страшная язва, разъедающая современный город. Преступление общества перед женщиной.

Писателю вспоминаются тягостные уличные сцены, свидетелем которых он был не раз.

Однажды вечером он возвращался со званого обеда. Мягкий снег падал хлопьями. На углу у фонаря стояла женщина, бедно и крикливо одетая. Какой-то сытый бездельник подкрался сзади и бросил ей за воротник пригоршню снега. С криком она вцепилась в обидчика. На шум прибежали полицейские и потащили ее в участок.

— Я не сделала ничего плохого! — отбивалась она. — Пустите меня!

Но они тащили ее.

— Ну, живей! Получишь свои шесть месяцев тюрьмы. Ни больше, ни меньше.

Гюго молча следовал за ними. В окно полицейского участка он увидел, как женщина бросилась к ногам комиссара и стала рвать на себе волосы. Гюго вошел:

— Я хочу сказать несколько слов в защиту этой женщины.

— А кто вы такой?

Когда писатель назвал свое имя, тон полицейского комиссара изменился. Гюго рассказал все, что он видел на перекрестке.

— Следовало бы арестовать не девицу, а мужчину, — закончил он.

— О, как добр этот господин! — твердила женщина, глядя на него посветлевшими, изумленными глазами.

Героиня его романа Фантина будет похожа на эту женщину.

Дочку Фантины он назовет Козетта. Ребенок, попавший в руки жестоким и жадным людям. Побои, ругань, недоедание. Испуганные глаза, босые ноги, рваное платье, маленькие руки, загрубевшие от работы…

Книга будет протестом против безжалостности сытых и равнодушных.

Роман постепенно выходит из берегов первоначального

замысла. Возникают новые герои. И один из них — Мариус Понмерси — особенно близок автору. Гюго вложит в этот образ мечты, горести и стремления собственной молодости. Мансарда. Бедность. Великие планы. Упорный труд. И любовь.

Отец Мариуса, старый ветеран, ухаживающий за цветами в своем саду, будет очень похож на генерала Гюго в опале. Тут появится и двойник библиотекаря Руайоля; зазвучат разговоры в роялистских салонах. «Кровожадный узурпатор… Корсиканское чудовище». Все, что он слышал в детстве, найдет здесь отражение. Но, конечно, роман не станет автобиографией. Главное в нем — это жизнь и страдания бедняков. Гюго думает назвать его «Нищета», а главному герою дать имя Жан Трежан.

Когда Гюго писал «Последний день приговоренного», во Франции почти совсем еще не было социальных романов, романов о современном обществе с его язвами. Теперь их появились десятки, сотни. Их создала плеяда писателей, выступивших в 30—40-е годы. Эти таланты родились и выросли на почве, оплодотворенной революционными бурями.

Особенно много сделал для нового социального романа Бальзак. Гюго восхищается его бесстрашным анализом. Бальзак в «Человеческой комедии» берет общество мертвой хваткой, срывает маски, исследует пороки, проникает в сокровенные тайники фактов и событий.

Жорж Санд тоже воюет с обществом, с его жестокими предрассудками и несправедливостью.

Она близка Гюго своими неизменными симпатиями к угнетенным, верой в будущее.

В начале творческого пути Жорж Санд волновал главным образом вопрос о положении женщины в современном мире. Скоро писательница убедилась, что вопрос этот нельзя разрешить без перестройки всего существующего общества. Она обратилась к социалистическим учениям своего времени. Влияние идей Сен-Симона и его последователей определило весь характер дальнейшего развития писательницы.

Один за другим появлялись в начале 40-х годов ее социальные романы: «Странствующий подмастерье», «Орас», «Консуэло», «Мельник из Анжибо». Все настойчивее звучала в них критика устоев общества, все горячее становилась проповедь социалистических идей. Идеи Жорж Санд, «подобно пламени пожара, разлились по всему свету», — писал Генрих Гейне.

Любимые герои писательницы — дети народа, к ним стремятся приблизиться «блудные сыны» буржуазии и дворянства, правдоискатели, мечтатели и борцы. Их планы переделки мира

иллюзорны, в них отражается незрелость и робость программы французских социалистов-утопистов. И все же романы Жорж Санд вдохновляли современников на борьбу, призывали к поискам путей в будущее.

Гюго подружился с этой женщиной-писателем и нередко навещал ее в поместье Ноган, где собирался большой круг литераторов, политиков, артистов.

Дно большого города с его закоулками и тайниками освещал в своих произведениях писатель Эжен Сю. Его роман «Парижские тайны», выходивший выпусками в 1842–1843 годах, имел шумный успех. Конечно, Эжену Сю далеко до философских и социальных глубин Бальзака, но его романы-фельетоны, порой сентиментальные, порой авантюрные, рассчитанные на широкую публику, тоже несут в себе протест и содержат гуманные идеи.

Виктор Гюго, погружаясь в работу над социальным романом, мог опираться на живой опыт современников. И он не отвергал этого опыта, но, конечно, не собирался никому подражать.

Он скажет свое слово, и скажет его по-своему. Вступительные главы романа уже созданы. Жюльетта принялась за переписку.

* * *

22 февраля 1846 года Гюго идет на утреннее заседание Палаты пэров. Холодный солнечный день. Поэт торопится, но невольно замедляет шаг при виде человека, необычайно похожего на главного героя его романа.

Два полицейских ведут этого человека под конвоем. Он бледен, худ, мрачен. Еще молод, нет и тридцати лет. На нем холщовые панталоны, короткая блуза, деревянные башмаки на босу ногу. Растрепанная голова не покрыта. В руках коврига хлеба. Кругом говорят, что он украл ее, за то его и взяли. Полицейские останавливаются; один из них заходит в какой-то магазин, другой остается стеречь арестованного. Тут же, у входа в магазин, стоит карета с герцогским гербом; через окно ее видно, как холеная женщина в бархате, откинувшись на спинку сиденья, играет с нарядным розовым ребенком. Богатство проходит мимо бедности.

Словопрения в палате кажутся Гюго после всех этих мыслей о жизни очень далекими от нее. Те же праздноболтающие, что осудили когда-то Барбеса, заседают и теперь. Удастся ли ему принести здесь какую-нибудь пользу? Как и прежде, писатель вне партий и группировок. Хочет ратовать в одиночку за высокую человечность, за права угнетенных классов и народов, за отмену

смертной казни, за свободу писателя.

19 марта Гюго произнес свою первую речь в Палате пэров. Он выступил в защиту Польши, призывая Францию — родину революции — вступиться за польских патриотов, поднявших в Кракове восстание. Речь встречена в палате холодно. Не найдет она отклика и в правительственных кругах. Францией правят отнюдь не гуманисты, подобные Гюго. Министр Гизо не выступит против Священного Союза. Монархи и их приспешники вершат свою волю в Европе. Восстания в Кракове и в Галиции зверски подавлены. Краков присоединен к Австрии с согласия России и Пруссии.

Гизо противится реформам и внутри страны, «Обогащайтесь, господа, и вы станете избирателями», — отвечает он на требования провести реформу избирательного права. И горсточка господ обогащается вовсю. Растут состояния миллионеров, а государство в постоянном долгу у Ротшильдов, у биржевых игроков, у мошенников.

Да ведь те же мошенники сидят и в министерстве и в Палате пэров. Министры сами акционеры компании по строительству железных дорог, которые прокладываются за счет государства. Министр общественных работ Тэст изобличен во взяточничестве. На всю страну гремит скандальный процесс пэров-аферистов Пармантье и Кюбьера. Они подкупали чиновников, чтоб добиться концессии на соляные копи. Гюго сначала не хотел верить этому, но факты убеждают.

Династия Ротшильдов правит Францией. Богачи наживаются, а бедняков становится все больше. Неурожаи. Налоги. Массовое разорение. Нищета. В Бюзансе в 1847 году вспыхивает голодный бунт, зачинщиков его приговаривают к смертной казни. Рабочие бастуют. Мелкие торговцы терпят банкротство один за другим.

Могут ли в такой обстановке претвориться в жизнь мечты писателя о благе, о славе Франции?

14 июня 1847 года Гюго снова на трибуне Палаты пэров. Он вступается за политических эмигрантов, за изгнанную семью Бонапартов. «Изгнанники превращаются в претендентов», — говорит Гюго. Вернуть изгнанным принцам их гражданские права — это значит лишить их политического значения, полагает он. «Угроза исходит теперь не со стороны принцев… Хотите вы знать, в чем сегодня состоит действительная опасность?.. Обратите взгляд не в сторону принцев, а в сторону масс, в сторону многочисленных трудящихся классов… Я обращаюсь к правительству с суровым предостережением: недопустимо, чтобы народ страдал! Недопустимо, чтобы народ голодал! Это серьезный вопрос, в нем-то и заключена опасность… Все интриги

всех претендентов не смогут заставить самого незаметного из ваших солдат сменить кокарду, а удары вил в Бюзансе могут разверзнуть перед вами бездну!»

Тысяча восемьсот сорок восьмой

В городе как будто праздник, но праздник грозный. Прибой толп. Ураган звуков. «Марсельеза» несется со всех сторон, сливается с барабанным боем, с ружейной пальбой, с криками «Долой!».

— Долой Гизо! Долой династию Ротшильдов!

На улицах, перекрестках, площадях, как из-под земли, как по волшебству, вырастают баррикады. Люди в блузах взялись за

оружие. Они не могут больше молчать и терпеть. Они сегодня главная сила в бурлящем, полыхающем Париже. К ним присоединяются разношерстные толпы — студенты, конторщики, мелкие лавочники, кустари всех профессий, мастера и подмастерья, юноши, старики, женщины и, конечно, впереди всех быстроногие, горластые, дерзкие мальчишки.

— К оружию, граждане!

Вместе с клокочущей массой народа к зданию Ратуши движется человек с олимпийским лбом и гордым взглядом. Виктор Гюго. Его не страшат ни буйные возгласы, ни шальные пули. Рядом с ним шагает мэр его округа. А может быть, он уже перестал быть мэром? Здание мэрии окружено, занято воинственной толпой. И сам Гюго, останется ли он пэром Франции? Катастрофа это или обновление? Нет. Он не жалеет прошлого. Ни Гизо и Тьеров, ни праздно-болтающих в палате, ни даже столь милостивого к нему Луи-Филиппа.

На площади Ратуши солдаты братаются с национальными гвардейцами. Восстание нарастает.

Гюго и его спутник идут к дворцу Бурбонов. Там собрались вчерашние властители-политики. Слышен тонкий голос Тьера:

— Король отрекся от престола. Надо провозгласить регентшей герцогиню Орлеанскую.

В министерстве внутренних дел повторяют слова Тьера. Герцогиня Орлеанская будет регентшей. «Если народ позволит», — замечает человек в блузе.

Бывший пэр Франции спешит назад, на Королевскую площадь. По дороге повстанцы помогают ему перепрыгивать через ямы и выбоины мостовой. Камни вывернуты для баррикад.

Он должен сообщить гражданам своего округа о совершившихся в государстве переменах. С балкона Гюго обращается к толпе. Даже его металлическому голосу трудно прорваться сквозь этот гул.

— Король отрекся от престола! — возглашает бывший пэр.

— Министерство Гизо пало!

Взрыв приветственных криков встречает его слова.

Гюго поднимает руку. «Слушайте, слушайте, что еще он скажет!» — гудит толпа.

— Герцогиня Орлеанская будет регентшей!

Одобрительный гул сменяется резким свистом. Гюго уходит с балкона. Скорее на площадь Бастилии! Может быть, там его слова будут приняты по-другому?

Он поднимается на возвышение у июльской колонны. Весть об отречении короля и падении министерства толпа встречает бурным одобрением. Заявление о регентстве герцогини

Орлеанской снова вызывает негодующий отпор.

— Долой Бурбонов!

Какой-то человек с ружьем кричит:

— Смерть пэру Франции!

И Гюго уходит в ночную темноту, как чужой. Он, который всегда считал себя другом народа, другом угнетенных.

Ночью он плохо спит. Город продолжает гудеть и волноваться, и сам Гюго в смятении. Нет. Он не хочет стоять в стороне от совершающихся событий. Может ли он идти против жизни, против воли народа? Должно быть, уже пришла пора для установления новых, более прогрессивных политических форм. Должно быть, его мечтания о разумном, просвещенном монархе и совете мудрейших уже несовременны.

На другой день, 25 февраля 1848 года, Гюго снова идет к зданию Ратуши. Там уже заседает вновь избранное временное правительство. Во главе его — знаменитый поэт Ламартин, снискавший особенную популярность в либеральных кругах с тех пор, как он выпустил книгу об истории Жиронды.

День серый, но Париж сияет и светится:

— Да здравствует республика!

«Свобода. Равенство. Братство». Гюго читает эти слова, начертанные на стенах домов. Разве не воплощены в них лучшие мечты человечества? Разве не о том и он сам мечтал всю жизнь?

На площади Ратуши такое скопление людей, что он теряет надежду пробиться. Совершенно неожиданно национальные гвардейцы, охраняющие вход в здание, отдают ему честь и расчищают дорогу. Оказывается, их командир хорошо знает поэта.

Глава временного правительства поднимается навстречу Гюго, протягивает руки. Прямой, юношески стройный, с трехцветной кокардой на рединготе, Ламартин весь горит вдохновением. Он рад видеть Гюго, он знал, что его старый друг придет.

— Такие люди сейчас особенно нужны республике, — говорит Ламартин, сверкая глазами. — Эта революция особая, она провозгласит всеобщий мир и уничтожит горестное недоразумение, которое существует между различными классами общества, — продолжает он. Ламартин уверен, что в глубине души Гюго тоже за республику. — Не правда ли?

— В принципе да, — отвечает Гюго. — Всемирная республика — венец прогресса, но пришло ли ее время во Франции?

Не хочет ли его друг занять пост министра просвещения? — спрашивает Ламартин. Гюго польщен, но отказывается. Тогда он, может быть, примет пост мэра своего округа? Гюго подумает, чем

он может быть полезен. Он хочет быть вместе с народом и не откажется от выборных должностей, конечно, если его изберут.

Неделю спустя Виктор Гюго снова выступает перед толпой народа. Он славит дерево свободы, которое граждане сажают на бывшей Королевской площади, переименованной теперь в Вогезскую. Он славит мир и заканчивает речь призывом: «Да здравствует свобода во всем мире! Да здравствует всемирная республика!»

На этот раз его провожают уже не криками «Долой!», а возгласами «Да здравствует!».

В «Письме к избирателям» Гюго предоставил себя в их распоряжение: «Я принадлежу моей стране, и она может располагать мною».

Через некоторое время он избран депутатом Национального учредительного собрания, горд своей новой должностью, но пока еще осторожен и сдержан. Садится на те скамьи, где группируются самые умеренные. Писатель признал республику, готов служить ей, но ему хотелось бы, чтоб это была республика классового мира, чтоб не вернулись во Францию времена якобинского террора.

Свои взгляды Гюго изложил в обращении к избирателям. Две различные республики рисуются ему. Одна кровавая республика террора. Она разобьет старые учреждения, разорит богачей, не обогатив бедняков, наполнит тюрьмы, а потом опустошит их казнями. Она превратит цивилизацию в пепел, сделает Францию родиной мрака, убьет свободу, задушит искусство…

Другая республика — «святое единение всех французов», без различия классов и положения. Основанная на принципах демократии, она укрепит свободу без узурпации и насилия, установит «естественное» равенство и братство свободных людей. О такой «республике цивилизации» и мечтает поэт.

Утопии в духе Ламартина! Они существовали только в поэтических мечтах. В реальной Франции «всеобщее примирение» не состоялось. Буржуазия оттеснила от власти тех, кто совершил революцию, заняла командные посты, заботится лишь о своих интересах.

Рабочие Парижа волнуются. 15 мая двухсоттысячная демонстрация движется к Бурбонскому дворцу, где заседает собрание. Нарушен установленный распорядок прений. Массы народа ворвались во дворец. Их вожаки — Распайль, Бланки, Барбес — поднимаются на трибуну. Они требуют больших перемен. Налоги на капиталы миллионеров! Помощь безработным! Контроль над правительством! Поддержка

восставшим народам Европы!

Правые и умеренные в негодовании, в страхе. Демонстранты хотят провозгласить новое правительство. Они идут к Ратуше, занимают ее.

Правительство республики вызывает войска. Через несколько часов Барбес и Распайль арестованы, а спустя несколько дней схвачен и Бланки, которому сначала удалось скрыться. Рабочие Парижа лишились своих руководителей.

Добренькая миролюбивая республика, возглашающая всеобщее единение, ощетинилась штыками и дулами против тех, кто сражался за нее на баррикадах.

Закрыты революционные клубы, запрещены массовые сборища. Правительство хочет закрыть и национальные мастерские, организованные после революции для устройства безработных.

Депутаты Национального собрания препираются. Впрочем, большинство единодушно. Закрыть мастерские.

Гюго в замешательстве. Как восстановить нарушенное единение в стране? 20 июня он поднимается на трибуну. Да. Он тоже считает, что национальные мастерские не оправдывают себя, их надо как-то перестроить. Но главное сейчас — в опасности, которая грозит республике. Рабочие бедствуют, и вся Франция на пороге разорения и катастрофы. Поэт взывает к мыслителям, к демократам, к социалистам (себя он тоже относит к их числу), он заклинает государственных мужей позаботиться о народе, успокоить его гнев, призвать его к классовому миру.

23 июня Париж покрылся баррикадами, над ними вьются красные знамена с призывами: «Жить работая или умереть сражаясь!»

Депутат Гюго, наивно мечтавший о классовом мире всех французов, в смятении. Что делать? Остается одна надежда на чудо слова, на волшебство проповеди. Национальное собрание выделяет отряд депутатов для переговоров с бойцами баррикад. Виктор Гюго тоже пойдет и будет уговаривать повстанцев сложить оружие.

Он понимает, что миссия его опасна и может быть безрезультатна, но идет без колебаний. Нельзя допустить, чтобы республика стреляла в повстанцев. Необходимо предотвратить братоубийственную бойню.

Раннее июньское утро. Голубое, золотое, зеленое. Тут бы людям радоваться солнцу, слушать пенье птиц — они щебечут самозабвенно! Но людям сегодня не до них.

…Зловещие стоят
На узких улицах громады баррикад…

Давно когда-то, мальчиком, он испытал впервые ощущение режущей дисгармонии. Это было тоже в июньское утро, когда он вместе с учителем Бискарра смотрел вдаль с высоты купола Сорбонны. Войска Бурбонов шли против войск Бонапарта. Цветущая земля, и на ней в муках корчились тела французов, сраженных французскими пулями. Кровь людей орошала зелень трав…

Вот она, баррикада. Высотой в два этажа. Опрокинутые повозки, домашняя рухлядь, матрацы и камни мостовой.

Гюго машет белым платком. Ружейные дула молча глядят на него из щелей.

Туда спеши, туда, один и безоружен;
В ужасной той борьбе, в постыдной бойне — грудь
Подставить должен ты и душу расплеснуть…

Он обращается к людям, направившим на него дула ружей. Говорит им о республике, о братстве, любви, примирении. О женах и детях, которые ждут дома, о будущем. Пусть они сложат оружие. Ведь можно договориться мирно, добиться реформ без выстрелов, без кровопролития…

Они не стреляют в него, они молчат. А потом один из них отвечает коротко и решительно:

— Вы, может быть, и правда любите Францию, господин Гюго, но мы ее любим по-другому. Идите и скажите тем, кто послал вас, что ни один из защитников баррикады не сложит оружия.

Уговоры тщетны. Но поэт пойдет к другой баррикаде. Еще и еще будет он пытаться выполнить свою миссию примирения. Под треск выстрелов, под жужжание пуль. От баррикады к баррикаде. И днем и ночью. И все напрасно.

Кровь начинает литься. Кровь тех, кто работал в поте лица, терпел нужду и гнет и кто восстал против этого гнета, против предательства и вечной лжи…

Пушки направлены на баррикады. Париж сотрясается от выстрелов. «Миролюбивая» февральская республика во главе с генералом Кавеньяком вершит расправу над восставшими рабочими.

Район, где жил Гюго, был занят в дни июньских боев повстанцами, и поэт беспокоился, не зная, что с его семьей.

Потом Гюго рассказали, что толпа людей в лохмотьях, вооруженных пиками и топорами, вторглась в его квартиру. Дома никого не было.

«Они вошли беспорядочной толпой во главе со своим начальником…

Переступая через порог, Гобер, предводитель восставших, снял фуражку и проговорил:

— Шапки долой!»

Повстанцы искали оружие.

В столовой они увидели на стенах старинные мушкеты, драгоценные серебряные ятаганы.

— Это произведения искусства, — заметил предводитель.

И они все оставили на своих местах, а среди этой толпы было немало бедняков, живших в крайней нищете.

Они прошли по всем комнатам и достигли кабинета.

«Весь облик кабинета говорил о том, что эта комната углубленных занятий лишь ненадолго покинута… Оба стола были загромождены орудиями писательского труда. Здесь все было перемешано: бумаги и книги, распечатанное письма, стихи и проза, отдельные листки, начатые рукописи…

Второй стол был высоким, ибо хозяин привык работать стоя.

На этом столе лежали недавно написанные страницы прерванного им произведения…

Около часа двигались люди через квартиру. Они шли молча, являя взору все виды нищеты и всю силу гнева. Они входили в одну дверь и выходили в другую. А издали доносились пушечные выстрелы.

Выходя из квартиры, они шли в бой.

Когда они удалились, когда комнаты опустели, стало ясно, что босые ноги этих людей ничего не осквернили, их руки, почерневшие от пороха, ни к чему не притронулись. Ни один драгоценный предмет не пропал, ни одна рукопись не была сдвинута с места».

Спустя много лет Гюго написал эти строки, дышащие благодарностью и любовью к людям с руками, почерневшими от пороха. Он вспомнил о них в тот день, когда другая толпа, орда сытых молодчиков, бросала камни в его окна…

Париж на осадном положении. Полицейские облавы. Убийства, аресты, ссылки. Из двадцати пяти тысяч арестованных три с половиной тысячи сослано без суда.

Подавляющее большинство Национального собрания (503 депутата) голосует за применение репрессий к июньским повстанцам. Только 34 депутата подняли свой голос против. В их

числе Виктор Гюго.

«Ни мятежи, ни осадное положение, ни даже постановления Национального собрания не заставят меня делать то, что я не нахожу справедливым и добрым», — записывает он в своем дневнике. Гюго встает на защиту побежденных повстанцев:

Потом в Палате, став на страже боевой,
Средь кликов яростных загородить собой
Всех, на кого уже разверзла зев темница…

И ему удается спасти некоторых из них от казни или ссылки.

«Смутные дни, — пишет он в дневнике, — люди не могут отличить лжи от истины, добра от зла, дня от ночи и один пол от другого — женщины, которая зовется Ламартином, от мужчины, который носит имя Жорж Санд».

Но одно для него несомненно: он негодует против палачей и полон сострадания к жертвам.

* * *

Искры пламени революционного Парижа летят в 1848 году по всей Европе.

— Долой Меттерниха! — требуют народные толпы Вены. — К оружию! — 13 марта рабочие и городская беднота атакуют здание ландтага. Меттерних вынужден уйти в отставку, а император — дать народу новую конституцию, но она далека от требований масс. 18 мая в Вене вооруженное восстание. Оно зверски подавлено. В октябре рабочие Вены идут на новый приступ. Имперские войска направляют на них пушки.

Поднимаются против австрийского гнета княжества, города Италии. 18 марта восстает Милан, вслед за ним Венеция. Пламя народной борьбы охватывает Ломбардию.

Великий поэт Адам Мицкевич формирует в Италии польский легион, он хочет объединить под его знаменами борцов за освобождение славянских стран.

Крестьяне Силезии вооружаются вилами и топорами. Волнуется Познань.

12 июня покрывается баррикадами старинный чешский город Прага. Демонстрации рабочих переходят в вооруженное восстание. Пять дней повстанцы выдерживают неравную борьбу, сопротивляясь войскам. Мостовая Праги залита кровью.

В раздробленной Германии нарастает борьба за объединение, за имперскую конституцию. 4 мая — восстание в Дрездене. Весь

левый берег Рейна полыхает, формируются революционные отряды.

Тысяча восемьсот сорок восьмой! Это необычайный год в истории старой Европы. Год всемирно-исторического опыта революций. И на основе этого опыта уже выковывают теорию, стратегию и тактику пролетарского движения его молодые вожди Карл Маркс и Фридрих Энгельс. Они в самой гуще событий, поддерживают передовые движения во всех странах. В корреспонденциях, которые посылают Маркс и Энгельс в «Новую Рейнскую газету», дается подлинно революционная оценка совершающихся событий. Особенно большое значение придавали вожди пролетариата опыту июньского восстания в Париже, называя его «грандиознейшим событием в истории европейских гражданских войн»[5].

От такой оценки был еще очень далек Виктор Гюго, когда переходил от баррикады к баррикаде в июньские дни, пытаясь примирить непримиримое. Но и для него июньское восстание было одной из решающих вех революционного опыта.

1 августа 1848 года Гюго произнес в Национальном собрании большую речь за свободу печати и против ареста писателей. 2 сентября он выступил против объявленного правительством осадного положения, под прикрытием которого генерал Кавеньяк устанавливал в стране военную диктатуру. 15 сентября Гюго в новой речи поднял голос против смертной казни.

В день выступления писателя за свободу прессы, 1 августа, в Париже появился первый номер новой газеты «Эвенман». Девиз ее — «Ненависть к анархии, нежная и глубокая любовь к народу». В редколлегии газеты два сына Виктора Гюго — Шарль и Франсуа Виктор — и два его ближайших друга и последователя — Поль Мерис и Огюст Вакери. Все родные и близкие Гюго принимают участие в газете. Сам он официально непричастен к ней, но это его детище, провозвестник его идей и политических воззрений.

Гюго и его единомышленники озабочены предстоящими выборами. Кто будет президентом республики? Кавеньяк? Ламартин? Оба претендента не оправдали надежд. Палач Кавеньяк ненавистен Гюго. Надо противопоставить ему какого-то другого кандидата. Это должен быть человек демократических убеждений, к голосу которого прислушивалась бы вся Франция. Не подойдет ли для такой роли Шарль-Луи-Наполеон Бонапарт? Его кандидатура уже выдвинута.

Эта загадочная фигура привлекала в те дни взоры многих французов. Племянник Наполеона I Луи Бонапарт уже дважды пробовал совершить во Франции переворот и захватить власть.

Правда, попытки его были плохо подготовлены, имели характер авантюр. Первый раз в 1836 году он пытался захватить власть с помощью страсбургского гарнизона, был арестован и выслан в Америку. Второй раз в 1840 году племянник призвал на помощь тень великого дяди. С громадной помпой высадился он на французский берег в Булони, окруженный своими приспешниками, которые несли знамена с императорскими орлами. На принце была знаменитая треугольная шляпа, а над головой его вился орел (утверждали, что в треуголке принца был спрятан кусок сырого мяса). Эта бутафорская сцена завершилась арестом и тюремным заключением незадачливого претендента.

После революции Луи Бонапарт вышел на свободу. Сторонники представляли его этаким мятежным изгнанником, «демократическим принцем», указывая на то, что в дни заключения он написал книгу о пауперизме (нищете) и заявляет о своих симпатиях к беднякам.

Гюго впервые встретился с Луи Бонапартом на дипломатическом обеде. К нему подвели человека среднего роста и средних лет, медлительного в движениях. Бледное, костлявое лицо с угловатыми чертами, большой длинный нос; прядь волос спадает на узкий лоб.

Принц заговорил, растягивая слова, с легким немецким акцентом. Вежливые безличные фразы, и глаза ничего не выражают, мутные, как будто сонные. Выражение рта не разберешь за густыми усами. Не говорлив и не смотрит в лицо собеседнику. «Может быть, он робок, не уверен в себе?» — думает Гюго.

В конце октября 1848 года, будучи кандидатом на пост президента, Луи Бонапарт посетил Гюго в его новой квартире на улице Тур д'Овернь.

«Я пришел объясниться с вами, — сказал принц писателю. — Скажите, разве я похож на сумасшедшего? Говорят, что я хочу пойти по стопам Наполеона! Есть два человека, которых честолюбец может взять себе образцом, — Наполеон и Вашингтон… Теперь у нас республика, я не великий человек, я не стану подражать Наполеону, но я человек порядочный, я последую примеру Вашингтона. Мое имя, имя Бонапарта, останется на двух страницах истории; одна будет говорить о преступлении и славе, другая — о верности и чести».

И Гюго склонен был поверить «робкому принцу». Если окружить его хорошими советниками, то он, такой неуверенный в себе, станет послушным орудием в их руках. Это все же не Кавеньяк.

Газета «Эвенман» присоединилась к тем газетам и журналам,

которые вели агитацию за Луи Бонапарта. Для многих французов имя племянника Наполеона было могучей приманкой. Особенно большие надежды возлагали на него крестьяне, видевшие в нем прямого наследника императора. Они ждали от него реформ, уменьшения бремени налогов.

«Мелкая буржуазия и пролетариат голосовали en bloc[6] *за* Наполеона для того, чтобы голосовать *против* Кавеньяка… Наполеон был *нарицательным именем* всех партий, соединившихся против буржуазной республики…»,[7] — писал Карл Маркс.

«…Самый недалекий человек Франции получил самое многостороннее значение»[8].

На выборах этот «самый недалекий человек» получил подавляющее большинство голосов. 20 декабря 1848 года Луи Бонапарт был провозглашен президентом и «перед богом и людьми» присягнул республиканской конституции, выработанной Национальным собранием.

Живые — борются (1849–1851)

В зале, где заседает Национальное собрание, холодно. Громадное помещение с балками вместо колонн. «Штукатурка, водяная краска и картон — грустная декорация бедной пьесы».

На трибуну поднимается Тьер. При Луи-Филиппе он был министром внутренних дел и после революции снова идет в гору. «Поистине странно видеть, как этот маленький человек пытается провести своей крохотной ручкой по рычащей пасти

революции», — думает Гюго.

Все пронзительнее звучит тонкий голос Тьера:

— Я не новатор, я не новатор, но в то же время, в то же время (он повышает голос) я не стану защищать некоторые прискорбные традиции, прискорбные традиции (повтор слов — это его ораторский прием), и знаете, почему?

Слова, теории сыплются, как горох.

Правая сторона зала рукоплещет Тьеру. Слева раздаются выкрики, летят язвительные реплики. Но правых больше — они берут верх. Те же люди, что были у власти в годы монархии, верховодят и в республиканском Национальном собрании. Троны падают, кресла остаются. И их занимают бывшие монархические министры и пэры, генералы, финансисты. Они именуют себя «партией порядка», но это те же роялисты, бонапартисты, орлеанисты, а рядом с ними иезуиты, клерикалы, попы. Революция не уничтожила их засилья.

Еще не так давно сам Гюго находился среди умеренных, но месяцы революции равны долгим годам обычной жизни. И Гюго понял, что реакционеры, «бургграфы», засевшие на скамьях Национального собрания, — это мертвецы, они тянут Францию в пропасть.

Живые — борются! А живы только те,
Чье сердце предано возвышенной мечте,
Кто, цель прекрасную поставив пред собою,
К вершинам, доблести идут крутой тропою
И, точно факел свой, в грядущее несут
Великую любовь или священный труд!

Эти строки сложились у Гюго в полночь 31 декабря 1848 года.

В новом, 1849 году он стал гораздо зорче, чем в прошлом. По-прежнему он еще твердит, что далек от всяких партий, но на самом деле все приближается к республиканскому меньшинству, к тем, кто группируется на верхних скамьях слева. Они называют себя обитателями «горы» — монтаньярами. Это гордое название заимствовано у революционеров 1793 года.

Многое изменилось с февраля 1848 года, как будто прошло не десять месяцев, а десять лет. Ламартин уже не сияет, он потускнел, поседел, сгорбился. А Луи Бонапарт из «робкого принца» на глазах превращается в душителя республики. Гюго понял, что его надежды на демократизм нового президента были жестоким заблуждением. На командные должности Луи Бонапарт выдвигает бывших монархических знаменитостей или

беспринципных карьеристов, готовых служить любому режиму.

Вожаки рабочего класса Распайль, Бланки, Коссидьер, Луи Блан в тюрьмах или ссылках после событий 15 мая, после июньских баррикад. Портреты их пригвождены правительством к позорному столбу.

«Все идеи февраля поставлены под вопрос одна за другой, — пишет Гюго в своем дневнике. — Разочарованный 1849 год поворачивается спиной к 1848-му».

Это трагическая весна. Реакционные силы Европы сплачиваются для подавления народных движений. Войска царской России вторгаются в пылающую Венгрию. Пруссия выступает против борцов за общегерманскую конституцию. И республиканская Франция становится в ряды могильщиков революции, присоединяется к коалиции душителей, к тем, кто пушками, штыками, кнутом, шпицрутенами пытается задержать поступательное движение истории. Луи Бонапарт по призыву папы Пия IX посылает республиканские войска на подавление революции в Риме.

Национальное учредительное собрание бесславно закончило свою деятельность. Напоследок оно отвергло закон об амнистии июньским повстанцам.

В мае 1849 года начались выборы в Законодательное собрание. Большинство мест опять у реакционеров, но число левых все же увеличилось. Депутатом избран участник июньского восстания Пьер де Флотт — прямо из тюрьмы — на скамью Законодательной палаты! И Гюго держит в руках новенький депутатский мандат.

Депутатов продолжает волновать вопрос об отношении французского правительства к Римской республике. 11 июня депутат левого республиканского крыла Ледрю-Роллен выступает с обвинением против президента и министров. Президент заслуживает суда, говорит он. Нападение на Римскую республику — это грубое нарушение конституции, его можно рассматривать как нападение на французскую республику. Гюго вместе с левыми поддерживает это обвинение. Но оно отвергнуто реакционным большинством.

Через день после бурных словопрений в палате по улицам Парижа движется тридцатитысячное шествие. Во главе его депутаты левого крыла «монтаньяры».

— Да здравствует конституция! — кричат демонстранты. — Под суд нарушителей!

На бульварах, близ улицы Мира демонстрацию встречают правительственные войска. Ружейные дула направлены на защитников конституции. Гюго потрясен. Последние его иллюзии

развеялись. Где же право? Против закона ополчился грубый произвол. Против справедливости — насилие.

Напрасно некоторые депутаты «горы» призывают к оружию. Парламентское восстание оторвано от народа и не перешло в движение масс.

И снова в Париже объявлено осадное положение. Распущены легионы национальной гвардии, принимавшие участие в демонстрации, арестованы некоторые депутаты собрания и члены рабочих ассоциаций. Ледрю-Роллен эмигрировал из Франции.

В собрании ораторов левой прерывают репликами, гулом, топотом.

Но Виктор Гюго не хочет молчать. 9 июля 1849 года он выступает с речью о нищете, которая продолжает царить в республиканской Франции.

«Нищета — это болезнь, столь же страшная для общества, как проказа для человеческого тела. Но ее можно уничтожить, как уничтожили проказу. Да, это вполне возможно…

Хотите ли вы знать, до чего дошла нищета в Париже в наше время?! Нужны ли вам факты?..»

И Гюго рассказывает о писателе, умершем от голода, о семьях, которые живут в домах, подобных помойным ямам, и спят все вповалку, накрываясь гнилыми отрепьями вместо одеял. Он рассказывает о матери с четырьмя детьми, которые во время холеры рылись в зараженных свалках, они разыскивали там пищу. «Вы не сделали ничего, если народ страдает! — бросает поэт в лицо законодателям и правителям Франции. — …Я заклинаю вас подумать над всем этим!»

* * *

21 августа 1849 года в Париже открылся международный конгресс мира. Виктор Гюго избран председателем.

Взволнованные лица устремлены к трибуне. Корреспонденты быстро что-то строчат в своих записных книжках. Среди представителей прессы два сына поэта — редакторы газеты «Эвенман».

«Придет день, когда пушки будут показывать в музеях, как показывают сейчас орудия пыток, удивляясь, что они могли существовать… — говорит поэт в своей вступительной речи. — И этого дня не придется ждать четыреста лет, ибо мы живем в эпоху, когда время движется быстро…

Еще немного времени — и человек будет обегать землю, как гомеровы боги обегали небо… Еще несколько лет — и

электрический провод единодушия обоймет весь земной шар и охватит вселенную».

Но политики противятся всеобщему миру. Об этом свидетельствует статистика, исследование государственных бюджетов.

«Господа! Мир в Европе длится уже тридцать два года, и за эти годы чудовищная сумма в сто двадцать восемь миллиардов франков истрачена в мирное время на нужды войны…

Эти сто двадцать восемь миллиардов, отданные делу войны, отдайте их делу мира! Отдайте их труду, просвещению, промышленности, торговле, судоходству, сельскому хозяйству, наукам, искусствам и посмотрите, каковы будут результаты… Лицо мира изменилось бы… богатство забило бы ключом, брызнуло бы из всех вен Земли, вызванное дружным трудом людей, и нищета исчезла бы бесследно…»

С цифрами в руках Гюго изобличает лицемерие политиков.

Считается, что страны Европы не ведут войн. А недавняя экспедиция в Римскую республику? А затяжная война, которую ведет Франция в Алжире, захватывая область за областью его земли?

Конгресс мира состоялся. Но мира и согласия нет. В Национальном собрании продолжаются прения по поводу Римской экспедиции.

Депутат Гюго становится все активнее и усиливает свои атаки на «партию порядка».

Он требует скорейшего вывода французских войск из Италии.

15 января 1850 года он выступает против реакционной реформы народного образования, отдающей школы под контроль церкви, и обличает партию клерикалов, наследников инквизиции, врагов прогресса. Но речи не действуют. Реакция усиливается.

В феврале 1850 года в Париже вырубают «деревья свободы», насаженные в первые дни революции. Это символично.

— Мы, роялисты, — истинные устои конституционной республики, — возглашет Тьер. Семнадцать «бургграфов» — комиссия, выделенная большинством Национального собрания, разрабатывает проект закона об уничтожении всеобщего избирательного права.

Несмотря на протест оппозиции, законопроект принят большинством Национального собрания 31 мая 1850 года. Доверие к депутатам окончательно подорвано в народе.

Гюго вместе с меньшинством выступает и голосует против этого закона. Он твердо занял место в рядах левых республиканцев.

За два послереволюционных года поэт прошел большой

политический путь: от расплывчатого либерализма, от примирения с конституционной монархией — к демократическим, левореспубликанским позициям. Бывшие соратники, «умеренные», смотрят на него враждебно, а люди, которых он считал раньше чересчур «крайними», «якобинцами», сделались его друзьями.

Гюго переписывается с изгнанным Огюстом Бланки и по его совету едет в Лилль, чтобы обследовать трущобы, где живут бедняки.

Ужасающие данные собраны писателем о жизни рабочих. Коренной социальный вопрос о бедности и богатстве волнует его все больше. Гюго мечтает о перераспределении материальных благ. Проекты его утопичны, он по-прежнему верит в возможность мирного разрешения социальных проблем, идеализирует буржуазно-демократическую республику. Но одно он видит ясно: народ страдает. Республику душат. Она в опасности. Надо бороться за нее.

Это отверженные поднимают вместе с ним голос против нищеты и насилия. Их интересы защищает писатель, выступая в Национальном собрании.

* * *

Гюго настолько захвачен политической борьбой, что почти совсем оставил работу над романом. Но писатель не отрывается от литературной жизни, по-прежнему в его салоне собираются гости, спорят, обмениваются новостями.

Некоторых из былых друзей он теперь считает противниками. С Мериме, например, Гюго прервал отношения. Мериме — завсегдатай в салоне Луи Бонапарта, дружен с теми, кого Гюго ненавидит как врагов Франции, врагов республики.

Другое дело Жорж Санд или Эжен Сю. Оба они на стороне республиканцев. Эжен Сю избран депутатом и борется в рядах левых.

Если раньше Гюго сквозь пальцы смотрел на политические убеждения своих друзей, то теперь он стал гораздо требовательнее и непримиримее.

Но с Бальзаком, хотя тот и не был республиканцем и даже называл себя монархистом, Гюго никогда не прерывал дружеских отношений. Политические декларации Бальзака шли вразрез с его творчеством. Гюго видел это. Да к тому же с годами Бальзак значительно изменил свое отношение к партии роялистов, называя ее отвратительной. После революции 1848 года он даже

выставил свою кандидатуру в Национальное собрание, но его забаллотировали.

Бальзака не умели ценить по достоинству. Сколько ударов перенес он! Дважды провалили его на выборах во Французскую Академию, предпочитая ему второсортных литераторов, зато герцогов и графов. Гюго возмущался. Сам он голосовал за Бальзака, всячески поддерживал его кандидатуру, но ничего не добился.

В последние годы они встречались довольно редко. Бальзак несколько раз уезжал в Россию. Он, наконец, женился на польской графине Ганской, руки которой давно добивался.

В мае 1850 года он вернулся в Париж совсем больной.

18 августа Гюго сообщили, что Бальзак при смерти. В тот же вечер Гюго навестил его. Он сам рассказал об этой последней встрече.

Гюго провели в комнату умирающего.

«Это была та самая комната, где я был у него месяц тому назад. Тогда он был весел, полон надежд, он не сомневался в том, что поправится, и со смехом показывал свои опухшие ноги».

Но на этот раз все было по-другому.

Бальзак лежал на кровати красного дерева. «Лицо его было лиловым, почти черным, голова повернута вправо; он был небрит, седые волосы его были коротко острижены, взгляд широко раскрытых глаз неподвижен. Я видел его сбоку, и в профиль он казался похожим на императора.

По обе стороны кровати неподвижно стояли двое — старуха сиделка и слуга…

Женщина и мужчина молчали в каком-то оцепенении, прислушиваясь к хриплому дыханию умирающего. Пламя свечи, стоявшей позади изголовья, ярко освещало висевший над камином портрет цветущего улыбающегося юноши…

Я приподнял одеяло и нашел руку Бальзака. Рука была потная. Я пожал ее. Он не ответил на рукопожатие.

…Сиделка сказала:

— Он умрет на рассвете…

Он умер ночью. Ему был пятьдесят один год.

Хоронили его во вторник… Стоя у гроба, я думал о том, что в этой церкви крестили мою младшую дочь и что я не был здесь с того самого дня. В наших воспоминаниях смерть соприкасается с рождением.

На похоронах был министр внутренних дел Барош. В церкви он сидел у катафалка рядом со мной; по временам он обращался ко мне.

— Это был знаменитый человек, — сказал он.

Я ответил:

— Это был гений.

Траурная процессия проследовала через весь Париж и бульварами дошла до кладбища Пер-Лашез. Когда мы выходили из церкви, шел небольшой дождь; он еще продолжался, когда мы пришли на кладбище. Был один из тех дней, когда кажется, будто плачет небо.

Я шел справа от гроба, держа одну из серебряных кистей балдахина. Александр Дюма шел с другой стороны.

Когда мы стали приближаться к могиле, вырытой на высоком холме, мы увидели, что нас уже ждет огромная толпа…

Весь путь мы прошли пешком.

Гроб опустили в могилу, вырытую рядом с могилами Шарля Нодье и Казимира Делавиня. Священник произнес заупокойную молитву, и я сказал несколько слов».

«Бальзак принадлежал к могучему поколению писателей XIX века, которое пришло после Наполеона», — говорил Гюго…

«Бальзак был одним из первых среди великих, одним из лучших среди избранных… Все его произведения составляют единую книгу, книгу живую, блистательную, глубокую, где живет и движется наша современность, воплощенная в образах вполне реальных, но овеянных смятением и ужасом…

Сам того не зная, хотел он того или не хотел, согласился бы он с этим или нет, творец этого огромного и необычайного произведения принадлежал к могучей породе писателей революционных…»

«Пока я говорил, солнце садилось. Вдали в ослепительных красках заката лежал предо мною весь Париж. Под моими ногами осыпалась земля, и слова мои прерывались глухим стуком комьев земли, падавших на гроб».

При выходе с кладбища Виктора Гюго окружила толпа рабочих. Они приветствовали его, каждый хотел пожать его руку.

— Да здравствует Виктор Гюго! — кричали они.

Да, пока он жив, он будет бороться. Гюго чувствует, что сам он тоже принадлежит к могучей породе писателей революционных.

* * *

А враги все наглеют. Карлики, шуты и могильщики, играющие жалкую и страшную пьесу в правительственных палатах, плетут сеть, чтоб удушить республику. Луи Бонапарт

вносит в Национальное собрание проект о пересмотре конституции, о продлении срока своих президентских полномочий. Положение становится угрожающим. Оппозиция вступает и борьбу.

17 июля 1851 года Виктор Гюго поднимается на трибуну.

— …Как! Конституция была принята всеобщим голосованием, а вы хотите упразднить ее, ограничив право голоса!.. — обращается он к собранию. — Что ж, поговорим…

Республика или монархия?.. Настало время поставить этот вопрос ребром… Карты на стол! Выскажемся до конца.

Он напоминает собранию о том, как во все времена монархи обкрадывали народ, подрывали основу его благосостояния.

Кто-то справа выкрикивает:

— А поэтам жаловали пенсии!

Другой голос подхватывает:

— Вы, господин Гюго, сами получали ее из королевской шкатулки!

— Вы хотите, чтоб я изложил факты? Они служат к моей чести, и я охотно сделаю это, — ответил Гюго. — Мне было девятнадцать лет…

— Ах, вот оно что! «Бедняжка была так молода».

В рядах большинства хохот, шум.

Гюго возвышает голос.

— Я принял пенсию, но я не просил ее, — говорит поэт и сообщает собранию, как он потом отказался от пенсии, предложенной ему Карлом X.

Они хотят сбить его хихиканьем, неожиданными выпадами. Нет, не собьют.

— Вы — люди другого века, вы мертвецы, но оставьте же в покое живых!

…Как! Вы хотите восстать из мертвых? Начать все сызнова? Неужели вы утратили память о прошлом… Топните ногой о мостовую, находящуюся в двух шагах от злосчастного дворца Тюильри… и вам явятся на выбор либо эшафот, увлекающий старую монархию в могилу, либо наемная карета, увозящая новых королей в изгнание.

…Вы говорите, никто не помышляет об империи? О чем же тогда свидетельствуют эти оплаченные кем-то возгласы «Да здравствует император!»? Разрешите узнать, кто за них платит?.. Что значит эта смешная и жалкая петиция о продлении сроков президентских полномочий? Что это за продление, скажите, пожалуйста? Это пожизненное консульство. А куда ведет пожизненное консульство? К империи! Господа, здесь плетется интрига. Интрига, говорю я вам. Я вправе ее распутать, и я ее

распутаю… Выведем же все на чистую воду!

Нельзя допустить, чтобы Франция оказалась захваченной врасплох и в один прекрасный день обнаружила, что у нее неизвестно откуда взялся император!

Император. Обсудим его притязания!..

Как, только потому, что у нас был Наполеон Великий, нам придется терпеть Наполеона Малого?

Невообразимый рев зала несется в ответ на эти слова. Собрание прервано на несколько минут.

— Это глумление над республикой! — кричит кто-то. — Вы оскорбляете избранника народа!

Министр внутренних дел Барош вскакивает с места и восклицает:

— Вы наносите оскорбление президенту!

Председатель вторит министру:

— Господин Гюго, я призываю вас к порядку!

— Это еще вовсе не оскорбление — сказать, что президент не великий человек, — отвечает Гюго. — Мы требуем от господина президента не того, чтобы он осуществлял свою власть, как великий человек, а чтобы он ушел от власти, как человек порядочный…

Под перекрестным огнем выкриков он продолжает:

— …Нет! После Наполеона Великого я не хочу Наполеона Малого! Довольно! Надо с уважением относиться к величию! Хватит пародий!

Рев зала усиливается.

— От имени Франции мы протестуем! — кричит министр Барош.

— Наемный клеветник! — вопит кто-то.

К трибуне подбегает разъяренный господин из рядов правых.

— Мы не желаем больше слушать эти рассуждения! Дурная литература ведет к дурной политике. Мы протестуем во имя французского языка и французской трибуны. Несите все это в театр Порт Сен-Мартен, господин Виктор Гюго!

— Вы, оказывается, знаете мое имя? — разводит руками Гюго. — А вот я не знаю вашего. Назовите его.

— Меня зовут Бурбуссон.

— О, это превосходит все мои ожидания, — иронически прижав руку к сердцу, отвечает Гюго.

Под взрыв хохота левой незадачливый Бурбуссон возвращается на свою скамью, а Виктор Гюго снова вступает в словесный бой. Он кончает речь грозным предупреждением:

«Близится час, когда произойдет грандиозное столкновение… По милости упрямых притязаний прошлого мрак снова покроет

великое и славное поле битвы, на котором развертывают свои битвы мысль и прогресс и которое называется Францией. Не знаю, как долго продлится это затмение, не знаю, насколько затянется бой, но я твердо знаю одно и предсказываю и утверждаю это — право не погибнет!»

* * *

Золотятся каштаны и клены. Как хорошо, должно быть, в этот сентябрьский день где-нибудь в лесу или на берегах Бьевры! Но Гюго идет не на прогулку, он направляется в тюрьму Консьержери на свидание с сыновьями. Первым был арестован Шарль. Его обвинили в неуважении к законам Франции за статью против смертной казни, опубликованную в «Эвенман». И июня 1851 года Виктор Гюго защищал его на суде.

— Тебе, сын мой, — обратился он к Шарлю, — выпала великая честь… Гордись тем, что ты, простой солдат-новобранец в лагере борцов за демократическую идею, посажен на ту самую скамью, на которой сидел Беранже. Оставайся неколебимым в своих убеждениях…

Шарля приговорили к шестимесячному тюремному заключению. Скоро за ним в тюрьму последовал и второй сын Гюго, Франсуа Виктор. Его арестовали за статью против закона, отменяющего право убежища, и приговорили к девяти месяцам тюрьмы и двум тысячам франков штрафа. Газету «Эвенман» закрыли, но вместо нее тотчас же начала выходить «Авенман». 18 августа Виктор Гюго поместил в ней открытое письмо к редактору Огюсту Вакери. «Пришел момент, когда свободы трибуны не существует для меня, а свободы печати — для моих сыновей, — писал Гюго. — Знаете ли вы, всю эту осень я каждый день хожу обедать в Консьержери вместе с моими детьми. В наше время неплохо немного привыкнуть к тюремному хлебу.

Но что такое наши личные печали и обиды по сравнению с общими, с теми, которые наносятся республике, наносятся народу. Их я не имею права прощать…»

За публикацию этого письма Огюст Вакери был присужден к шести месяцам тюрьмы. Против газеты затеяли процесс, посадили в тюрьму и Поля Мериса. Теперь они все четверо в Консьержери.

Дом пуст. Жена с дочерью в Виллекье. Они проводят там каждую осень. В начале сентября Гюго тоже ездил туда на могилу Леопольдины, но сейчас он должен быть в Париже на своем посту. Надо быть ко всему готовым.

Он ускоряет шаг. Сыновья ждут. Гюго вспоминает, как почти

четверть века назад он навещал в тюрьме Лафорс узника Беранже. Своеобразный салон — тюремная камера! Может быть, ему самому скоро придется принимать в ней посетителей и гостей. Каждую ночь он ждет налета полиции.

* * *

За окнами серый рассвет. 2 декабря. Что несет этот день? Рука тянется к рукописи на ночном столике. Поработать немного, не вставая с постели. В дверь заглядывает слуга:

— Мосье Гюго, вас хочет видеть депутат Национального собрания Версиньи.

— Пусть войдет.

У неожиданного гостя встревоженное лицо. Почему он пришел так рано? Что случилось?

— Государственный переворот, или, вернее, грандиозное государственное преступление, — говорит Версиньи и торопливо рассказывает о том, что произошло в Париже этой ночью.

Войска заняли Национальное собрание. Арестованы многие депутаты, генералы, министры. Сейчас Париж оклеен листками и воззваниями Луи Бонапарта. Узурпатор сулит народу «истинную демократию» и требует полного повиновения «ответственному главе государства». Предлагает продлить срок своих президентских полномочий до десяти лет.

Группа депутатов левого крыла Национального собрания решила немедленно собраться: надо выработать план действий. Встреча назначена на частной квартире. Гюго, конечно, не откажется прийти?

Версиньи ушел.

Гюго стал быстро одеваться. Итак, государственный переворот. Этого следовало ожидать. Ничтожный племянник решил идти по стопам великого дяди. Повторить 18 брюмера. Удушить республику. Надо действовать! Организовать отпор! Скорей! Немедленно!

На улице не заметно особого оживления. Прохожие небольшими группами собираются около листков с воззваниями, молча читают их и идут дальше, торопятся на работу.

Вот и дом, где назначено место встречи. Все уже собрались. Здесь и Мишель де Бурж, известный оратор левого республиканского крыла. Здесь и Шельшер, депутат Мартиники и Гваделупы, борец за отмену рабства в колониях, и Пьер де Флотт, обветренный морской офицер, участник июньского восстания, и Боден, депутат из провинции, скромный врач, не говорливый,

зато твердый и честный, и еще много знакомых деятелей левого крыла, аплодировавших когда-то обличительным речам Гюго в Национальном собрании. Лица озабоченные. Положение трудное. Армия, полиция, печать, государственные учреждения — все в руках приспешников Луи Бонапарта. Как организовать сопротивление? Гюго берет слово:

— Надо немедленно начать борьбу. Опоясаться депутатскими перевязями и всем вместе торжественно пройти по улицам с возгласами: «Да здравствует республика! Да здравствует конституция!» Появиться перед войсками без охраны и оружия и спокойно потребовать от силы, чтоб она повиновалась закону. Если войска пойдут за нами, отправиться в собрание и покончить с Луи Бонапартом. Если солдаты будут стрелять в законодателей, рассеяться по Парижу, призывать к оружию и строить баррикады… Не терять времени!

Мишель де Бурж возражает:

— Сейчас не 1830 год. Народ безмолвствует. Национальное собрание не пользуется популярностью. Нельзя подставлять себя под картечь. Надо беречь силы. Ни в коем случае не идти сегодня на собрание, назначенное правой на двенадцать часов. Оставаться на свободе и начинать действовать, как только поднимется народ.

Слова Мишеля де Буржа звучат убедительно. Все присоединяются к нему. Подождать. Прислушаться к голосу народа. А сейчас разойтись по городу, установить связи, найти возможность напечатать прокламации, потом собраться снова.

Гюго выходит вместе с депутатом Шарамолем. На улицах людно. Особенно густая толпа на бульваре Сен-Мартен. Много рабочих в блузах. Писателя узнали, окружили.

— Гражданин Гюго, что нужно делать?

— Срывайте беззаконные плакаты и кричите «Да здравствует конституция!».

— А если в нас будут стрелять?

— Тогда беритесь за оружие. У каждого из вас две руки: вооружите одну руку вашим, правом, в другую возьмите ружье и идите на Бонапарта.

Гюго кажется, что он может поднять и повести всю эту толпу за собой. А вдруг это и есть решающая минута?

Спутник кладет ему руку на плечо.

— Что вы собираетесь делать? Это безумие. Безоружная толпа, а там в конце улицы войска. Смотрите!

Действительно, к ним, грохоча, приближается несколько артиллерийских упряжек. Дула пушек. Жестокая реальность.

Когда горсточка депутатов-республиканцев собрались снова, уже стало известно, что созванное правыми в мэрии X округа

большинство Национального собрания бесславно окончило свою деятельность. Оно не проявило боевого духа, не призвало народ к оружию. Жалкие, растерянные законодатели не смогли противостоять войскам и полиции. 220 депутатов арестовано и отправлено в тюрьму: правые — в Венсен, там покомфортабельнее; а те, что левее, — в Мазас. Будут спать на соломе. Верховный суд тоже разогнан. С ним справился один полицейский комиссар. А Государственный совет разогнал привратник.

Что же теперь предпринять им, республиканцам, оставшимся на свободе?

Темнеет — декабрьские дни так коротки! — и еще ничего не сделано. Даже прокламаций не удалось напечатать!

И снова они мечутся по улицам в поисках безопасного убежища, типографии. Заседают, спорят…

Уже совсем темно. Гюго идет по улицам Сент-Антуанского предместья. Он хочет заглянуть в кабачок, хозяин которого Огюст был участником июньского восстания. Гюго спас его тогда от казни. Огюст хорошо знает настроение рабочих, может быть, он даст полезный совет.

— Простые люди не очень-то дорожат конституцией, которую им дала эта республика, — говорит Огюст. — К тому же июнь 1848 года еще не забыт. Бедняки сильно тогда пострадали. Кавеньяк много наделал зла. И теперь женщины цепляются за блузы мужчин, не пускают их на баррикады.

— Если вам понадобится убежище, приходите ко мне, — предлагает Огюст, провожая гостя. — Теперь моя очередь спасать вас.

На вечернем заседании депутатов избран Комитет сопротивления из шести человек: Гюго, Карно, де Флотт, Жюль Фавр, Мадье де Монжо, Мишель де Бурж. Председатель — Виктор Гюго. Продолжаются споры о том, какой способ действия избрать. Иллюзии перемежаются в речах ораторов с настроениями мрачной безнадежности.

Народ молчит. Рабочие предместья не поднимаются. Но, несмотря ни на что, нельзя опускать руки.

Гюго берет слово и коротко обрисовывает положение дел:

— Конституция выброшена в сточную канаву. Опасность растет. Будем и мы расти вместе с опасностью… Требуется великое деяние. Если нам удастся выйти отсюда сегодня ночью, мы должны встретиться завтра в девять утра в Сент-Антуанском предместье.

— Почему в Сент-Антуанском?

— Я не могу поверить, чтобы сердце народа перестало там

биться!

Депутаты договорились собраться на следующий день от девяти до десяти часов утра в зале Руазен и, обратившись к народу, призвать его к оружию.

Глубокая ночь. Гюго лежит в чужой комнате на диване и напряженно прислушивается к стуку проезжающих карет, к бою часов на соседней церкви. Он подходит к окну, отодвигает занавеску. По небу несутся тревожные лохматые облака. Улица пустынна. Что будет завтра? На рассвете потихоньку, чтобы не разбудить людей, приютивших его, он выходит из дому. Хмуро. Ветер. Дребезжат по мостовой военные повозки. На стенах домов белеют свежие листки, очередные указы Луи Бонапарта. Объявлен состав нового министерства. Министр внутренних дел — де Морни. Циничный проходимец с внешностью светского щеголя, сводный брат Луи Бонапарта. И другие ему под стать. Вот кто будет теперь вершить дела в стране!..

Гюго срывает листок и бросает его в сточную канаву.

— И вы поступайте так же, — говорит он собравшимся.

Дом, где живет Гюго, совсем близко. Велико искушение зайти. А что, если рискнуть? Быстро вверх по знакомой лестнице. Адель не спала всю ночь. Приходили полицейские с ордером на его арест, делали обыск, все перевернули в кабинете. Разгром. Похищены некоторые рукописи. Но ему сейчас некогда разбирать бумаги. Обнять на прощанье жену. Увидит ли он ее еще? Дочь будить не надо.

Во дворе собрались испуганные соседи.

— Пока не пойман, — смеясь, бросает им на ходу Гюго.

Быстрее, быстрее. Встретиться с товарищами и вместе в Сент-Антуанское предместье. Мишель де Бурж, Карно и Жюль Фавр дожидаются его в условленном месте. Они уговаривают не идти в зал Руазен. Это выступление обречено на неудачу. Можно ли подставлять себя под пули?

Гюго не вступает в спор.

Он садится в фиакр и едет в Сент-Антуанское предместье. Улицы еще молчаливее, чем вчера. На площади Бастилии выстроились войска. Вот группа офицеров с золотыми эполетами. Довольные собой убийцы отечества! Это они по приказу своего хозяина топчут конституцию.

Гюго вынимает из кармана трехцветную перевязь; размахивает ею, высунувшись в окно фиакра, и кричит во весь голос:

— Луи Бонапарт вовлекает вас в преступление! Слушайте меня! Солдаты! Луи Бонапарт убивает республику. Защищайте ее! Эй вы там, преступник в генеральском мундире! Я говорю с вами.

Мое имя Виктор' Гюго!

Генерал молчит, выпучив глаза. Солдаты и офицеры окаменели от неожиданности. Кучер щелкает бичом, и фиакр мчится дальше. На колокольне бьет девять часов.

Совсем близко звучат выстрелы. Кто-то окликает кучера:

— Стой! Поворачивай назад!

Гюго выходит из фиакра.

Неподалеку на пересечении двух улиц виднеется низенькая баррикада. Ее разбирают солдаты. По улице несут чей-то труп.

Это убит депутат Боден. Он стоял на баррикаде, когда пуля сразила его.

Все произошло совсем не так, как ожидал Гюго. Депутаты собрались раньше условленного часа. К ним присоединилось несколько рабочих. Толпа постепенно увеличивалась.

— Начнем! — слышались нетерпеливые голоса. Но как начинать без оружия? Шельшер с группой рабочих отправился к соседнему караулу.

Солдаты без сопротивления отдали пятнадцать ружей повстанцам. На следующем караульном пункте получили еще пятнадцать. Начали строить баррикаду. Остановили крестьянскую телегу, повалили ее на бок, потом повозку молочницы, хлебный фургон и, наконец, омнибус. Кондуктор присоединился к ним. Мальчишки запасались камнями, разбирали мостовую. Еще не кончили строить, как показались две роты с ружьями наперевес. Семь депутатов во главе с Шельшером пошли войскам навстречу, безоружные, опоясанные трехцветными перевязями. Солдаты в них не стали стрелять, но и не остановились. Пропустив депутатов между рядами, они сомкнулись и продолжали двигаться прямо к баррикаде.

С баррикады раздался выстрел. Один солдат упал. Ответный залп сразил Бодена. Больше жертв не было. Солдаты взяли баррикаду штурмом. Защитники разбежались.

На улице снова пусто. Гибель Бодена не послужила искрой, сигналом к восстанию, не взволновала народ…

В полдень в Париже появились листки с воззванием:

К НАРОДУ

Охрана конституции вверяется патриотизму французских граждан.

Луи Наполеон объявляется вне закона.

Осадное положение отменяется.

Всеобщее избирательное право восстанавливается.

Да здравствует республика!

К оружию!

От имени собрания монтаньяров — депутат Гюго

В это же время по городу расклеивают новые правительственные плакаты:

Военный министр
на основании закона об осадном положении
постановляет:
Всякий, кто будет захвачен за постройкой или защитой баррикады с оружием в руках, подлежит расстрелу.

Положение становится все более опасным. Непрерывное заседание Комитета сопротивления продолжается. С одной квартиры они переходят на другую. За два дня пришлось 17 раз переменить помещение.

С помощью издателя Эмиля Жирардена, старого знакомого Гюго, удалось напечатать и размножить текст декрета об отрешении президента от должности.

Депутаты рассыпались по бульварам и начали раздавать листки с декретом народу.

Казалось, что Париж зашевелился.

* * *

Утром 4 декабря в Комитет сопротивления передали записку от Александра Дюма.

«…Обещано вознаграждение в 25000 франков тому, кто задержит или убьет Гюго. Вы знаете, где он. Пусть он ни в коем случае не выходит на улицу».

Но Гюго не может сидеть в убежище. У него назначены важные встречи.

Он все еще ждет решительного перелома в ходе событий. Волна подымается. Собираются выступить учебные заведения. Студенты-химики и фармацевты готовят порох. Собрано 800 ружей. На улицах Сен-Мартен и Сен-Дени строят баррикады. Гюго садится в фиакр и мчится туда. На первой же баррикаде, он встречает де Флотта. Рано утром здесь была перестрелка, а сейчас затишье. Моросит дождь, защитники баррикад ходят по щиколотку в грязи, здесь же среди луж, на камнях мостовой, и отдыхают. Вот стоит юноша, глаза его лихорадочно блестят. Он болен, но не покинет своего поста.

— Буду драться, пока не убьют, — говорит он.

Видный ученый и литератор Шарпантье первый раз в жизни взял в руки ружье и учится его заряжать. На улице Меле мальчишки без устали подкатывают к строящимся баррикадам булыжники. Особенно усерден один из них, худенький, проворный, веселый и неутомимый, он поспевает всюду.

В центре Парижа улица за улицей покрываются баррикадами. Кое-где идут бои, Но Сент-Антуанское предместье по-прежнему молчит.

После полудня в городе воцарилась странная тишина.

«Вообразите себе Париж в темном подземелье. Людей давил низкий свод. Они были словно замурованы в нежданном и неведомом… Войска по-прежнему молчали, но сабли не вкладывались в ножны, и зажженные фитили пушек дымились на углах улиц. С каждой минутой туча становилась чернее, непроницаемее, безмолвнее. Эта густая мгла была трагична. В ней чуялось приближение катастрофы».

Внезапно по условному знаку кто-то где-то выстрелил, и началась бойня. Войска стреляли не только по баррикадам. Стреляли в безоружных людей. Озверевшие солдаты бросались на прохожих, врывались в лавки, убивали людей прикладами, кололи штыками…

Под градом картечи Гюго спешит туда, к бульварам, где полыхает огонь.

— Куда вы идете? — останавливают его. — Ведь вас убьют. Неужели вы этого хотите?

— Именно этого, — отвечает он. — Быть со всеми. Умереть.

Он вспоминает о смертях, вызвавших когда-то ярость народа, восстания. Может быть, и его смерть принесет сегодня пользу.

Грохот усиливается. Люди мечутся, бегут куда-то. Гюго останавливает знакомый.

— А, вот вы где! Я только что встретил госпожу Друэ. Она разыскивает вас. Она где-то здесь в самой гуще резни.

Огонь не прекращается. Уже три пули продырявили широкое пальто Гюго. Смертельно усталый, он возвращается в свое убежище на улице Ришелье, которое нашла для него Жюльетта. Несмотря ни на что, Комитет сопротивления не должен прекращать своей работы. Может быть, еще не все кончено.

В подъезде его ждет молодой рабочий, делегат от литейщиков.

— Положение не безнадежно, — говорит он. — Сегодня назначена встреча представителей рабочих ассоциаций. Будут совещаться, как бороться дальше. Они просят Гюго прийти в девять часов вечера под арку Кольбера…

В комнате пусто. Жюльетты нет. Неужели ее убили? Где

искать? Вдруг слышится звук ключа в дверном замке. На пороге она.

— Ты здесь? — она бросается к нему и плачет. Плачет от радости, что он жив.

Ей удалось спастись. За ней гнались солдаты, но она успела вбежать в приоткрытую дверь какого-то подъезда и спрятаться. Она принесла с собой завтрак. Надо подкрепиться.

Отдых. Короткий сон. Кошмарные видения: трупы. Мальчик с алой раной на лбу. Плачущая над ним старуха.

Уже поздно. Скорее на место условленной встречи. Вместе с молодым литейщиком он идет в темноте по району баррикад. Они еще не разрушены, но защитников совсем мало. Гюго уговаривают уйти подальше.

— У вас ведь даже нет ружья, господин депутат. Сейчас здесь вам холодно, а скоро будет слишком жарко.

Собрание назначено в лавчонке, превращенной в лазарет повстанцев. Только дощатый забор отделяет это убогое строение от баррикады. Земляной пол. Несколько тюфяков. Хрипят раненые. Около них суетятся старуха и маленькая девочка, щиплют корпию, подают воду. На столе оборванная газета. Гюго развертывает ее и видит большой след чьей-то окровавленной ладони.

В глаза ему бросаются строки:

«Г-н Виктор Гюго опубликовал призыв к грабежу и убийству». Это орган Елисейского дворца. Спутник Гюго, молодой литейщик, вышел узнать, каковы дела. Минуты тянутся.

Наконец литейщик возвращается. Бледный, он останавливается на пороге и говорит:

— Нужно разойтись по домам. Никто не придет. Все кончено. И подумать только, у меня нет ружья!

За стеной раздаются звуки выстрелов. Баррикаду атакуют, а защитников только двое.

— И подумать только, у меня нет ружья… — повторяет литейщик прерывающимся шепотом.

Он задувает свечу. И вовремя. Солдаты уже взяли баррикаду и стучат прикладами во все соседние дома.

— Где эти негодяи красные? Обыскивай!

В конце улицы раздается одинокий выстрел, он спасает притаившихся в лазарете: солдаты бегут в направлении выстрела.

Немало героических защитников баррикад погибло в день 4 декабря. Депутата Дюссу солдаты расстреляли в упор. Убили Шарпантье и многих других. Триста двадцать повстанцев, захваченных и плен, в час ночи отвели колонной на Марсово поле

и там расстреляли всех до одного.

6 декабря после долгих скитаний по Парижу Гюго решил попытаться проникнуть в свое убежище па улице Ришелье. У ворот его ждала Жюльетта.

— Не входи. Тебя выследили. Идем!

Они садятся в первый делавшийся фиакр и едут куда-то. Жюльетта позаботилась об убежище; в доме Монферрье, родственников жены Абэля, Гюго не станут искать: они бонапартисты и не могут быть на подозрении.

11 декабря Жюльетта принесла паспорт на имя некоего Ланвена и билет в Брюссель. Виктор Гюго покинул Париж в чужом платье, под чужим именем.

Часть третья

Не примирение — возмездие! (1851–1855)

Девятнадцатый век вступил во второе пятидесятилетие. Далеко позади осталась молодость с ее романтическими туманами и мечтами, первыми разочарованиями и нарастающими раскатами гроз.

Революционный вал 1848 года смыл позолоту и лак со многих иллюзий, сорвал раскрашенные маски. Лицо века определилось. Жестокое лицо с резкими бороздами алчности.

Определились и главные борющиеся силы буржуазного мира. Уже прозвучал призыв «Коммунистического манифеста» к

пролетариям всех стран. Складывалась революционная теория. Но время последних решительных боев еще не пришло.

В 1852 году Карл Маркс жил в эмиграции в Лондоне. Он недавно закончил свой труд «Классовая борьба во Франции» и теперь принялся за новую работу «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта». Гигантские замыслы не терпели отсрочек, а изгнаннику надо было заботиться о куске хлеба для семьи. На помощь Марксу пришел друг.

Фридрих Энгельс поселился в Манчестере и стал работать в конторе, чтоб регулярно помогать семье Маркса. По вечерам он писал статьи для «Нью-Йоркской трибуны» и других газет, освещая в них освободительную борьбу народов.

Политическим эмигрантом был в те годы и Александр Герцен. В 1852 году он задумал основать в Лондоне «Вольную русскую типографию».

Немало изгнанников из разных стран нашли в эти годы пристанище в туманном Лондоне. Здесь политическая реакция не так сильно давала себя знать, как на континенте. Английское правительство, лавируя между рифами противоречий, стремилось к одному — обеспечить свободу обогащения английским промышленникам, купцам, буржуазным предпринимателям. Показной либерализм содействовал политике «фритрэда»[9].

Подлинной властительницей надменной островной державы, несмотря на всю приверженность англичан к старинным феодальным традициям, была вульгарная госпожа Нажива. Ее рыцари издавна устремлялись во все стороны света. Их манили золотые россыпи Австралии, алмазы Калифорнии, плантации Индии. Английские суда с новыми паровыми двигателями бороздили моря и океаны в погоне за сказочными богатствами далеких земель. Росли награбленные состояния богачей.

Правда о жизни Англии тех лет запечатлелась в книгах ее великих писателей — в грустном смехе Диккенса, в горькой сатире Теккерея.

В 1852 году Чарлз Диккенс писал «Холодный дом», роман о нескончаемом судебном процессе, о ядовитых туманах рутины, предрассудков и корысти, обволакивающих маленьких людей Англии. В следующем романе «Тяжелые времена» Диккенс уже прямо заговорит о бесчеловечном мире, где живых людей стремятся превратить в бездушные автоматы.

Тяжелые времена. Их переживала вся Европа. И, может быть, особенно горьки были они для патриотов Франции. Из центра республиканской мысли Париж превратился в столицу «второй империи».

Недвижимый, полуслепой, медленно умирал в «матрацной

могиле» Генрих Гейне, давний эмигрант, для которого Париж стал второй родиной. Чувство личной обреченности соединялось у поэта с острой горечью гибели надежд. Он все еще пытался улыбаться, но улыбка его больше походила на гримасу боли. Скорбь и боль звучали в прекрасных стихах сборника «Романцеро», созданного Гейне в послереволюционные годы.

Скорбь, боль, мотивы безнадежности все нарастали в произведениях больших французских писателей.

В 1852 году тридцатилетний Гюстав Флобер готовил к изданию «Лексикон прописных истин», печальную и злую сатиру на царство торжествующей пошлости, мещанского скудоумия, ходячей лжи. Флобер уже начал работу над одним из крупнейших своих романов — «Госпожа Бовари».

Французская литература постепенно утрачивала боевой задор и жизнерадостную силу, окрылявшие ее во времена молодости века. Даже старый, но вечно молодой Беранже погрустнел, хотя и не утерял своего сатирического жала.

Все стало вдруг товаром —
Патенты, клятвы, стиль… —

писал Беранже, окидывая взглядом современную Францию.

Почти умолк как писатель Проспер Мериме. Он не стал борцом и разоблачителем, но не сделался все же и певцом «второй империи», хотя был близок ко двору Луи Бонапарта.

Мериме жил двойной жизнью, и главным в ней были поиски красоты, настоящих духовных ценностей. Все больше влекла его русская литература. Еще в молодости Мериме начал изучать русский язык, благоговел перед гением Пушкина, перевел его поэму «Цыганы», перевел «Пиковую даму», а теперь открывал французам Тургенева и Гоголя. В русской литературе была та сила сопротивления, та цельность идеала, та вера в человека, по которой стосковались многие изверившиеся сердца людей Запада.

Но дух сопротивления не угас даже в изверившихся сердцах. Пусть его всячески пытались изгнать и задушить — он был жив в большой литературе Запада.

* * *

Бедно, обставленная комната — рабочий стол, узкая железная кровать, два стула с соломенными сиденьями. За столом человек. Быстрое перо его неустанно движется. Факты, лица, числа, события, боль, гнев, презрение запечатлеваются в

страстных взволнованных строках. Он пишет историю декабрьского переворота во Франции. «История одного преступления» назовет он потом эту книгу. Брови сдвинуты. Губы сжаты. Вокруг рта глубокие складки. В глазах сухой блеск — ненависть, решимость, сосредоточенность. Пережитое наложило печать на весь облик Виктора Гюго.

Иногда он на мгновение отрывает глаза от рукописи. Окно его комнаты выходит на Главную площадь Брюсселя. На этой площади когда-то казнили Эгмонта, и мрачный герцог Альба смотрел на казнь с балкона Ратуши.

Благородную тень Эгмонта воспели Гёте и Бетховен. Дух Эгмонта близок тем, кто борется.

Воля к сопротивлению до конца. Она крепнет в изгнании. Сколько изгнанников и гонимых были и раньше героями поэм, драм, стихов Виктора Гюго! Греческие повстанцы, испанские мстители, гордый Эрнани, непокорный Дидье. И вот теперь он сам гонимый.

«Второго декабря 1851 он стал во весь рост; он в виду штыков и заряженных ружей звал народ к восстанию; под пулями протестовал против coup d'Etat (государственного переворота) и удалился из Франции, когда нечего было в ней делать», — напишет о Гюго Герцен в книге «Былое и думы».

Кажется, никогда раньше Виктор Гюго не чувствовал в себе такой энергии, такой страстной целеустремленности, как теперь.

Он пишет по десять-двенадцать часов в день. Режим дня твердый: от восьми до одиннадцати утра за рабочим столом; потом завтрак. Днем, до пяти, еще несколько часов работы. После обеда встречи с друзьями, а вечером снова за рукописью. Все подчинено единой цели.

Смеркается. Уже пять часов. В комнату заглядывает сын. «Пора обедать!» Они идут в кафе «Тысяча колонн». В обеденные часы там иногда собираются товарищи по изгнанию, их много в Брюсселе. Здесь и Шельшер, и Пьер де Флотт, и другие соратники по декабрьским боям.

По дороге отец расспрашивает Шарля, что он собирается делать в ближайшее время. Старший сын Гюго только недавно приехал в Брюссель, отбыв свой срок в Консьержери. Младший сын и два друга — Мерис и Вакери — все еще за решеткой.

Отец советует Шарлю приняться за работу над историческим очерком Франции послереволюционных лет, К этой работе можно было бы привлечь потом и брата и друзей. Но Шарля больше тянет писать романы в сотрудничестве с Александром Дюма. Маститый писатель охотно привлекает молодых литераторов для работы над исторически-авантюрными романами. На них

большой спрос, а Дюма весь в долгах. Он часто приезжает в Брюссель по делам своих новых изданий, и Гюго узнает от него последние неофициальные парижские новости.

Как настроен народ? Что говорят в салонах, над чем работают писатели? Все эти вопросы волнуют Гюго. Он попросил жену, чтобы она вела в Париже дневник своих встреч и разговоров; ее навещают такие люди, как Беранже, Готье, от них можно узнать многое.

После обеда Гюго обычно наносит визит Жюльетте Друэ, которая тотчас же вслед за ним приехала в Брюссель и сняла комнату неподалеку. «Она спасла мне жизнь. Без нее я бы погиб. Это образец абсолютной преданности, проверенной двадцатью годами, искренней и постоянной», — пишет Гюго жене, оправдывая присутствие госпожи Друэ в Брюсселе.

Под вечер он принимает друзей у себя. Иногда человек тридцать набиваются в его бедную комнату. Разговоры, конечно, о событиях во Франции, о задачах Сопротивления.

Друзья охотно слушают отрывки из новой книги Гюго. Аплодируют особо удачным страницам. Он советуется с друзьями, пополняет свои заметки и воспоминания их свидетельствами. Книга должна быть достоверной.

Рукопись растет день ото дня. Скоро выясняется, что напечатать ее невозможно. Ни один издатель в Брюсселе и Лондоне не берется за это. Книга велика по объему, печатание ее — не только политический, но и коммерческий риск. Издатели не желают разоряться и подвергать себя опасностям.

Но автор не хочет смириться и ждать лучших времен. Он должен действовать немедленно. Если эта книга велика, он напишет другую, меньше объемом, но еще резче и острее. Это будет уже не историческое исследование, не роман, а политический памфлет, страстный, разящий, убийственно едкий и гневный.

Гюго без промедления принимается за новую работу. Материалы и источники те же, они под руками. Темпы еще ускоряются. «Моя книга подвигается. Я ею доволен, — пишет он жене в конце февраля 1852 года. — Я прочел друзьям несколько страниц, они произвели большое впечатление. Думаю, что это будет чувствительным воздаянием разума грубой силе. Чернильница против пушек. Чернильница сокрушит пушки».

Главный удар Гюго сосредоточивает на фигуре Луи-Наполеона Бонапарта. Разоблачить преступление перед Францией, совершенное им и мерзкой сворой его приспешников. «Пришлось связать эту одержимую, эту Францию, и Луи Бонапарт надел ей наручники. Теперь она под арестом, на тюремном пайке,

посажена на хлеб и на воду, наказана, унижена, связана по рукам и по ногам… С одной стороны — целая нация, первая из наций, с другой стороны — один человек, последний из людей… О! Какой невыносимый позор!.. И вы говорите, что это будет продолжаться! Нет! Нет! Всей кровью в наших жилах клянемся — нет, этого не будет!»

Гюго надеется, что его огненное слово заклеймит негодяев и зажжет массы решимостью к отпору. В пылу разоблачения он не замечает того, что «ничтожнейший человек» вырастает в его памфлете до грандиозных размеров.

Гюго видит монархистов и клерикалов, стоящих за спиной Луи Бонапарта, но он не замечает того, что и подлинные хозяева Франции: финансисты, промышленники-буржуа крупные и мелкие потворствовали государственному преступлению и тем самым сделались его соучастниками.

Через некоторое время Карл Маркс, готовя ко второму изданию свой труд «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта», укажет в предисловии на слабые стороны памфлета Гюго: «Виктор Гюго ограничивается едкими и остроумными выпадами против ответственного издателя государственного переворота. Самое событие изображается у него, как гром среди ясного неба. Он видит в нем лишь акт насилия со стороны отдельной личности. Он не замечает, что изображает эту личность великой вместо малой, приписывая ей беспримерную во всемирной истории мощь личной инициативы»[10].

Разоблачая Луи Бонапарта, Виктор Гюго не вскрыл корней бонапартизма. И все же памфлет имел огромное агитационное значение. Написанный с великолепным литературным мастерством, дышащий гневом, страстной ненавистью, он звал к сопротивлению, к борьбе, к революционному отпору.

1 июля Гюго пишет жене:

«…Как раз сегодня в Лондоне начала печататься моя книга. *Никто не осмелился ее купить;* ее печатают — только на это и хватило английской отваги. Она выйдет в свет 25 июля и будет называться „Наполеон Малый“. По объему она такая же, как „Последний день приговоренного к смерти“… „Историю второго декабря“ я опубликую позже. Я был вынужден отложить ее, но не хотел, чтобы Бонапарт воспользовался этой отсрочкой. Надеюсь, что „Наполеон Малый“ понравится вам всем. Это одно из лучших моих произведений».

Гюго просил друзей никому не рассказывать о готовящейся книге. Пусть она появится неожиданно, разорвется, как бомба, и сокрушит негодяя, который уже подобрался к императорскому трону. Но тайна не соблюдена. Слишком многие в Бельгии

слышали о замысле Гюго. Слухи о сатирическом памфлете просочились и во Францию.

Атмосфера вокруг изгнанника становится все более тревожной. Луи Бонапарт уже обращался к бельгийскому королю, выражая недовольство, что под его крылом нашел приют враг французского правительства. Бельгийские власти заявили Гюго, что его пребывание в Брюсселе дольше трех месяцев нежелательно. И он решил, не дожидаясь официального указа о высылке из Бельгии, покинуть эту страну и переселиться на остров Джерси, самый крупный из островов Ламаншского архипелага, находящийся под протекторатом Англии. Там, на Джерси, соединится вся семья изгнанника.

В парижской квартире Гюго на улице Тур д'Овернь назначена распродажа вещей. А в Брюсселе друзья устраивают писателю теплые проводы. На банкет собрались все ссыльные.

31 июля Гюго с сыном отбывают из Брюсселя.

«К трем часам дня, когда я поднимался на палубу „Равенсбурга“, отплывавшего в Лондон, огромная толпа людей заполнила набережную, женщины махали платками, мужчины кричали: „Да здравствует Виктор Гюго!“ Я, да и Шарль тоже не могли сдержать слез. В ответ я воскликнул: „Да здравствует республика!“, что вызвало новый взрыв приветствий.

В эту минуту пошел проливной дождь, но он не рассеял собравшихся. Все оставались на набережной, пока не отплыл пакетбот. В толпе виднелся белый жилет Александра Дюма…»

Пакетбот «Равенсбург» рассекает океанские волны. Виктор Гюго ходит по палубе, следит за полетом чаек, вдыхает соленый запах моря. Скоро покажутся вдали берега Франции. Поэт складывает «Песню плывущих за море». Ее можно петь на старый бретонский мотив:

Прощай, мой край!
Все грознее прибой.
Прощай, мой край
Голубой!

«Скалы, прерии, облака и море, море», — это первое впечатление Гюго от острова Джерси. Вдали виднеется берег Франции, как облако, как будущее, как мечта…

Каждый день Виктор Гюго бродит у моря и смотрит на этот далекий, подернутый дымкой родной берег. Ветер. Ветер гонит волны. Море пенится, начинается шторм.

Безмерный океан с тобою схож, народ!

И кротким может быть и грозным облик вод.

Ветры не уймутся. Прибой неизбежен. «Постараемся же уподобиться этим ветрам, волнующим океан», — думает поэт.

Ему вспоминаются недавние беседы с Герценом, Мадзини, Лайошем Кошутом. По дороге из Бельгии на Джерси Гюго останавливался в Лондоне, чтобы встретиться с изгнанниками — борцами из других стран. Да, есть в Европе большие, настоящие люди, которые верят в будущее, в революцию, в народ. Александр Герцен, человек из далекой России, кажется Виктору Гюго соотечественником: у них общее отечество — республика будущего.

С Джузеппе Мадзини Гюго уже и раньше обменивался письмами, а теперь, в Лондоне, смог, наконец, пожать его руку. Они договорились действовать сообща. Гюго уверен, что главная задача европейской демократии в этот момент — борьба с Бонапартом, восстановление французской республики.

Все лондонские изгнанники с нетерпением ждали выхода памфлета «Наполеон Малый».

Книга теперь уже вышла. Бомба брошена, но она не сокрушила реакцию. Подкупы, демагогия, посулы мерзкой клики — и вот пигмей взобрался на императорский трон. Клятвопреступник, предатель, убийца носит корону Франции и именует себя Наполеоном Третьим.

Перед глазами поэта проплывают страшные видения. Четвертое декабря, разгул распоясавшейся военщины.

Отменим право, честь! Долой закон! Вперед!
Чтоб на бульварах кровь потоками хлестала,
Чтобы для мертвецов носилок не хватало!

Преступление совершилось. И что же?

Страх и молчание господствуют. Конец.
Будь славен, цезарь-вор и император-лжец!

Под шум волн, под гудение ветров рождаются все новые и новые строки, напоенные гневом и болью, скорбью и ненавистью. Разящие, клеймящие, хлещущие стихи «Возмездия». Он должен пригвоздить к позорному столбу убийц и насильников, предателей, душителей свободы. Исхлестать их бичом. Сорвать с них личины, чтобы во всем своем отталкивающем уродстве предстали они перед глазами современников и потомков.

Вот богохульный епископ, изрыгающий хвалу гнусным злодеяниям; в дароносице его алеет не вино, а кровь жертв.

Вот наглый пьяный сброд, подонки, дорвавшиеся до власти, провозглашают свой порядок:

Да здравствует клинок! Прочь право! Прочь наука!
Ведь что такое мысль? Развратнейшая сука!
Вольтера — в конуру! На каторгу Руссо!

Поэт призывает убийц явиться на очную ставку с их жертвами:

Восстаньте, мертвые, чтобы назвать убийц!

Кто же убийцы? Священник с крестом, судейский в мантии. Они — пособники палачей, они умерщвляют разум, совесть, честь и славу Франции.

А вот и главарь разнузданной банды, коронованное ничтожество:

Его бы в кандалы покрепче заковать,
Да на галеры, в трюм, чтоб сгнил там на работе
Принц мельхиоровый в фальшивой позолоте!
А он над Францией поднялся весь в крови,
И «императором» его теперь зови!
Он крутит кверху ус, что стрелкою отточен.
И как ему никто не надает пощечин,
Не даст ногой пинка и из дворца Сен-Клу
Не выметет метлой, запачкав ту метлу!

К народу взывает поэт. О его судьбе он скорбит.

Никогда раньше стихи Виктора Гюго не звучали так широко, призывно. Он сам чувствует это. Силы крепнут в борьбе живых. Рождаются неслыханные ранее во французской поэзии сочетания слов. Слова подчиняются ему беспрекословно, сокровищница их все богаче, кажется, она необъятна. Звонким строем движутся в бой кованые строки. Здесь разные роды войск — и сатира, достойная Ювенала, и песенки в духе Беранже, и речи трибуна, и боевые призывы.

Поэт верит… Ветры не перестанут волновать океан; Вольное дыхание не замрет в груди народов.

Море шумит. Ветер гонит волны. Темнеет вдали полоса родного берега. Здесь, на Джерси, есть скала изгнанников, с ее

вершины особенно хорошо виден берег Франции.

О родина! Когда без силы
Ты пред тираном пала ниц,
Раздастся песня из могилы
В ответ на стоны из темниц!

Изгнанник, стану я у моря,
Как черный призрак на скале,
И, с гулом волн прибрежных споря,
Мой голос зазвучит во мгле.

И эти яростные звуки
Вокруг сиянье разольют,
Как чьи-то пламенные руки
Мечами сумрак рассекут.

И верю: откликами встретят
Набат моих суровых слов;
Когда ж живые не ответят, —
Восстанут мертвые на зов!

Книга «Возмездие» была крупнейшим поэтическим завоеванием Виктора Гюго. Здесь сплавились воедино реалистическая и романтическая стихии его творчества, сатира и героика, уничтожающий смех и высокая патетика.

Он стремился к тому, чтоб стихи его были понятны массам; выражали их чувства. Живая речь улицы сливается с традиционным языком поэзии. Крепкое бранное слово сочетается с мифологическим образом; призывная ораторская интонация соседствует с озорным мотивом народной песенки.

В этой книге Гюго пошел значительно дальше в разоблачении и срывании масок, чем в памфлете «Наполеон Малый». Взгляд его на события стал глубже и проницательнее. Он клеймит душителей Франции, продажных корыстолюбцев, рвущихся к власти и барышам, топчущих народ, позорящих родину. И главарь этой «банды» уже не грандиозная личность, а жалкий шут, напяливший императорскую корону.

Стихи «Возмездия», родившиеся как непосредственный отклик на события своего времени, не ушли в прошлое вместе с этими событиями. Стихи Гюго вдохновляли последующие литературные поколения Франции.

Через полстолетия стихи «Возмездия» охотно перечитывал В. И. Ленин.

Виднейший деятель Французской коммунистической партии Марсель Кашен считает «Возмездие» одной из самых блестящих сатир, какие были созданы в мировой поэзии всех времен.

* * *

Раннее утро. Часы тишины и свежести. Все в доме еще спят, а он стоит у своего пюпитра и пишет. Пишет быстро, почти без помарок. Стихи сложились у него в голове во время вчерашней прогулки у моря.

В открытое окно влетает свежий ветер и шевелит бумаги на столе. Дом, в котором поселилась семья Гюго, называется Марин-террас. На Джерси все дома имеют свои названия. Белый домик в форме куба. Терраса смотрит на море. В маленьком саду распускаются цветы. Джерси — это остров роз. Розы здесь всюду.

Дом просыпается. За стеной раздаются звуки фортепьяно. Это юная Адель. Она, как только встанет, сразу же за музыку.

В одиннадцать утра семья собирается за завтраком: поэт, его жена, два сына, дочь и Огюст Вакери, который добровольно разделяет с ними изгнание. Он как бы занял в семье место своего погибшего брата, мужа Леопольдины.

Госпожа Гюго с тревогой глядит на дочь. Как Дэдэ бледна и грустна! Ей, бедняжке, невесело в ссылке: ни общества, ни подруг, ни развлечений, ничего, кроме фортепьяно. И младший сын тоже сумрачен. Он позже всех приехал на Джерси, задержался в Париже, не хотел расставаться со своей подругой, актрисой варьете, и привез ее с собой сюда. Отцу пришлось пустить в ход все свое умение разговаривать с женщинами, чтобы убедить мадемуазель Анаис, что она вовсе не создана для ссылки. И она уехала. Франсуа Виктор был в отчаянии. Потом немного успокоился, начал работать над историей острова Джерси и переводить на французский язык Шекспира.

Все в их семье пишут. Шарль пишет романы, Огюст Вакери — стихи, юная Адель — дневники, а госпожа Гюго принялась за книгу о жизни своего мужа. Ведь она самый близкий свидетель его жизни. По утрам за завтраком она обычно расспрашивает его, он рассказывает ей о своем детстве, юности, и она сразу же делает заметки. Кроме того, она пользуется письмами, воспоминаниями близких и своими собственными. Эта работа займет у нее немало лет, она и не хочет слишком торопиться.

После завтрака Гюго отправляется на прогулку. К нему обычно присоединяется Жюльетта Друэ или сын Шарль с фотографическим аппаратом. В солнечные дни они делают

снимки. И отец и сын увлекаются фотографией.

Виктор Гюго одет просто. Широкополая летняя шляпа надвинута на лоб, легкое пальто перекинуто через плечо. Они идут по дорогам-аллеям Джерси. Кругом фруктовые сады, огороды, каждый клочок земли заботливо возделан. Вот и Сент-Элье, главный город острова. Узкие улицы. Островерхие дома. Звучит ломаная французская речь вперемежку с английской — своеобразное местное наречие. Коренное население островов Ламаншского архипелага — бретонцы, но бретонцы англизированные. В городке есть своя знать, несколько десятков «благородных семейств» — местные блюстители нравов. Их явно шокирует образ жизни и внешний вид обитателей Марин-террас. Какие только слухи не ходят о поэте на этом гостеприимном острове! Рассказывают, что он пьяница, сумасшедший, что под рединготом он прячет горб. Женатый человек ходит на прогулки с посторонней дамой; в церкви не бывает, воскресных дней не соблюдает, дружит с какими-то подозрительными лохматыми ссыльными, а местной знати не наносит визитов.

«Для англичан я choking, excentric, improper[11], — пишет Гюго в дневнике. — Я завязываю галстук не по правилам. Я хожу бриться к цирюльнику на угол… это, по здешним воззрениям, пристало бы workman'y (рабочему) — то, что вызывает у англичан наибольшее презрение. Я нападаю на смертную казнь — это нереспектабельно; я говорю лорду мосье — это нечестиво, я не католик, не англиканец, не лютеранин, не кальвинист, не иудаист, не методист, не мормон[12]… следовательно, я атеист. К тому же француз, что омерзительно, республиканец, что гнусно, ссыльный, что отвратительно, побежденный, что позорно. И наконец — поэт, что увенчивает все это. В результате популярности мало».

Конечно, говоря об отношении к нему англичан, Гюго имеет в виду не обитателей рыбацких хижин — с ними он в дружбе! — а чванные семьи местной знати.

В Сент-Элье издается газета «Человек». Это орган ссыльных. Их на Джерси более трех сотен. И большинство живет в горькой нужде. Ни работы, ни перспектив в будущем. Гюго помогает им. Он организовал кассу взаимопомощи и внес туда гонорар, полученный за книгу «Наполеон Малый». Всеми силами старается поэт поддерживать в ссыльных бодрость и чувство единения. Но объединить их крайне трудно. Далеко не все они республиканцы, есть среди них и роялисты, и христианские социалисты, и последователи Прудона, и, что хуже всего, встречаются порой люди без всяких убеждений, ищейки и предатели, подкупленные Луи Бонапартом и маскирующиеся под изгнанников.

Гюго убедился в этом после истории с неким Юбером. Оборванный, голодный Юбер внушал всем жалость. Он бил себя в грудь, клялся в верности республике, поносил Луи Бонапарта. Ссыльные помогали ему, выделяя по семь франков в неделю из кассы взаимопомощи. И что же! Юбер оказался шпионом, подосланным французскими полицейскими властями.

Единодушия нет в рядах изгнанников. Два общества, организованные ссыльными Джерси — «Фратернель» и «Фратерните», — постоянно враждуют между собой. Гюго держится в стороне от этих распрей, но деятельно участвует в жизни ссыльных. Он выступает на торжественных собраниях в честь памятных дат, произносит речи на похоронах. Его выступления публикует газета «Человек», их перепечатывают потом в прессе многих стран Европы, но, конечно, не во Франции.

После провозглашения Луи Бонапарта императором Наполеоном III Гюго обратился с декларацией к народу Франции. От лица республиканцев он объявил узурпатора вне закона и призвал французских граждан, достойных носить это высокое звание, держать оружие наготове и ждать часа. «Час придет!»

«Проклинать тиранов — это значит благословлять народы, — говорил поэт на похоронах ссыльной Луизы Жюльен. — Будущее принадлежит народам!»

* * *

Белый домик на берегу моря иногда навещают гости из Франции. В сентябре 1853 года на Джерси приехала Дельфина Жирарден. Она похудела, поблекла, стала почти прозрачной: у нее рак желудка. Но Дельфина не любит говорить о болезнях, держится бодро и по-прежнему в курсе всех новостей. С особым оживлением рассказывает она о том звучании, которое имеет в Париже памфлет «Наполеон Малый». Запрещенную книгу передают тайком из рук в руки. Многие провозившие ее контрабандой через границу пострадали. Власти неистовствуют, но книга живет и делает свое дело.

Рассказывает гостья и о жизни парижских салонов. Там теперь новое увлечение — стучащие столики, разговоры с «духами». Гюго смеется. Но Дельфина настаивает на том, чтобы устроить «сеанс» столоверчения в Марин-террас. Некоторое время семья поэта занимается по вечерам этой игрой. Столик выстукивает имена философов, библейских персонажей, афоризмы, стихи, и удивительно: все призраки и «духи»— даже валаамская ослица! — прекрасно изъясняются по-французски и

говорят афоризмами и стихами, которые звучат совершенно в манере Гюго. А когда он не принимает участия в сеансах, «духи» умолкают. Эта особенность «духов» поражает мадемуазель Дэдэ. Игра, тешившая фантазию поэта, прекратилась после того, как госпожа Гюго резонно заявила, что подобные сеансы вредны для нервов их дочери.

Тени прошлого оживают под пером поэта и без мистических выстукиваний. Гораздо больше, чем загробные призраки, волнуют его дела живых.

В ноябре 1853 года вышел в свет сборник «Возмездие». Он издан одновременно в Брюсселе и Лондоне. Во Францию книгу переправляют верные люди, рискуя свободой и головой. Эта книга не только обвинительный акт — это струя озона в затхлой атмосфере второй империи. Мужественные, трепещущие жизнью, страстью, яростью и любовью стихи Гюго противостоят камерной поэзии, культивируемой в салонах. Там плодятся стихи-безделушки, изящные и холодные «Эмали и камеи». Так назвал свой новый поэтический сборник Теофиль Готье.

Пламенное искусство автора «Возмездия» вступает в бой с чахоточным «искусством для искусства».

* * *

11 февраля 1854 года Гюго пишет открытое письмо английскому государственному деятелю — лорду Пальмерстону. Поэт протестует против смертной казни, совершившейся на соседнем острове Гернсее. Подробности казни ужасны. Осужденной дважды срывался с виселицы, палачу пришлось силой тащить его в петлю, агонизирующего, сопротивляющегося, полуживого.

«…Если вашей целью было вызвать крик ужаса, она достигнута… — пишет Гюго. — Прекрасно. Продолжайте. Пусть люди увидят, как действуют представители старого мира». И он обрушивается на этот старый мир. «Раз отжившее так упорно сопротивляется, постараемся внимательнее его рассмотреть. Взглянем последовательно на все его воплощения: в Тунисе — это кол; у царя — это кнут; у папы — это оковы; во Франции — это гильотина; в Англии — это виселица; в Азии и Америке — это торговля рабами. Но все это исчезнет…

Берегитесь. Будущее приближается. Вы считаете живым то, что умерло, и считаете умершим то, что живо. Старый мир еще стоит на ногах, но говорю вам, он мертв».

Английские парламентарии обеспокоены. Выступления

джерсейского изгнанника, подхваченные прессой многих стран, вызывают резонанс, совершенно нежелательный для властителей Европы.

27 сентября 1854 года Гюго произносит надгробное слово на похоронах изгнанного из Франции республиканца Феликса Бони.

«Он был рабочим. Болезни, безработица, труд за ничтожную плату, эксплуатация… нищета — он прошел все семь кругов ада, уготованного пролетарию… Он умер, умер от тоски по родине…»

Перед открытой могилой соратника поэт призывает живых собрать силы для борьбы и бросает взгляд на события, которые происходят в мире. Франция и Англия заключили союз, они ввязываются в Крымскую войну. А что же тем временем делают деспоты — русский царь и французский император?

«В то время как в угоду им и по их вине тысячи людей умирают на смрадных подстилках в холерных бараках… в то время как взрываются пороховые башни и корабли, объятые огнем, гибнут в пучине, а покойницкие русских госпиталей завалены трупами… целые полки гибнут и тают, что делают в это время оба монарха? Один наслаждается прохладой в своем летнем дворце, другой наслаждается морскими купаниями в Биаррице.

Нарушим этот сладостный покой!..

О народы! Наш долг — неумолчно повторять грозный, мрачный обвинительный акт!»

Крымской войне посвящает Гюго свою речь 29 ноября 1854 года.

«Истребление — вот боевой клич этой войны. В одной только пресловутой траншее гибнет по сто человек в день. Рекой льется кровь человеческая… Вчера Севастополь был раной, сегодня он — гнойная язва, завтра он станет раковой опухолью и пожрет Францию, Англию, Турцию и Россию. Вот она, Европа королей! О будущее, когда ж ты дашь нам Европу народов?»

Идут месяцы, годы изгнания, а с маленького островка, находящегося под протекторатом Англии, неумолчно звучит голос обвинителя деспотов и палачей. Но особенно встревожились и королева, и лорды, и депутаты английского парламента в апреле 1855 года.

В Англию с визитом к королеве Виктории прибыл Наполеон III. И чем же его встретили на границе соединенного королевства? В Дувре на стенах зданий, на заборах белели листки с декларацией:

«…Зачем вы сюда явились?.. Кого вы собираетесь оскорбить? Англию в лице ее народа или Францию в лице ее изгнанников? Мы уже похоронили их девять только на Джерси…

Что вы принесете с собой в эту страну? Это страна Томаса Мора… Шекспира, Мильтона, Ньютона, Уатта, Байрона, и она не нуждается в образчике грязи с бульвара Монмартр…» И далее идут обличения преступных действий императора французов. Вот так встреча! Английские полицейские сбились с ног, срывая эти листки. На заседании парламента уже ставился вопрос о поведении Гюго.

В октябре 1855 года королева Виктория нанесла ответный визит Наполеону III. По этому поводу в газете ссыльных Джерси «Человек» напечатан сатирический памфлет в форме письма к королеве. «Благородные семейства» острова Джерси в негодовании. Благонамеренные подданные английской королевы устраивают на Джерси митинг.

— Долой красных! — кричат они. — Разгромить редакцию!

Губернатор острова отдает приказ о немедленной высылке редактора газеты и его сотрудников. Работники редакции ночью тайком грузят в тележку и прячут в безопасном месте драгоценные рукописи. Газета все-таки выйдет! Свежий номер запрещенной газеты «Человек» с открытым письмом Виктора Гюго. Поэт протестует против произвола деспотов. К его подписи присоединяются еще тридцать три имени ссыльных.

На этот раз власти не склонны мирволить. 27 октября 1855 года в белом домике на берегу моря появляется констебль в сопровождении двух офицеров.

— По указу губернатора ваше дальнейшее пребывание на острове невозможно, — заявляют полицейские Виктору Гюго.

Третье изгнание!

31 октября поэт с младшим сыном покидает Джерси и держит путь на остров Гернсей. Остальные члены семьи присоединятся к ним через несколько дней.

На островах Ламаншского архипелага, в Лондоне, в Глазго вспыхивают митинги протеста. Виктор Гюго благодарит английский народ за это выражение симпатии и солидарности с изгнанником.

Солдат прогресса (1855–1865)

Океанские валы захлестывают борта корабля. Качка. Жестокий ветер. Холодный дождь. Черный туман. Даже трудно различить в этом тумане берег, к которому они приближаются. Остров Гернсей. Старинное место ссылки. В порту теснятся корабли. На пристани толпа народу. Эти люди, несмотря на дождливый день, пришли встречать писателя-изгнанника. Они стоят молча. Но когда он проходит среди них, обнажают головы в знак приветствия.

Суровый и радушный Гернсей — остров в форме треугольника. «Гранит на юге, песок на севере; здесь крутизна,

там — дюны; покатая равнина с волнистой грядой холмов, вздыбленные скалы… Зимой здесь почти столько же цветов, что и летом… Тучная, плодородная земля, полная соков…

Но не все побережье Гернсея пленяет взоры, в иных местах он просто страшен. Западная сторона его оголена шквалами. Там высокий прибой, там штормы, обмелевшие бухты, залатанные лодки, поля под паром, пустоши, лачуги… тощие стада, просоленная низкая трава — угрюмая картина безысходной нищеты…» Порт Сен-Пьер, главный город Гернсея, раскинулся по холмам; овраги превращены в улицы; островерхие крыши, уступы, лесенки, колокольни. На главной площади — статуя безыменного «золотого короля».

Поэт с семьей поселился в старинном жилище английского корсара. Трехэтажный деревянный дом на вершине скалы. Отсюда расстилается широчайшая панорама. Внизу — порт, мачты кораблей, флаги всех стран; до самого горизонта — море, виднеются очертания всех островов Ламаншского архипелага. Неба и моря здесь гораздо больше, чем земли. Тучи и лазурь. Ветры и туманы. Штормы и бури. То и дело рассказывают о крушениях, о погибших кораблях.

Гюго, как и на Джерси, совершает долгие прогулки по берегу. Знакомится с местными рыбаками, подолгу беседует с ними. Дыхание океана настраивает на эпический лад. В эпических сказаниях и легендах народов мира их вековая борьба олицетворена в образах героев. Это поэтическая история. Гюго тоже хочет отдать ей дань — создать обширный цикл поэм из истории человечества. И этот замысел начинает претворяться в жизнь.

Все многострунее становится его лира. Рокочет медная струна «Возмездия», поют, звенят, стонут элегические струны «Созерцаний», и вот теперь зазвучали торжественные эпические лады поэм.

Лирический сборник «Созерцания» готов к печати. Книга эта не имеет такого политического звучания, как «Возмездие», поэтому ее не боится принять и парижский издатель Паньер. Одновременно книга издается в Брюсселе у Этцеля.

Тщательно, придирчиво, яростно, неустанно работает Гюго над корректурами. Его поверенные и помощники — Поль Мерис в Париже и Ноэль Парфэ в Брюсселе — изнемогли, выполняя бесконечные требования и указания автора. Каждая строка должна сверкать подобно алмазу! Он не скупится на обширные письма, спорит, доказывает, дает подробнейшие объяснения по поводу отдельных слов, грамматических оборотов, датировки, мельчайших деталей верстки, набора.

Весной 1856 года сборник «Созерцания» вышел в свет. Тираж разошелся чрезвычайно быстро. Сразу же следует думать о дополнительном издании. Успех большой — и у широкой публики и у литераторов. В первую часть сборника, посвященную прошлому, вошли многие стихи, написанные еще в 30-е и 40-е годы. У поэта, в его сундуках, всегда есть большой запас неизданных рукописей, и среди них немало поэтических перлов. Вошел в «Созерцания» и цикл стихов на смерть дочери, он отличается особенной задушевностью.

На гонорар, полученный за сборник, Гюго купил у хозяина тот самый дом, в котором они поселились. Дом называется Отвиль-хауз. Местные мастера — плотники и столяры принялись за перестройку его по планам и рисункам нового хозяина. На следующий год Гюго ждет в гости друзей из Парижа. Он хочет видеть их, говорить с ними, уже столько лет ему приходится довольствоваться письмами.

* * *

Письма к нему летят со всех концов Европы. Писатели, историки, поэты, политики присылают Гюго на Гернсей свои новые книги, делятся с ним планами, сообщают последние новости.

Историк Мишле написал обширный труд о религиозных войнах — необходимо прочитать и отозваться. Эжен Сю из романиста превратился в историка-публициста, Гюго горячо аплодирует его новой книге.

Ламартин от поэзии перешел к прозе. Гюго просматривает довольно объемистые выпуски его «Курса литературы».

Некоторые страницы тревожат, вызывают недоумение и отпор. Не об авторе ли «Возмездия» так неприязненно отозвался Ламартин в одной из своих «бесед», не называя его по имени? Гюго просит объяснений.

Да. Их пути решительно разошлись. Певцу примирения враждебен дух возмездия. Но не все французские писатели примирились. Лучшие из них сопротивляются.

Гюстав Флобер прислал старшему собрату на отзыв новый роман «Госпожа Бовари». Гюго давно знаком с Флобером, много раз встречался с ним в литературных салонах Парижа. Высокий человек с неспешными движениями, с проницательным взглядом грустных глаз. Замечания его всегда отличаются тонкостью и многозначительностью. Он ненавидит фальшь, пошлость, браваду.

Роман «Госпожа Бовари» строится на пристальном анализе обыденной жизни, обыденных чувств.

По творческой манере Флобер далек от Гюго. Он чуждается публицистики, прямых вторжений автора в повествование, стремится быть предельно объективным. Факты говорят сами за себя. И все же позиция писателя ясна. Его книга — обвинение миру пошлости, растлевающему живые чувства, принижающему человеческое в человеке.

Гюго узнал о том, что Флобера травят во Франции за его роман. Власти привлекли писателя к суду исправительной полиции за «оскорбление религии и нравственности».

«Вы принадлежите к тем горным вершинам, которые сотрясаются всеми ветрами, но которые ничто не в силах сокрушить. Всем сердцем с вами», — пишет Флоберу Гюго.'

Литературные вкусы и взгляды Виктора Гюго широки. Он вовсе не требует, чтобы все были романтиками, писали в одной какой-то манере. Он всегда восхищался и теми писателями, которые далеки от него по стилю и приемам, если их книги действительно несут в себе новое, значительное, если они талантливы и служат делу прогресса.

30 августа 1857 года Гюго снова обращается к автору «Госпожи Бовари»: «Вы написали превосходную книгу, сударь, и я счастлив сказать вам это. Мы связаны с вами некими особыми узами, и это как бы приобщает меня к вашим успехам… „Госпожа Бовари“ — это подлинное произведение искусства… Вы, сударь, один из передовых умов своего поколения. Продолжайте же высоко нести перед ним факел искусства. Я томлюсь во мраке, но я люблю свет. А это значит, что я люблю вас».

Гюго оценил и талант Шарля Бодлера, тотчас же отозвавшись на присланную ему автором книгу «Цветы зла».

«Я получил ваше благородное письмо и вашу прекрасную книгу, — писал Гюго Бодлеру 30 апреля 1857 года. — Искусство подобно небесному своду, оно не знает границ, — вы только что доказали это. „Цветы зла“ горят на нем — подобно звездам — они ослепляют. От всей души приветствую ваш смелый ум. Позвольте мне закончить эти короткие строки поздравлением. Вы только что удостоились одной из редких наград, которая может выпасть на чью-либо долю при современном режиме. Их так называемое правосудие обвинило вас в нарушении того, что они называют своей моралью, тем самым оно увенчало вас лавровым венком. Жму вашу руку, поэт».

Признавая мастерство и значительность поэзии Бодлера, Гюго, однако, не согласен с тем пониманием искусства, которое проповедуют Бодлер и его единомышленники во главе с

Теофилем Готье.

Разнообразие стилей, различие методов борьбы, но не уход от борьбы. Этого Гюго не приемлет. Через два года после горячего отзыва о «Цветах зла» гернсейский изгнанник снова пишет Бодлеру: «Ваша статья о Теофиле Готье — одна из тех статей, которые властно будят мысль. Уметь заставлять думать — это редкая способность, это дар избранных. Вы не ошиблись предчувствуя, что между нами должны возникнуть… разногласия. Я понимаю вашу философию (ибо, как и всякий поэт, вы и философ), больше того, я готов признать ее. Но у меня своя философия. Я никогда не говорил: „искусство для искусства“, я всегда провозглашал: „искусство для прогресса“… Что делаете вы сами, когда пишете поразительные стихи, подобные „Семи старцам“ и „Старушкам“, которые вы посвятили мне и за которые я благодарю вас? Вы движетесь вперед. Вы обогащаете небесный свод искусства каким-то новым, мертвенно-бледным лучом. Вы вызываете еще не испытанное содрогание.

Искусство не совершенствуется; я сказал об этом, кажется, одним из первых. Я знаю это. Никто не превзойдет Эсхила, никто не превзойдет Фидия, но можно стремиться к тому, чтобы стать равным им, а для этого необходимо все шире раздвигать горизонты искусства, подниматься все выше, идти все дальше, двигаться вперед. Но поэт не может идти вперед в одиночестве, рядом с ним должен быть человек. Шаги человечества — это в то же время шаги искусства. Итак, слава прогрессу.

Ради прогресса я выношу сейчас все страдания, ради него я готов идти на смерть…

А что касается преследований, они удел великих. Мужайтесь».

* * *

Не прерываются связи Гюго и с его собратьями по борьбе и изгнанию — политическими эмигрантами из разных стран Европы. Еще на Джерси он получил от Герцена приглашение сотрудничать в «Полярной звезде». Гюго ответил Герцену дружеским письмом, приветствуя его начинание:

«Дорогой согражданин, — ибо существует только одно гражданство, и в ожидании Всемирной республики изгнание — наша общая родина, — вы высказали великую мысль. Я присоединяюсь к ней с готовностью и восторгом. Вы хотите разделить тех, кто объединяется, — королей — и объединить тех, кого разделяют, — народы. Вы хотите поднять Россию, вновь

зажечь северную зарю, бросить клич свободы на московском языке, вложить руку великой семьи славянских народов в руку великой семьи человечества. Вы поступаете, как европеец, вы поступаете, как человек, вы поступаете, как мыслитель; это хорошо. Вы доказываете, что политика, когда это высокая политика, — высшая из философий. Журнал, который вы основали, будет одним из самых гордых знамен в борьбе за идеи. Я вас приветствую, я вас благодарю, я вас поздравляю…

Я больше, чем когда-либо, завален всевозможной работой и поэтому буду для вас скорее сочувствующим, чем сотрудником. Но вы можете рассчитывать на мою поддержку везде, где я смогу ее оказать, и на мою глубокую симпатию. Вы просите меня присоединиться к вам, вы видите, я уже с вами, и по собственному побуждению.

Вы выбрали подходящий момент, чтобы бросить призыв к единению, любви. Настал грозный час. Грохочет гром, сверкают молнии. В такие годы создаются скрижали завета.

Братски жму вашу руку».

Письмо Виктора Гюго появилось в первом номере «Полярной звезды». Гюго и Герцен продолжали и в последующие годы обмениваться письмами, книгами, замыслами, выражениями братской солидарности.

«Вы бесстрашный боец и благородный мыслитель. Я с вами», — писал Гюго Герцену в 1860 году.

В начале 1863 года в Польше вспыхнуло восстание против самодержавного гнета. На весь мир гремел «Колокол» Герцена. Поддержать борющуюся Польшу! Обуздать кровавый произвол царизма! И Гюго присоединил свой голос к голосам передовых людей России и Европы.

«Мой доблестный собрат по борьбе и испытаниям! — обращается Гюго к. Герцену 8 февраля 1863 года. — Один русский офицер написал мне, прося о тех строках, которые я посылаю вам. Напечатайте их, воспользуйтесь ими, если думаете, что это может быть небесполезно. Будем помогать друг другу. Мы все один народ, и существует только один закон: пока нет свободы — освобождение, по освобождении — прогресс.

Я слежу за вашей красноречивой и победоносной пропагандой.

Я рукоплещу вам и люблю вас».

15 февраля Герцен опубликовал в «Колоколе» воззвание Гюго «К русской армии». Поэт призывал русских солдат не отдавать свою силу на службу деспотизму, «огромному, но слабому чудовищу, подавляющему без разбора всех — и русских и поляков». Он призывал их повернуть штыки и выступить против

«палача народов».

«Русские солдаты, берите за образец поляков, не сражайтесь с ними!»

Но разве может слово, несущееся издалека, повернуть штыки армии, разорвать цепь угнетения, которая веками сковывала народы России? Польское восстание жестоко подавлено.

* * *

Отдаленный звук выстрела. Во сне? Нет. Наяву. Это пушечный сигнал на соседнем форте. Он всегда звучит на рассвете и служит поэту будильником.

Утренний свет свободно льется через стеклянную стену и уже затопляет его рабочую комнату. Можно ли оставаться в постели? На ноги. Расправить грудь и плечи. Облиться холодной водой, крепко растереться. Дышится вольно. Разве он стар? А теперь поздороваться с Жюльеттой. Она живет совсем близко, в домике напротив. Вся розовая в утренних лучах, она глядит из своего окошка на стеклянную стену верхнего этажа Отвиль-хауза. Жюльетта поднимается чуть свет, чтобы первой увидеть поэта, убедиться, что он здоров, бодр и помнит о ней. Волосы ее поседели, но сердце все то же.

Гюго пишет, стоя у высокого пюпитра, вделанного в большое зеркало. Перед глазами всегда океан и небо. Они помогают ему творить: Вот уже три года одна за другой рождаются из-под его быстрого пера маленькие эпические поэмы. Герои легенд Запада и Востока. Начало веков. Древность. Средние века. Войны, поединки, вероломство, злодеяния, пытки. Победы сильных духом, героев народа. «Слава земле! Слава заре! Слава цветам и гнездам, которые золотит солнечный луч. Цель земли — рождение, а не смерть».

Ради жизни, ради своего народа боролся и умер могучий Роланд. Ради народа совершал подвиги отважный Сид. Еще во времена путешествий с Шарлем Нодье, в годы далекой молодости Гюго нашел у букиниста старинное издание испанских народных поэм-песен «Романсеро». В духе этих поэм он создал теперь свое «Романсеро Сид». Короткие, энергичные строфы. Их можно петь под аккомпанемент струн, эти сказания о гордом Сиде и завистливом, неблагодарном, подозрительном короле. «Король плут», «Король вор», «Король вояка», «Король трус», «Король зубоскал», «Король злодей». Выразительные заглавия! Не заставляют ли они вспомнить о некоем современнике поэта — властителе Франции, который отличается как раз указанными в

этих заглавиях качествами? Другое дело Сид. Он был в изгнании. «Верный Сид», «Честный Сид». И всегда он оставался самим собой. «Сид — это Сид». Гернсейский изгнанник близок ему душой. Образы старинных легенд — короли, герои, чудища — они ведь всегда служили поэтам для борьбы с реальными чудищами и злодеями. Героев прошлого можно прекрасно вооружить для битв современности.

Сейчас Гюго работает над поэмой «Ответ Момотомбо» по мотивам народной легенды Никарагуа о непокорном вулкане.

Рычанья и толчки вулканов участились.
Тогда был дан указ, чтобы они крестились.
Так повелел король испанский, говорят.
И молча кратеры перенесли обряд.
Лишь Момотомбо злой не принял благодати…

Почему же отказался вулкан от крещения? Момотомбо думал раньше, что белый бог будет мудрым и мирным, но что же увидел вулкан в своей стране, когда туда пришли белые колонизаторы?

Я в Лиме увидал бушующий огонь.
Гигантские костры распространяли вонь.

Вулкан увидел обуглившиеся трупы детей, женщин. Белые колонизаторы казнили туземцев во имя христианской религии. И вулкан «помрачнел навек, окаменел, притих».

Разве эта старая легенда далека от современности?

Еще осенью 1857 года поэт написал предисловие к первому тому своих маленьких эпических поэм. Это пока не законченный труд, но первый том уже представляет собой нечто целое. Общий замысел так очерчен в предисловии:

«Отпечатлеть человечество в некоей циклической эпопее, изобразить его последовательно и одновременно во всех планах — историческом, легендарном, философском, религиозном, научном, сливающихся в одном грандиозном движении к свету».

Долго он думал над заглавием новой книги. И, наконец, нашел. Кратко и выразительно: «Легенда веков».

* * *

До одиннадцати утра поэт у своего пюпитра, потом общий семейный завтрак, как было заведено еще на Джерси. Распорядок

дня Гюго примерно тот же, что и прежде. Но здесь, на Гернсее, прибавились еще постоянные заботы, связанные с перестройкой и украшением его дома. Он хочет, чтобы Отвиль-хауз тоже стал произведением искусства, и дом на глазах превращается в поэму, в музей, в храм.

На Гернсей уже не раз приезжали гости — славный Дюма — как он потолстел, какая у него одышка! — издатель Этцель, Поль Мерис с молодой женой. Для гостей есть отдельные комнаты. Каждый может чувствовать себя здесь независимо, жить как дома.

Когда дорогой гость появляется в Отвиль-хаузе, хозяин сам ведет его по всем этажам. Полюбуйтесь и оцените это произведение искусства! Вестибюль — преддверие храма. Полумрак. Дубовые своды. На стенах деревянные панно — сцены из «Собора Парижской богоматери», бронзовые медальоны работы скульптора Давида д'Анже. На стенах каждой комнаты гостей встречают девизы: «Верь и люби!», «Кто встает в шесть и ложится в десять, будет жить десятью десять!» И много других кратких изречений.

В нижнем этаже помещается бильярдная комната, стены ее разрисовал сам хозяин. Он любит после обеда сыграть несколько партий с сыновьями или кем-нибудь из гостей. Но если вздумается погонять бильярдные шары в воскресенье, то надо плотно завешивать окна. Гернсейцы свято почитают воскресные дни и будут возмущены и шокированы, узнав, что обитатели Отвиль-хауза допускают такое бесчинное нарушение их традиций.

Столовая блестит фаянсом. Всюду вазы, живые цветы. Большой стол. Много гостей можно усадить за него, но старинное кресло во главе стола всегда пусто. На нем железная цепь и надпись: «Отсутствующие — здесь». Это пустое кресло — символ: хозяин дома всегда помнит о дорогих умерших. В доме два салона. Один — красный с золотом, другой — синий. Стены их обиты тканями с фантастическими рисунками. Во втором этаже — обширная комната — музей в готическом стиле. Гигантский канделябр освещает ее. Кругом барельефы, статуи, статуэтки, картины. В третьем этаже — обитель поэта. Спальня с узкой, низкой, походной кроватью, рабочий кабинет с окнами на океан и стеклянная галерея — так называемый люкаут, прекрасный наблюдательный пункт. Открывается широкий вид на море и окрестности Гернсея.

Часто бывают в Отвиль-хаузе и местные жители и эмигранты, приютившиеся на Гернсее. Виктор Гюго в большой дружбе с эмигрантом Эннетом Кеслером. Он тоже республиканец, изгнанный из Франции. Кеслер стар, одинок и беден. Он стал своим в семье Гюго, поэт ему предлагает совсем переселиться под

кров Отвиль-хауза. То и дело наносит визиты семейство Путрон, с младшей представительницей которого юной Эмили особенно дружен Франсуа Виктор, приходят молодые люди — госпожа Гюго хочет как-нибудь развлечь свою бледную мечтательную дочь. Иногда в доме устраивают вечера с танцами, шарадами, веселыми тостами за большим столом. С особенным чувством провозглашает хозяин тосты за успехи своих друзей.

В Париже в этом сезоне с большим успехом шли пьесы Мериса «Школьный учитель» и «Фанфан-тюльпан». За «Фанфана-тюльпана» высоко подымали бокалы в фаянсовой столовой Отвиль-хауза, а потом отправили Полю поздравительное письмо. Подписались все присутствующие. Первым, конечно, хозяин, потом дамы — Адель-старшая и Адель-младшая, потом друзья, сыновья, гости, в самом конце Огюст Вакери, который подписался и за своих любимцев — собаку Люкс и кошку Муш. В этот вечер много смеялись и шутили. Но не всегда в Отвиль-хаузе весело. Члены семьи поэта переносят ссылку труднее, чем он сам. Он всегда занят, творит. У него нет времени для скуки. А старший сын и дочь тоскуют. Госпожу Гюго особенно беспокоит здоровье Адели, да и сама она часто начала прихварывать — невралгия, ревматизм, глаза не в порядке. И в мае 1859 года жена поэта с дочерью и старшим сыном уезжают в Лондон полечиться и развлечься.

«Развлекайтесь, дорогие», — говорит Шарлю и Дэдэ отец. Долго стоит он на пристани и смотрит на удаляющийся дымок парохода.

Виктор Гюго понимает, как хотелось бы его жене и детям вернуться во Францию и зажить по-прежнему. Из-за него они принуждены коротать свои дни вдали от Парижа, на этом уединенном острове. Он и сам тоскует по родине, но вернуться — это значило бы склонить голову перед империей, признать себя побежденным, протянуть руку деспоту. Этому не бывать.

А деспот не прочь укротить поэта-обличителя, заставить его умолкнуть. Не пора ли? Наполеон III делает либеральный жест — он выпускает указ об амнистии ссыльным и в числе их Виктору Гюго. Многие изгнанники возвращаются на родину. Старые друзья зовут Гюго. Но поэт остается в добровольном изгнании. Он не пойдет на примирение с империей. «Долг суров, — пишет Гюго старой знакомой Луизе Бэртен. — Он мне помешал вернуться. Я страдаю, но я поступил правильно».

18 августа 1859 года в газетах Лондона и Брюсселя опубликована декларация Виктора Гюго по поводу амнистии:

«Поскольку это касается меня, никто не дождется, чтобы я обратил хотя бы малейшее внимание на то, что именуют

амнистией.

При нынешнем положении Франции моим долгом является безусловный, непреклонный, вечный протест.

Верный обязательству, принятому мною перед своей совестью, я разделю до конца изгнание, в котором пребывает свобода. Когда вернется свобода, вернусь и я.

Виктор Гюго».

* * *

Темное небо. Ночь. И в глухом мраке еще чернее этого неба вздымается высокий столб. Перекладина. Петля. Страшная петля, сжимающая горло человека на виселице.

Он был настоящим человеком. Простой виргинский фермер встал на борьбу против рабства, позорящего его родину. И за это его повесили…

Гюго молча смотрит на свой рисунок. Он выразил в нем какую-то частицу того, что переполняет его душу.

Узнав о приговоре американского суда по делу Джона Брауна, Гюго пытался спасти его. 2 декабря 1859 года в газетах появилось обращение поэта к американскому правительству, суду, народу, к человечности и совести.

«Когда мы думаем о Соединенных Штатах Америки, перед нами встает величественный образ Вашингтона.

Однако вот что происходит сейчас на родине Вашингтона. В Южных штатах существует рабство, и эта чудовищная нелепость возмущает разум и чистую совесть жителей Северных штатов. Некий белый человек, свободный человек Джон Браун задумал освободить этих рабов, этих негров. Если какое-либо восстание можно признать священным долгом человека, то прежде всего таковым является восстание против рабства. Это благое дело Джон Браун решил начать с освобождения рабов в штате Виргиния… Не найдя поддержки, Джон Браун все же начал борьбу; собрав горсточку храбрецов, он вступил в бой; его изрешетили пулями; двое юношей, его сыновья — святые мученики! — пали рядом с ним; его самого схватили… Джон Браун и его четыре соратника… предстали перед судом. Как велся процесс? Скажу об этом в двух словах. Джон Браун лежит на складной койке… кровь, капающая из шести едва затянувшихся ран, просачивается сквозь тюфяк. Перед глазами Брауна тени его погибших сыновей; возле него, израненные, обессиленные, четверо его товарищей… документы, на которых основано обвинение, частью фальшивы, частью подчищены; свидетели

защиты не допускаются; защитникам не дают говорить; во дворе суда две пушки, заряженные картечью… сорокаминутное совещание суда — три смертных приговора. Клянусь честью, это произошло не в Турции, а в Америке.

Нельзя безнаказанно совершать такие преступления перед лицом всего цивилизованного мира. У мировой совести зоркий глаз…»

Гюго говорит о том вреде, который принесет убийство Джона Брауна американцам, о том несмываемом позорном пятне, которое ляжет на всю страну, если приговор будет приведен в исполнение…

«Да, пусть знает Америка, пусть помнит: есть нечто более страшное, чем Каин, убивающий Авеля, — это Вашингтон, убивающий Спартака».

В тот самый день, когда было опубликовано это воззвание, Джона Брауна повесили. Поэт не может думать ни о чем другом: «На душе тяжесть, — пишет он Жорж Санд, — они убили Джона Брауна. Убийство было совершено второго декабря. Объявленная ими отсрочка оказалась гнусной хитростью, средством усыпить всеобщее негодование. И это сделала республика!..»

«Надо, чтоб французская демократия подхватила брошенный мной клич», — пишет он Полю Мерису.

«Рабство должно быть уничтожено, пусть это даже расколет надвое американскую республику, — заявляет поэт в письме в парижскую газету „Шаривари“. — Джон Браун разорвал завесу, вопрос об Америке стал теперь столь же вопиющим, как вопрос об Европе».

По своему рисунку Гюго заказал гравюру. Она тоже послужит оружием в борьбе против тьмы.

После выступления в защиту Брауна популярность поэта-трибуна еще возросла. Письма к нему летят теперь с далеких континентов. Вот конверт с маркой Республики Гаити. О судьбе негров Гаити Гюго впервые задумался еще шестнадцатилетним мальчиком, когда начал писать свою повесть «Бюг Жаргаль».

Гаитянцы сбросили гнет поработителей-французов, и теперь на этом далеком острове республика.

«Ваше письмо глубоко взволновало меня, — обращается Гюго 31 марта 1860 года к редактору гаитянской газеты „Прогресс“. — Вы, сударь, благородный представитель негритянской расы, той части человечества, которую в течение столь долгих лет притесняли и не признавали…

Я люблю вашу страну, вашу расу, вашу свободу, вашу революцию, вашу республику. Ваш великолепный, благодатный

остров пленяет сейчас все свободные души; он подал великий пример: он сломил деспотизм. Он поможет нам сломить рабство. Ибо рабство в любых своих видах исчезнет. Южные штаты убили не Джона Брауна, они убили рабство… Клеймите же и дальше это преступление и крепите вашу революцию… Ныне Гаити источник света. Как прекрасно, когда один из факелов прогресса, освещающий путь человечества, держит рука негра!

Ваш брат Виктор Гюго».

Он продолжит борьбу против рабства и колониализма и в последующие годы изгнания, откликаясь на призывы, несущиеся к нему.

Руки деспотов, хищные руки душителей тянутся во все концы земли. Им мало Европы, они душат народы других континентов. Жалобы вулкана Момотомбо из «Легенды веков» звучат все с той же силой.

Миропомазанный бандит Наполеон III посылает в 1863 году войска в Мексику, он хочет уничтожить республику, поработить мексиканский народ, посадив на трон своего ставленника. Защитники Пуэблы обращаются к французским солдатам с воззванием:

«Кто вы такие? Солдаты тирана. С вами Наполеон, а с нами Виктор Гюго».

С далекого Гернсея в Мексику несется слово поэта-изгнанника, оно опубликовано в газетах Пуэблы:

«Защитники Пуэблы!

Разумеется, я за вас.

С вами воюет не Франция, а империя. Да, я за вас. Мы противостоим империи, вы — на своем посту, я — на своем, вы — у себя на родине, я — в изгнании. Сражайтесь, боритесь, будьте непреклонны… Наши солдаты неповинны в этой войне. Они страдают от нее так же, как и вы, и обречены на страшную муку вести эту войну, ненавидя ее… Я твердо надеюсь, позорная попытка, предпринятая империей, не удастся».

Мексиканцы отважно боролись и изгнали захватчиков. Республика была восстановлена.

24 ноября 1867 года Гюго приветствовал граждан Пуэрто-Рико, доблестно защищавших свою свободу. «Пусть Испания убирается из Америки… Куба должна быть свободной, как и Сан-Доминго… Свобода мира — это свобода каждого народа в отдельности».

Ровно через год, приветствуя установление республики в Испании, поэт снова призывает ее дать свободу Кубе, поднимает голос против рабства в колониях.

«Свобода исключает монархию наверху и рабство внизу… В

истории работорговли есть отвратительная дата 1768 год. В этот год преступление достигло максимума: Европа украла у Африки сто четыре тысячи негров и продала их в Америку. Сто четыре тысячи! Никогда еще не было такой огромной продажи человеческого мяса… Так отметьте же этот столетний юбилей отменой рабства!.. Позади прогресса вечно зияет пропасть. Кто пятится, тот падает в нее».

В 1869 году 300 женщин Кубы, бежавшие в Америку, обращаются к Виктору Гюго с призывом помочь их родине. «Изгнанницы, вы взываете к изгнаннику, — отвечает им писатель. — …Я буду говорить в защиту Кубы, как говорил в защиту Крита. Ни одна нация не имеет права наложить руку на другую нацию. Испания не властна над Кубой так же, как Англия не властна над Гибралтаром. Ни один народ не может владеть другим народом, так же как ни один человек не может владеть другим человеком. Насилие над целой нацией еще отвратительнее, чем насилие над отдельной личностью. Только и всего».

По просьбе кубинских повстанцев Гюго пишет для них декларацию.

«Допустим, что цивилизация сопряжена с колонизацией, что колонизация сопряжена с опекой, но… опека прекращается по закону после совершеннолетия опекаемого, безразлично, является ли опекаемый ребенком или целым народом. Всякая опека, которая продолжается после совершеннолетия, превращается в узурпацию; узурпация, которую народ терпит по привычке или из малодушия, — это злоупотребление, узурпация, которую навязывают силой, — это преступление, преступление, которое я обличаю, где бы я его ни увидел.

Куба достигла совершеннолетия.

Куба принадлежит только Кубе.

Сейчас Куба подвергается ужасной, неописуемой пытке. Кубу травят и избивают в ее лесах, в ее долинах, в ее горах… Загнанная, окровавленная, но гордая Куба борется против свирепого гнета. Победит ли она? Несомненно».

* * *

В июньский день 1860 года с утренней почтой к Отвиль-хауз пришел плотный конверт с Джерси. Гюго вскрывает его. Что пишут ему обитатели острова, который несколько лет назад лишил поэта своего гостеприимства? О! Это интересно, это замечательно! Джерсейцы зовут его к себе, просят забыть

прошлое, приехать к ним и выступить на митинге, посвященном освободительному походу Джузеппе Гарибальди, замечательного итальянского борца-патриота. Под письмом пятьсот подписей.

На такой благородный призыв нельзя не отозваться. Не только изгнанник на своем далеком острове, но и вся Европа этой весной затаив дыхание следит за продвижением отряда тысячи смельчаков, возглавляемого Гарибальди. Воины-патриоты идут на помощь восставшей Сицилии. Они хотят объединить разрозненную изнемогшую Италию. Легендарные герои. Хочется скорее помочь им. Хочется прославить их, воспеть.

Решено. Забыв все старые обиды, Гюго отправится на Джерси и выступит на митинге.

Он едет вместе с сыновьями. Виднеются знакомые берега. Ясный летний день. Джерсейские розы, вероятно, сейчас в самом цвету. Сколько букетов протягивают поэту люди на берегу! Сколько улыбок, возгласов, рукопожатий! Кажется, будто все население острова высыпало навстречу когда-то обиженному им изгнаннику. На стенах домов расклеены листки: «Виктор Гюго вернулся!», «Привет Виктору Гюго!»

В городе Сент-Элье праздник в честь двух героев — Гюго и Гарибальди. Поэт с друзьями завтракает в знакомой гостинице «Золотое яблоко», а потом все идут на митинг. Гюго на трибуне.

Он говорит о живой истории, творящейся на их глазах, о кровоточащей истории современного мира. Неаполитанское королевство, превращенное в полицейское учреждение. Пытки. Раскаленные кресла. Машины, выворачивающие суставы… Ничтожный монарх, марионетка в руках иностранцев.

Гарибальди, воин свободы и человечности, сражавшийся в 1849 году за Римскую республику, встал во главе освободительного движения Италии. У него ни военной силы, ни оружия, но с ним душа народа. И он победит.

Четыре ветра несут во все стороны горизонта слово надежды. «Да воодушевятся ею все — и русский мужик, и египетский феллах, и пролетарий, и пария, и проданный в рабство негр, и угнетенный белый. Когда разбивается одно из звеньев, распадается вся сеть, скованная из цепей».

Джерсейцы, и поэт вместе с ними, вносят свою лепту — деньги на оружие для Гарибальди, На следующий день Гюго вновь выступает на банкете, устроенном в честь его возвращения.

Он благодарит джерсёйцев. Он хотел бы иметь сто рук, чтобы сразу обменяться с ними сотней рукопожатий. Гюго вспоминает о тех днях, когда он приехал впервые на этот остров после жестоких политических битв и нашел здесь мир.

Освободительные походы Гарибальди продолжались. Осенью 1863 года до Гюго донесся призыв:

«Дорогой друг! Мне нужен еще миллион ружей для итальянцев. Я уверен, что вы поможете мне собрать необходимые средства».

18 ноября Гюго отвечает итальянскому другу:

«Дорогой Гарибальди!

…В этом конверте вы найдете мой подписной лист. Вы безусловно можете рассчитывать на все то немногое, что я собой представляю и что я в состоянии сделать. Поскольку вы считаете это полезным, я воспользуюсь первым же случаем, чтобы поднять голос за ваше дело.

Вам необходимы миллион рук, миллион сердец, миллион душ. Вам необходимо великое ополчение народов. Оно придет».

Оно придет, это великое ополчение. Гюго верит в это.

Стихи, речи, призывы Виктора Гюго широко разносятся по всему миру. И в поэзии и в публицистике он остается борцом Сопротивления, воином прогресса. Поэт-трибун, златоуст, он, конечно, не аналитик, не теоретик революционной борьбы. Гюго не избавился от многих своих заблуждений. Он верит во всеисцеляющую силу буржуазной демократии, в то, что она может стать истинной властью народа. Народ для него нечто единое и неделимое, противостоящее своре деспотов-угнетателей, кующих цепи с помощью продажных наемников.

И все же Гюго не тот либеральный мечтатель, каким был в 40-е годы; Революция влила в него новые силы, вывела его из творческого кризиса, поставила перед ним большие цели. Он стал участником широкого демократического освободительного движения. И он заговорил во весь голос и достиг новых вершин.

«Отверженные» (1860–1862)

В изгнании Виктор Гюго на долгое время прервал работу над своим большим романом о жизни бедняков, обездоленных, но он не забыл о нем, не расстался со своими героями, они по-прежнему живут с ним и в нем. Новые замыслы, политическая борьба, срочная работа над другими книгами все отодвигала тот момент, когда он сможет вновь приняться за старую рукопись. Столько лет прошло! За эти годы он заново выносил свое творение, роману его предстоит второй раз родиться на свет.

Час пришел. 26 апреля 1860 года Гюго вскрывает заветный

сундучок, окованный железом. Вот они, слегка пожелтевшие от времени листы его рукописи, плоды многолетних раздумий, бдений, трудов, ночных бессонниц, крылатых часов вдохновения!

Накануне революции 1848 года ему казалось, что роман почти закончен, но теперь у писателя другие мерила, другие требования. Нет. Над книгой предстоит большая работа. И он погружается в нее с головой. Преображаются герои, заново осмыслены события, изменилось самое заглавие. Раньше роман назывался «Нищета», теперь автор назовет его «Несчастные»[13]. Разрастаются отдельные части, вписываются новые главы. В роман врываются кипящие потоки публицистики. Яснее вырисовывается в нем лирический герой, сам автор, живой свидетель событий. Годы его молодости. Годы назревания революции.

Переработаны вводные главы. Епископ Мириель встречается с умирающим революционером, членом Конвента 1793 года. Возникает спор двух идей. Путь всепрощения и путь революции. Какой из них выше, чище, истинней? Этот спор бросает свой отблеск на все движение романа. Автор хочет примирить и сочетать два пути именем будущего. К этому же стремится и его герой, умирающий революционер. Удастся ли достигнуть такого примирения? Читатели будут судить о том.

Каторжник с душой, изувеченной обществом, пробужден к жизни добрым деянием, милосердием человека. Вот он, угрюмый, испитой, с клеймом на плече. Жан Вальжан. (Раньше автор называл его Жан Трежан.) Один среди чужих, равнодушных. «Человек за бортом». Это новая лирическая главка первой части. Глава-метафора, освещающая глубь души отверженного и поверженного, человека-изгоя. Найдутся ли у каторжника силы к духовному возрождению? Сможет ли он встать на путь человечности и любви?

История Фантины не нуждается в большом изменении. Она ясна. Здесь автор лишь еще более оживит приметы времени. Он напишет новую главу — очерк «1817». Тот самый год, когда юный Гюго впервые выступил перед судом «бессмертных». «Из физиономий отдельных лет и слагается облик столетий», — замечает автор. Его раздумья перемежают повествование. Он ведет своего читателя по горьким, тернистым дорогам жизни героев романа, и то и дело останавливает его на минутку, говорит с ним и заставляет поразмыслить вместе с автором.

«Что же такое представляет собой история Фантины? Это история общества, покупающего рабыню.

У кого? У нищеты.

У голода, у холода, у одиночества, у заброшенности, у

лишений. Горестная сделка. Душу за кусок хлеба. Нищета предлагает, общество принимает предложение…»

Вторая часть романа, «Козетта», изменится еще больше, чем первая. Автор хочет написать новый большой раздел — несколько глав о битве при Ватерлоо. Они, по мысли Гюго, должны иметь не только историческое значение. Вопрос о Бонапарте и бонапартизме — это вопрос современности, он не стал еще достоянием пыльных архивов прошлого. Но для того чтобы написать эти главы, Гюго должен поехать в Бельгию, побывать на месте сражения. Это он сделает после, а пока продолжит работу над следующими частями романа.

«Переделать абсолютно Мариуса, — записывает Гюго. — Заставить его понять истинного Наполеона. Три фазы: 1) роялист, 2) бонапартист, 3) республиканец». Герой должен пройти путь политической эволюции автора, но те убеждения, к которым Гюго пришел после 1848 года, Мариус Понмерси усвоит в 1832 году.

Третья часть перерабатывается целиком. Гюго пишет новую главу — «Друзья азбуки». Здесь читатель увидит заседания тайных обществ молодежи, сходки в кабачках предместий, услышит неистовые споры «друзей азбуки». Этим невинным словом они называли грозную науку революционной борьбы. В роман войдут и новые герои: Анжольрас, воин демократии, «твердый, как гранит, возлюбленный свободы», его друзья — молодые энтузиасты, стремившиеся перестроить общество на началах справедливости, и, наконец, один из самых любимых героев автора — парижский мальчишка Гаврош. Он похож на тысячи озорных оборванцев, но под его лохмотьями сердце, жаждущее подвига.

В самостоятельную часть книги вырастают главы о восстании 1832 года: «Идиллия улицы Плюмэ и эпопея улицы Сен-Дени». Гюго по-иному, чем до 1848 года, смотрит на многие события и вещи. Он теперь прекрасно понимает, что «1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге». И Мариус поймет это, превращаясь под влиянием друзей и самих событий жизни в республиканца.

Глава «Суть вопроса» — это трактат о восстаниях и мятежах. Гюго прославляет народные восстания — шаги истории вперед, но отвергает мятежи — «войну части против целого». Ему кажется, что всякое возмущение против республики — это уже не восстание, а мятеж. Но и восстания и мятежи исходят от народа, и не всегда можно провести между ними четкую грань, признает автор.

Часть, посвященная народному восстанию, становится сердцем романа, его кульминацией. Баррикады. Героизм

защитников Сен-Дени и Сен-Мери. Здесь со всей силой, во весь голос звучит призыв «К оружию!». Здесь сходятся все любимые герои Гюго. Мариус с ружьем в руках защищает идею республики, Анжольрас и Гаврош отдают за нее свои жизни.

И Жан Вальжан на баррикадах. Но он не стреляет в противников. Каторжник отпускает на свободу своего давнего врага, полицейского Жавера. Возрожденный к жизни любовью к приемной дочери Козетте, Жан Вальжан живет по законам милосердия, завещанным ему епископом Мириелем. Весь образ его, вся судьба его — воплощенный протест против жестокого общества. Но, протестуя, автор вкладывает в душу своего героя идею всепрощения и милосердия: через самоотвержение и любовь человек-изгой возвышается над тысячами мелких, самодовольных людишек, глухих к страданию ближнего.

«Изобразить вознесение души и, пользуясь случаем, показать во всей трагической реальности социальное дно, с которого она поднимается, чтобы общество отдало себе отчет в том, какой ад служит ему основанием, и чтоб оно поняло, наконец, что пора возжечь зарю над этим мраком; предупредить, что является самой скромной формой совета, — такова цель этой книги», — пишет Гюго в одном из предварительных набросков предисловия.

«Пора возжечь зарю», встать на борьбу за права угнетенного народа, но как сочетать это с законами всепрощения, с заповедью «не убий ближнего»?

Виктор Гюго не может выйти из этого противоречия. Трагическое противоречие. Невозможность перенести в суровое настоящее то прекрасное, что маячит и манит в далях будущего — абсолют человечности, абсолют миролюбия, абсолют добра. И неутолимое стремление во что бы то ни стало отстоять этот абсолют, совместить его с борьбой настоящего. Примирить непримиримое. Совместить несовместимое. Один ли Гюго бился и будет биться в силках этой трагической дилеммы? Он хотел верить, что такое примирение возможно, но, вероятно, порой и сам сомневался, возможно ли оно, и обеими ногами становился на почву реальности, настоящего. Ведь певец возмездия умел быть непримиримым и не раз доказал это и в жизни и в своей поэзии.

На протяжении всей книги длится внутренний спор революционера с проповедником абсолюта добра и милосердия. И высокий спор этот так и остается в книге неразрешенным. Если принять заветы епископа Мириеля, революция должна бы укротиться, склонить голову, вложить в ножны меч. Но реальные герои баррикад не могут быть незлобивыми мудрецами, и Гюго сам подтверждает это, развертывая волнующую эпопею улицы

Сен-Дени.

В романе «Отверженные» завершается линия идейно-художественных поисков, начатая писателем еще в «Последнем дне приговоренного», продолженная в повести «Клод Гё», и вместе с тем открывается новая страница творческого развития Гюго-романиста.

Социальная тема, обращение к современности, гуманистический пафос — все это уже намечалось и нарастало в прежних повестях, звучало и в лирике Гюго, но, лишь пройдя через опыт революции, через горнило сопротивления и возмездия, окрепло, созрело и нашло воплощение в широком полотне социального романа.

Многое роднит автора «Отверженных» с французским реалистическим романом 30-х, 40-х годов. Здесь то же стремление раскрыть, донести до людей правду о человеке, изуродованном обществом, осмыслить мир, излечить общественные недуги.

Документально правдивы страницы «Отверженных», повествующие об июньском восстании 1832 года. Реалистичны многочисленные зарисовки-очерки, пронизывающие весь роман. Они передают атмосферу времени, детали быта. Тут и роялистские салоны, и республиканские общества, и жизнь парижского «дна», очерк о подземной клоаке, исследование о парижских гаменах, история битвы при Ватерлоо.

Во многом приближаясь к реализму, Гюго, однако, не перестает быть романтиком.

И пусть даже он уступает писателям-реалистам в глубине разоблачения социального зла, в силе анализа, в разносторонности критики действительности, — зато у него, писателя-романтика, есть и преимущества перед реалистами. В его романе сильнее чувствуется высокое героическое начало, громче и определеннее звучит тема революции: бойцы баррикад становятся его героями. В его романе шире расправляет крылья мечта о будущем, и вместе с ней вера в будущее, вера в победу добра и красоты. И, может быть, поэтому он склонен идеализировать человека. Он предпочитает возвеличение человека его принижению.

Солнце все выше, все ярче. Оно заливает комнату в сельской гостинице. Веселые лучи отскакивают сверкающими зайчиками от пустой стеклянной бутылки со следами чернил на стенках и вызывают улыбку на лице человека, который сидит за столом и пишет. Усталое лицо с внимательными глазами, высоким,

изрезанным морщинами лбом, с седеющей шапкой волос и белой бородой. Он начал работать над этой книгой совсем молодым человеком. Он кончил ее седобородым стариком. Целая жизнь.

«Дорогой Огюст, сегодня, 30 июля 1861 года, в половине девятого утра при чудесном солнце, которое светило мне в окно, я закончил „Отверженных“, — пишет Гюго своему другу Вакери. — …Я пишу вам это письмо, используя последнюю каплю чернил, которыми была написана эта книга.

А известно ли вам, куда привел меня случай, чтобы ее закончить? На поле битвы Ватерлоо. Вот уже шесть недель, как я укрылся в этих местах. Устроил здесь себе логово в непосредственной близости от льва и написал развязку своей драмы. Именно здесь, на равнине Ватерлоо, и в том самом месяце, когда произошла эта битва, дал я свое сражение. Надеюсь, что я не проиграл его. Пишу вам из деревни Мон-Сен-Жан. Завтра я покину эти места и продолжу свою поездку по Бельгии и даже за ее пределами, если для меня только окажется возможным выехать за эти пределы».

Из Бельгии Гюго едет в Голландию. «Каникулярное» путешествие, как в былые времена. «Даже один Рембрандт заслуживает того, чтобы побывать в этой стране», — пишет он Шарлю 15 августа.

Из Голландии — на Гернсей и снова за работу. Начинаются хлопоты, связанные с изданием романа. На этот раз Гюго заключил договор не с Этцелем, а с другим издателем — Лакруа. От предварительного печатания «Отверженных» в журналах автор отказался. Он не хочет разбивать роман на куски. Лучше сразу издать книгу в нескольких томах, каждый из которых будет законченной частью. По договору автор должен получить за свой роман триста тысяч франков. Первый раз в жизни Гюго получит такую огромную сумму. Лакруа торопит, ждет всей рукописи и предполагает выпустить первый том в феврале 1862 года. Если книга выйдет 13 февраля, то это будет как раз в тридцать первую годовщину выхода «Собора Парижской богоматери» — день в день. «Ничего, — смеется Гюго, — тринадцатое число не повредило первому моему роману».

Уже написан окончательный текст предисловия. В нем коротко определены главные проблемы романа — «три основные проблемы нашего века — принижение мужчины вследствие принадлежности его к классу пролетариата, падение женщины вследствие голода, увядание ребенка вследствие мрака невежества… До тех пор, пока будут царить на земле нужда и невежество, книги, подобные этой, окажутся, быть может, не

бесполезными».

Лакруа советует сократить философские и лирические отступления. Гюго отказывается наотрез. «Драма быстрая и легкая будет иметь успех 12 месяцев, драма глубокая будет иметь успех 12 лет», — отвечает он издателю. Эта книга, «соединение истории и драмы», должна стать одной из вершин его творчества, и ей, как и каждой высокой вершине, нужны просторы и воздух.

Первая часть рукописи отослана в декабре издателю в Брюссель, но у автора, по собственным его словам, работы еще сверх головы. «Я работаю над книгой до последней минуты», — пишет он Полю Мерису, своему «альтер-эго», неизменному помощнику в периоды издания его произведений. Над шлифовкой рукописи Гюго трудится по утрам — от семи до одиннадцати. Исправленные страницы тотчас же передаются Жюльетте Друэ и Жюли Шэне для переписки; теперь у Гюго появилась еще одна помощница — младшая сестра Адели Жюли живет с ними в Отвиль-хаузе и ведет хозяйство, так как госпожа Гюго вместе с дочерью по нескольку месяцев в году проводит в Париже. Переписчицы стараются изо всех сил. Ни за какую плату не найдешь таких верных, усердных, преданных помощниц, как Жюльетта и Жюли. После полудня Гюго проверяет копии, сделанные ими вчера. Потом перерыв на обед. А с семи до одиннадцати вечера — работа над корректурами.

В феврале в Брюссель отправлена вторая часть книги, в марте — третья. Теперь уже автор торопит издателя. Чем объясняется задержка в выходе первого тома?

Шарль зовет отца приехать в Брюссель. Там они могли бы собраться всей семьей и побыть вместе, пока издается книга. Но Гюго предпочитает работать на Гернсее. В Брюсселе у него не будет необходимого уединения и покоя. Лучше, если б вся его семья вернулась в Отвиль-хауз, сейчас с ним только младший сын. «Мой идеал уединенной жизни, — пишет Гюго жене, — это, когда вы все здесь». Шарль в своей комнате; Франсуа Виктор — в своей, и Огюст Вакери, и чета Мерисов, и чета Мишле, и Жорж Санд, и Дюма — словом, все родные и лучшие друзья.

Первый том «Отверженных» вышел в свет 3 апреля 1862 года. Успех превзошел все ожидания. В лавке Паньера, где продается книга, с утра очередь. Роман Гюго читают повсюду — в лачугах и во дворцах, на бульварах и в приемных министров.

Весь Париж говорит о Фантине и Жане Вальжане; читатели ждут продолжения. Что будет дальше с героями?

Сразу же появляются отзывы в печати. Одна из первых ласточек — рецензия Бодлера в газете «Бульвар». Бодлер не

совсем искренен. В печатном отзыве он восхищается романом, а при разговорах о книге Гюго в своем кругу пожимает плечами. Проповеднический тон, тяготение к колоссальности, республиканский пафос — все это чуждо автору «Цветов зла».

Гюго снова чувствует себя в центре схватки. Замысел его романа представляется некоторым даже либеральным критикам опасным посягательством на твердыни общества. «Г-н Гюго написал не социалистический трактат, но он сделал вещь, которая — нам уже известно это по опыту — гораздо опаснее, — предостерегает читателей „Журналь де Деба“, критик Кювилье-Флери. — Эта книга, весьма знаменательная по своей тенденции, — не только творение писателя, но и деяние человека, я бы сказал, деяние партии; это подлинная демонстрация 1848 года». Критик считает автора «Отверженных» «первым демагогом Франции». Гюго не удивлен. Он ожидал такого рода оценок. В реакционной прессе Франции и других стран против «Отверженных» ополчаются еще более яростно. Особенно негодуют клерикальные газеты и журналы. Мадридская газета церковников утверждает, например, что писателя Виктора Гюго вообще не существует, а подлинный автор «Отверженных» — это сам сатана.

Выкрики реакционеров убеждают автора в том, что книга его бьет в цель. Об этой большой цели он написал Ламартину. Ламартин спрашивал, разрешит ли «дорогой Виктор» своему старому другу высказаться откровенно об «Отверженных»? Книга, конечно, прекрасна, но во взглядах на нее могут существовать и некоторые противоречия, и Ламартину она кажется излишне радикальной. Но, конечно, он не станет выступать со своим мнением, если Гюго это будет неприятно. Гюго тотчас же ответил.

«Мой прославленный друг!

Если быть радикальным — значит служить идеалу, то я радикал… Да, общество, допускающее нищету, да, религия, допускающая ад, да, человечество, допускающее войну, представляются мне обществом, человечеством и религией низменного порядка, я же стремлюсь к обществу высшего порядка, к человечеству высшего порядка, к религии высшего порядка: к обществу — без монарха, человечеству — без границ, религии — без писаных догматов. Да, я борюсь со священником, торгующим ложью, и судьей, попирающим справедливость… Да, насколько может желать человек, я желаю уничтожить злой рок, тяготеющий над человечеством; я клеймлю рабство, я преследую нищету, я искореняю невежество, я лечу болезни, я освещаю мрак, я ненавижу ненависть. Вот каковы мои убеждения, и вот почему я написал „Отверженных“.»

Гюго вспоминает годы юности, свои ранние статьи, в которых он прославлял величие и талант Ламартина. «Сегодня вы считаете, что пришел ваш черед говорить обо мне, и я горжусь этим. Мы любим друг друга уже сорок лет, и мы оба живы. Вы не захотите омрачить ни наше прошлое, ни наше будущее… Делайте с моей книгой и со мной то, что сочтете нужным. От вас может исходить только свет».

И Ламартин «осветил» роман Гюго в своих очередных «Беседах», входящих в его популярный курс литературы. «Надо было назвать эту книгу не „Отверженные“, а „Виновные“», — заявил старый друг Гюго. В героях романа Ламартин не усмотрел ничего высокого и подлинно человеческого. Жан Вальжан — всего лишь обыкновенный преступник, Фантина — публичная женщина и ничего более, а епископ Мириель — очень подозрительная личность, это «социалист, сам того не ведающий». Не пощадил Ламартин и художественную форму романа. Он укоряет автора в «неопрятности выражений, в преувеличениях, в тягостных ошибках, в нечистоте вкуса…». Разумеется, Ламартин признает высокий талант и благородные намерения автора, и все же книга представляется ему опасной вдвойне: «не только потому, что она устрашает счастливых, но и потому, что возлагает неоправданные надежды на несчастных».

Отзыв друга больно поразил Гюго. Ламартин, этот поэтический лебедь, ранил старого друга своим клювом. И либеральные «лебеди» ламартиновского толка, и буржуазные гуси, и монархические коршуны, и всяческие неразборчивые задиристые воробьи неопределенной окраски налетают на автора «Отверженных». Обвинительные речи, пародии, памфлеты так и сыплются на его голову. Образчиком злопыхательства может служить книжка некоего Эжена де Мирекура «Истинные отверженные».

Но хвалебных отзывов не меньше. И самое важное то, что читатели приняли и полюбили книгу. Успех у публики неоспоримый, прочный и долговременный. И не только во Франции. Роман сразу же перевели на многие европейские языки. В далекой России его начали печатать в трех журналах одновременно. Но царская цензура приостановила публикацию «Отверженных»; говорили, что это было сделано по распоряжению самого Александра II. Царь прочитал книгу Гюго и нашел ее опасной для общественных устоев. Но читающая публика России знакомится с романом Гюго во французском издании. С волнением читают эту книгу Толстой и Достоевский.

16 сентября 1862 года в Брюсселе праздник литературы: банкет в честь романа «Отверженные», устроенный друзьями

Гюго. За громадным столом собрались гости из Парижа, Лондона, Стокгольма, Мадрида. Звучат заздравные тосты.

Гюго, поднимает бокал за прессу. «За прессу всех народов! За прессу свободную! За прессу могучую, славную и плодотворную!» Пресса — это «локомотив прогресса». «Близится час, когда человечество выйдет, наконец, из темного тоннеля, в котором оно пребывало шесть тысяч лет», — говорит Гюго.

Он обращается к французским друзьям: «Одиннадцать лет назад вы провожали почти совсем молодого человека, сейчас перед вами старик. Волосы изменились, сердце — нет».

Искусство для жизни! (1862–1866)

Каменное кресло на скале, созданное самой природой, — любимый кабинет Виктора Гюго. Уединение. Высь. Горизонты. Здесь перед ним возникают видения «Легенды веков». Сюда несут к нему ветры с четырех сторон света голоса настоящего. Продолжение «Легенды веков». Творимая сегодня жизнь. Ее голоса призывают: стоны, мольбы о помощи, отдаленные звуки боя. Злобный вой врагов. Нет. Он не станет читать тех семисот

сорока статей (издатели его точно подсчитали их число), которые опубликованы против него реакционной и клерикальной печатью Бельгии, Италии, Австрии, Испании. Жизни не хватит, если сводить счеты с каждым мелким хищником. Но он будет продолжать бой со всей черной сворой, откликаясь на голоса воинов света — бойцов прогресса, таких, как Герцен, Гарибальди, Барбес, Джон Браун, таких, как тот безвестный русский офицер, что попросил французского поэта выступить в защиту, восставших поляков, как те мексиканские патриоты, что отстаивают свою родину от захватчиков-колониалистов. Он всегда будет выступать против гнета и унижения человека, против войн и смерти, плахи и виселицы.

Какой-то безвестный поэт обратился к бельгийскому королю с просьбой о помиловании девяти преступников, приговоренных к смертной казни в городе Шарлеруа. Он подписал свои стихи именем Виктора Гюго. «Когда дело идет о спасении человеческих жизней, то пусть употребляют мое имя», — написал Гюго в своем воззвании, обращенном к бельгийскому народу. Дело пересмотрели, и казнь семи преступникам была заменена каторгой.

Осенью 1862 года в Женеве пересматривалась конституция. Гюго обратился к народу республики с призывом отменить смертную казнь. В своем воззвании он разоблачал законы сытых, направленные против бедняков. Не жизнь и достоинство человека призваны они охранять, а достояние и привилегии властителей. «Дряхлая кара прикидывается угнетенной невинностью, — писал он. — Сослать, например, Жана Вальжана на каторгу за корку хлеба — да разве это мыслимо? А между тем в 1816 году она сослала на вечную каторгу голодных бунтовщиков департамента Соммы… Закон всегда косо смотрит на голод.

Было бы отрадно, если бы Женева пошла вперед в тот момент, когда вся Европа движется назад, и отменила бы смертную казнь… Смерть смерти!» — призывал писатель.

Конституция Женевы была пересмотрена. Смертная казнь отменена в маленькой республике.

* * *

На Гернсее Гюго часто видит детей с впалыми щеками, с лицами, прозрачными от бледности. Видно, они никогда не едят мяса, не знают, что такое лакомства, не знают веселых домашних праздников, когда на столе изобилие, когда все кругом улыбаются. Это дети бедняков. Но бедняки — гордые люди, их

нельзя оскорблять подаянием. Дети бедняков будут гостями в доме поэта.

Вторники в Отвиль-хаузе теперь особенные дни. С утра в доме оживление. Готовится большой стол в одной из самых просторных комнат, а летом — на воздухе в саду. Пятнадцать, а то и двадцать детей придут в гости. И каждого из них надо накормить вкусно и сытно, чтоб им еще и еще захотелось прийти в этот дом. Стол накрыт. Гости собрались. Хозяйки хлопочут, и хозяин вместе с ними. Надо помочь самым маленьким справиться с непослушной ложкой. Одного приласкать, с другим перекинуться веселым словцом. Здесь, за большим столом, собрались и гернсейцы, и англичане, и французы, дети местных рыбаков и каменотесов и дети ссыльных. Дети католиков, дети баптистов и лютеран. «Это не милостыня — это братство», — говорит Виктор Гюго и католическим священникам и протестантским министрам, которые иногда просят разрешения заглянуть в Отвиль-хауз в один из вторников.

По вторникам дом звенит детскими голосами, но с другие дни недели здесь тихо и немного грустно. Жена поэта и ее верный рыцарь Огюст Вакери, и Шарль, и его собака Люкс — все они в Париже. Шарль вместе с Полем Мерисом пишет драму по роману «Отверженные», а госпожа Гюго трудится над корректурами, Огюст Вакери помогает ей. Десять лет Адель Гюго камешек за камешком строила свою книгу. И вот первый том выходит в свет.

В июньское утро 1863 года за завтраком в фаянсовой столовой Отвиль-хауза оживление. На столе лежит новенькая, еще не разрезанная книга «Виктор Гюго, рассказанный свидетелем его жизни». Кто будет читать первым? После шутливого спора Франсуа Виктор уступает отцу, герою этого повествования.

Оторвавшись от всех дел, Гюго страницу за страницей пробегает книгу о своей молодости. Голос матери. Юная Адель. Первые битвы и победы. Друзья.

Многих теперь уже нет. Уже несколько лет прошло, как умер брат Абэль. В могилах Нодье, Давид д'Анже, Бальзак; замолк навсегда Беранже. А некоторые из тех, кто остался в живых, дальше от Гюго, чем тени мертвых.

Сент-Бёв. Его бы Гюго рад совсем вычеркнуть из памяти, хоть этот человек и был когда-то его первым другом и славится как крупный критик.

Теофиль Готье. Он давно уже не носит красного жилета, не рвется в битву… И лебедь Ламартин присоединился к воробьям,

которые рады бы заклевать гернсейского изгнанника. Им не по пути с теми, кто стремится вперед. Уметь идти вперед. Как это бывает порой трудно!

«Из всех восхождений, ведущих из мрака к свету, самое благородное и самое трудное — родиться роялистом и аристократом и стать демократом». Эти слова Гюго написал еще десять лет назад, подытоживая пройденный путь. Не останавливаться в пути, видеть будущее — это значит сохранять молодость. Молодость. Пора дерзаний. Разве она совсем прошла для него? Его сверстники брюзжат, шамкают, носятся со своими ревматизмами, клонятся к закату, сходят на нет, а он на своей скале чувствует себя, может быть, крепче и свежее, чем в молодости.

Он должен осуществить грандиозный замысел! «Девяносто третий год». Книга о революции. «Писать о девяносто третьем годе — это все равно что приводить в движение горы». Не стар ли он все же для этого? Гюго уже сообщил издателю Лакруа о своих планах. Правда, работу над этой книгой пришлось на время отложить. Вмешался Шекспир. В 1864 году исполняется триста лет со дня рождения этого гения, Гюго-сын заканчивает свой колоссальный труд — перевод Шекспира на французский язык, а Гюго-отец пишет предисловие, но оно разрастается в целую книгу.

И еще один замысел сложился у поэта — издать новую книгу стихов, юношески задорную, полную солнца, смеха, молодого озорства.

Блажен, кто, преданный веселью,
Под сенью виноградных лоз
Свой ревматизм прикрыл фланелью,
А в мудрость смех веселый внес.

Он назовет эту книгу «Песни улиц и лесов». Туда войдут некоторые стихи, написанные еще в молодости, но очень много новых. Он не разучился смеяться, видеть красоту, любить жизнь.

Пусть укоризненно косятся сверстники, пусть их покашливают и покряхтывают, он выпустит такой сборник.

Перелистывая книгу о своей молодости, седобородый поэт замышляет планы, которые были ему, пожалуй, не по плечу и в годы романтических битв.

Недавно спокойный Отвиль-хауз в смятении — исчезла Адель-младшая, тихая и печальная мадемуазель Дэдэ. Сначала все думали, что она уехала в Париж к матери, но скоро узнали,

что там ее нет. Принялись за розыски и выяснили, что Адель отплыла с Гернсея на корабле, идущем в Канаду. Постепенно открылись и причины этого неожиданного бегства. Адель отправилась в Галифакс вслед за молодым английским офицером Пинсоном. Они познакомились еще на Джерси. Пинсон был как-то в доме Гюго на елке. С тех пор Адель ни на кого другого не хотела смотреть, отвергала все предложения и становилась все грустнее. Но никто не знал о ее любви к Пинсону, не знал о ней и сам молодой офицер.

Беглянка через некоторое время прислала письмо родителям. Она пишет, что счастлива и скоро выйдет замуж. «Что же делать, — говорит госпожа Гюго, — она уже совершеннолетняя и имеет право распоряжаться своей судьбой». «Дочь моя стала англичанкой, вот к чему приводит изгнание», — сообщает Гюго друзьям.

Уже позже поэт и его жена узнали, что Пинсон женат на другой, никогда не делал предложения их дочери и не понимает, чего она ждет от него. Отец и мать умоляли Адель вернуться, но она просила оставить ее в покое. Хозяйка ее квартиры в Галифаксе сообщила, что девушка целые дни проводит одна в своей комнате и только иногда выходит на улицу, чтоб издали увидеть Пинсона.

Никакие уговоры не действуют. Реальности для нее больше не существует. Она целиком ушла в свои мечты. На Гернсей Адель так и не вернулась. Еще один удар судьбы. Еще одна незаживающая рана, которая до конца будет глухой болью тревожить Виктора Гюго.

* * *

Дни коротки, времени не хватает, сетует Гюго в письмах к сыну Шарлю. При вечернем свете ему трудно писать. Он встает на рассвете и пишет под шум океана. Ему кажется, что этот шум сливается с его мыслями. Он пишет книгу о Шекспире, которая должна стать его новым манифестом, книгой о задачах искусства и, конечно, книгой о современности, о путях прогресса.

Говорить о Шекспире — это прежде всего говорить о гениальности. Гюго смотрит на Шекспира как на одну из высочайших вершин в великой горной цепи гениев человечества. Превосходят ли эти вершины одна другую? Представляет ли собой развитие искусства некую лестницу, где каждая следующая ступень выше предыдущей? Гюго уверен, что это не так. Развитие искусства отличается от развития науки, где каждая новая

ступень отменяет и превосходит пройденную. Эсхил не превосходит Гомера. Рабле не отменяет Данте. Но, создавая и сохраняя непреходящие ценности, искусство вечно движется вместе с человечеством, и великие художники подымаются на новые вершины, окидывая с них взором новые горизонты. Вершины искусства своеобразны и несравнимы, утверждает Гюго. И было бы нелепо и гибельно, если б один великий художник основывался бы на подражании другому.

Как и в дни своей романтической молодости, Гюго любуется гигантом Шекспиром и его творениями. Великий дар воображения, реальность и фантазия — все слито здесь. Гении, подобные Шекспиру, способны к «двойному отражению» — они видят одновременно две стороны вещей. Отсюда контрасты, переходы, полюсы. Титания и леди Макбет. Отелло и Дездемона. «Шекспир весь в антитезах».

А критики постоянно обвиняют в излишнем пристрастии к антитезам Виктора Гюго. О эти критики! «Зоил так же вечен, как Гомер». Одна из глав книги о Шекспире будет носить такое заглавие.

Гюго высмеивает современных критиков, призывающих писателя к «скромности» и «трезвости» прежде всего.

«Некая школа, называемая „серьезной“, провозгласила в наши дни такую программу для поэзии: трезвость. Можно подумать, что все дело в том, чтобы уберечь литературу от несварения желудка», — иронизирует Гюго. Они хотят посадить на диэту гения. Еще бы! «Лиризм опьяняет, прекрасное одурманивает, великое ударяет в голову… после того, как вы шагали по звездам, вы, чего доброго, откажетесь от должности субпрефекта». Поэтам рекомендуется «не захаживать в кабак возвышенного».

«Трезвость, приличие, уважение к властям, безупречный костюм. Истинная поэзия должна быть всегда одета с иголочки. Непричесанные саванны, лев, не стригущий своих когтей, мутный поток, море, обнажающее свой пуп, туман, так высоко задирающий подол, что видно созвездие Альдебарана, — все это неприлично…»

«Две критики, две родные сестры, доктринерская и клерикальная, занимаются воспитанием писателей. Дрессируют их с малолетства…

Отсюда — особые правила, особая литература, особое искусство. Направо равняйсь!.. Нужно посадить тех, кто мыслит, на крепкую цепь. В конуру! Ведь это так опасно!..»

Стрелу за стрелой мечет Гюго в лагерь чахлой литературы и чахлой трусливой критики, в опошлившееся, измельчавшее и

самодовольное общество второй империи, в мельчающее, карманное, камерное искусство, которое боится мощных звуков труб и призывного рога.

«Вот уж скоро три века, как требующие воздержания критики смотрят на Шекспира — этого поэта, полного огня, с таким недовольным видом, какой, вероятно, бывает у тех пасынков судьбы, которые в гареме вынуждены довольствоваться ролью зрителей…» Человек, Солнце, Земля, Величие, Изобилие — вот стихии Шекспира, «Чернильница его дымится, как кратер. Он всегда в действии, в напряжении, в пылу, в походе…

Шекспир запрокидывает чашей всю природу, пьет и вас заставляет пить… Он безжалостен к бедным маленьким желудкам кандидатов в Академию».

Да, Гюго восхищается Шекспиром. Рисуя его образ, он особенно подчеркивает те черты, которые близки ему самому. Ведь Гюго всегда чувствует себя в пылу, в походе, в бою, и «чернильница его дымится, как кратер».

Бороться, вторгаться в жизнь — долг и назначение писателя!

«О мыслители! Служите людям! Будьте полезны!.. Гений не создан для гения, он создан для человека». Гюго решительно восстает против «любовников чистого искусства», которые боятся запачкать руки служением полезному. Задачи писателя всегда задачи социальные, об этом говорили еще поэты древности.

Соединение полезного и прекрасного — это и есть возвышенное. «Искусство для искусства» — эта формула была чужда всем истинным гениям. Ей не подчинялись ни Данте, ни Ювенал. Вся история — свидетельство сотрудничества искусства с прогрессом.

Поэт, сидя на своей скале, пишет книгу об искусстве, но ему кажется, что он стоит на трибуне, перед несметной толпой слушателей. Эстетический манифест превращается в страстный политический призыв.

«Освобожденный народ — вовсе не плохой конец поэтической строфы. Служение патриотическим или революционным задачам ничего не отнимает у поэзии».

Одна из последних глав книги называется «Девятнадцатый век». «Тройное движение девятнадцатого века — литературное, философское и социальное — движение единое, это не что иное, как течение революции в области идей…» Девяносто третий год — вот где истоки движения. «Революция выковала фанфару. Девятнадцатый век трубит в нее… Мыслители нашего времени — поэты, историки, ораторы, философы — все они ведут свое начало от французской революции…

Торопитесь же, торопитесь, мыслители. Дайте человечеству

вздохнуть полной грудью… Прочь бесполезное! Прочь косность!.. Жить — это долг каждого. Идти, бежать, парить, лететь — таков всеобщий закон.

Толкать вперед, торопить, будить, подстрекать, вдохновлять — эта миссия, повсюду выполняемая писателями, и придает литературе нашего века столь могучий и самобытный характер».

Заключение книги — гимн революции — источнику великой литературы XIX века, гимн прогрессу и его воинам — людям мысли. Историю надо написать заново, утверждает Гюго. Аристотеля поставить впереди Александра Македонского.

Если сравнить книгу о Шекспире с предисловием к «Кромвелю», можно ясно увидеть, что сохранилось, а что изменилось в литературных и политических взглядах автора за прошедшие десятилетия.

«Романтизм — это либерализм в литературе», — провозглашал Гюго в начале 30-х годов в предисловии к «Эрнани».

«Романтизм — это социализм в литературе», — утверждает он в книге о Шекспире. В слово «романтизм» писатель вкладывает очень широкое содержание. Для него это прежде всего прогрессивное искусство девятнадцатого века, которое откликается на все требования своей эпохи и в то же время опирается на некоторые непреходящие принципы, свойственные передовому искусству всех времен.

Книга закончена. Рукопись выслана издателю. Как всегда, работа продолжается в корректурах. Мобилизованы верные помощники — Вакери и Мерис. Гюго поторапливает издателя Лакруа — книга обязательно должна появиться к юбилейной дате. В Лондоне давно организован юбилейный комитет по празднованию трехсотлетия со дня рождения Шекспира. Гюго избран его почетным членом, вводят в члены комитета и Гюго-сына. Перевод драм и сонетов Шекспира, сделанный Франсуа Виктором, заслужил самые одобрительные отзывы. «Шекспир без намордника», — так назвал Виктор Гюго в своем предисловии переводы сына.

Во Франции тоже создан шекспировский комитет. В него вошли виднейшие деятели литературы и искусства: среди них Берлиоз, Барбье, Дюма, Теофиль Готье, Проспер Мериме, Жорж Санд, Поль Мерис, Франсуа Виктор Гюго.

Члены комитета обратились с письмом к гернсейскому изгнаннику — они единогласно избрали его своим председателем. Гюго не сможет присутствовать на торжественном заседании, но на председательском месте будет стоять его пустое

кресло.

Поэт откликнулся приветственным письмом и предложил тост для торжественного банкета: «За решительные успехи выдающихся людей мысли и за единение народов в их общем движении к прогрессу и идеалу!»

Мятежные тосты, многозначительное пустое кресло — все это показалось опасным французским властям, не выльется ли это чествование Шекспира в прославление изгнанного из Франции врага империи? Юбилейные торжества в Париже были запрещены. Но книга Гюго вышла в свет к юбилейной дате. Большинство французских критиков не поняло или не захотело понять ее пафос. Противники писателя кричали, что ему нечего, мол, браться за критику, что он просто смешон, пытаясь возвеличивать самого себя под видом Шекспира, что книга его, мол, только для того и написана, чтобы причислить Гюго к плеяде мировых гениев и оправдать его неуемную страсть к преувеличениям и антитезам.

Но друзья оценили этот труд по достоинству. Порадовал Гюго восторженный отзыв Жорж Санд. Она всегда была близка ему по духу, и теперь, когда большинство сверстников далеко отошло от него, он особенно ценит эту внутреннюю близость. Гюго посылает Жорж Санд восхищенное письмо.

«Я очень рад, что написал эту книгу, раз она вам доставила удовольствие. Значит вы меня немного любите? Правда? Признаюсь, это было одним из моих честолюбивых мечтаний. Я очень честолюбив.

Я хотел бы повидаться с вами. Это тоже моя мечта… Мне бы хотелось побыть в каком-нибудь тихом уголке нашей планеты, в Ногане или Гернсее или в Капрере, с Гарибальди и с вами. Мы бы поняли друг друга. Мне представляется, что мы трое — три неплохих человечка наших дней. Как жаль, что Ноган для меня под запретом. Мне говорят, что я добровольный изгнанник. В том-то и дело, черт возьми! Поэтому я и закован в цепи…»

* * *

«Впереди у меня мало лет, а надо еще создать или закончить много книг», — пишет Гюго издателю Лакруа в мае 1865 года.

В половине шестого утра он уже за своим пюпитром. Перед глазами океан. Этой весной он был особенно бурным. И писатель жил среди бушующих валов вместе с героями своего нового романа. Боролся с чудовищами, с голодом, совершал неимоверные подвиги….

Сначала он думал назвать роман «Бездна», но потом остановился на другом названии «Труженики моря». По замыслу автора этот роман должен быть внутренне связан с прежними. Объединяющая идея — борьба человека с роковыми, враждебными ему стихиями. В «Соборе Парижской богоматери» — стихия религиозных догматов; в «Отверженных» — стихия социального зла; в «Тружениках моря» — стихия природы.

Писателя вдохновили на этот роман гернсейские рыбаки, матросы — люди, богатство которых в их мужественных сердцах и золотых руках. Изо дня в день он наблюдал их жизнь, видел, как плетут они рыболовные сети, чинят лодки, как уходят в море на своих бедных рыбацких лодчонках и побеждают океанские валы. Он знал их невзгоды и мечты. Как загорались их глаза при виде шхуны с паровым двигателем. Но только богач мог стать владельцем такого чуда.

В порту Гюго беседовал с моряками — тут были и капитаны, и старые шкиперы, и матросы всех национальностей. Он усвоил «морской язык», знал все специальные термины. Не раз он плавал на судах, изучая морские окрестности Гернсея и других островов Ламанша.

Гюго посвятит новый роман острову Гернсею. Каждый уголок своего убежища изучил он за долгие годы изгнания. Причуды моря и очертания прибрежных скал; травы на лугах и овощи на огородах; хижины рыбаков и притоны контрабандистов; веселые фермы, окруженные цветниками, и заброшенные строения — дома-мертвецы…

Он изучил легенды, песни, поверья жителей островов Ламанша: призраки, плывущие над ночным морем; колдуны и знахари, ведьмы, нечистая сила. Стихия суеверий и диких предрассудков сильна на Гернсее. И церковь поддерживает эти предрассудки; более того, церковь призывает своих состоятельных прихожан служить злу, оправдывая насилие и рабство текстами из священного писания.

В «Тружениках моря» реальное сочетается с идеальным; жизненно-бытовое с фантастически-сказочным, живой юмор со страстной патетикой, очерк с легендой.

Простой рыбак Жильят любит приемную дочь судовладельца Летьери, юную жизнерадостную Дерюшетту.

Ради нее Жильят идет на подвиг. Как сказочный богатырь, борется он с океанской стихией и отвоевывает у бурь, скал, бездн и вихрей сердце парохода «Дюранда», судовой механизм, сохранившийся в целости после кораблекрушения. Поединок человека со стихией. Стойкость, находчивость, мужество, сметка человека-труженика. Руки плотника, выправка матроса, ум

изобретателя, сердце героя, воля борца — все соединилось в скромном Жильяте. Труд — творчество. Труд — подвиг. Ему слагает гимн поэт-повествователь. Гимн самозабвенному труду и самоотверженной любви. Безродный рыбак вырастает в гигантскую символическую фигуру, в идеальный образ могучего и благородного сына природы, покоряющего стихию, побеждающего страшное чудовище — осьминога. Чистый, сильный, добрый, цельный, он бесконечно возвышается над мелкими людишками-хищниками, над корыстолюбивыми и жестокими людьми-спрутами.

Подвиг совершен. Награда заслужена. Но Дерюшетта любит другого, и Жильят жертвует собой, чтоб она была счастлива. Он добровольно уходит из жизни. Бури сердца страшнее всех стихий.

Автор хочет открыть книгу обширным очерком, посвященным островам Ламаншского архипелага. Но издатель возражает. Очерк слишком тяжеловесен, заявляет он, и может отпугнуть читателей. Издание книги задерживается из-за этого спора.

Роман «Труженики моря» вышел в свет только в марте 1866 года без вводной главы. Гюго поместил ее в следующем издании. Художник Гюстав Доре иллюстрировал книгу.

«Молодой, даровитый мэтр! Благодарю вас, — пишет ему Гюго 18 декабря 1866 года. — Сегодня, несмотря на бурю, до меня дошла ничуть не уступающая ей в силе иллюстрация к „Труженикам моря“. Вы изобразили на этом рисунке и кораблекрушение, и корабль, и риф, и гидру, и человека. Ваш спрут страшен. Ваш Жильят велик».

Журналы печатают роман после того, как он вышел книгой, чтобы поднять свои тиражи, — такой успех у читателей. Парижанки заказывают шляпки в форме осьминога; в ресторанных меню блюда «à la осьминог» становятся самыми модными. Жена в своих письмах рассказывает обо всем этом поэту.

Прочитали книгу и моряки Гернсея. Через некоторое время автор получил от них большое благодарственное письмо. Гюго ответил им:

«Я вас приветствую. Я скажу вам, кто такой я сам. Я матрос. Я борюсь с бездной; я испытываю яростный напор северных ветров. С меня струится вода, я стучу зубами, но я улыбаюсь. И иногда, так же как вы, пою печальную песнь… Я сопротивляюсь, и я даю отпор деспотам, как вы — циклонам. Пусть рычат вокруг меня гнусные стаи, стаи псов мрака, — я исполню свой долг, ненависть их столь же мало тревожит меня, как вас морская пена».

Швырять камни во дворцы тиранов (1867–1870)

Пожилая дама выходит из кареты у подъезда театра «Комеди Франсэз». Спутник заботливо поддерживает ее; худой, бородатый, он слегка прихрамывает. Ревматизм. И виски уже серебрятся.

— Мы не опоздали, Огюст?

Вакери успокаивает ее, они приехали как раз вовремя. Шумная толпа у входа раздвигается и замолкает, пропуская эту пару. Слышен почтительный шепот:

— Это госпожа Гюго. Жена поэта.

Какие-то юноши глядят на нее блестящими от любопытства глазами. Ей вспоминается армия длинноволосых энтузиастов.

Тридцать семь лет назад. Но у тех глаза сияли ярче. А ее собственные глаза теперь совсем плохо видят.

В ложе собрались друзья. Виктор Гюго с Гернсея прислал им билеты на это представление, такие же красные квадратики картона, как тогда, и надпись «Hierro».

Занавес поднимается. Те слова, что когда-то встречали пронзительным свистом, теперь вызывают шумные рукоплескания. Первый раз со дня декабрьского переворота на сцену парижского театра допущена пьеса Гюго. Объясняется это тем, что в Париже в 1867 году Всемирная выставка, и Франция обязана показать миру все самое примечательное, что создано ею в девятнадцатом веке. Туристы наперебой раскупают маленькую книжечку «Париж», изданную недавно. Ее написал Виктор Гюго. Это очерк, история и поэма. Это гимн писателя любимому городу, гимн революции. «Париж — то место земного шара, где слышнее всего, как трепещут незримые и необъятные паруса прогресса…» «Быть Парижем — значит двигаться вперед…» После восемьдесят девятого года, революции политической, Париж совершил 1830 год, революцию литературную… А что же теперь, в глухие годы империи? «Сегодня, когда реакция ополчается против всего прогрессивного — именно сегодня полезно, необходимо, справедливо воздать должное Парижу… всеобщее движение к свободе неудержимо продолжается». Разве это не похоже на призыв к восстанию?

И как только разрешили это издание? Опять же из-за Всемирной выставки. Цензура империи допустила на этот раз «послабление»: пусть говорят, что во Франции свобода печати.

Адель глядит на сцену. Слезы туманят глаза, а она должна все заметить, все запомнить, чтоб рассказать в письме Виктору. Надо улыбаться. На нее смотрят.

Поздравительные письма из Парижа стайкой летят на Гернсей. Одно из них особенно радует Виктора Гюго. К нему обращаются молодые поэты, представители нового поколения:

«Дорогой и прославленный мэтр!

Только что мы самыми восторженными аплодисментами встретили вторичное появление на сцене вашего „Эрнани“.

Новый триумф величайшего поэта Франции был огромной радостью для всей молодой поэзии. Вечер 20 июня составит эпоху в нашей жизни…»

Под письмом 14 подписей. В их числе имя Поля Верлена.

«Я лишь скромный солдат прогресса. Я сражаюсь за революцию во всех ее проявлениях как литературном, так и социальном», — отвечает им Гюго.

* * *

В августовский полдень 1868 года Виктор Гюго с женой совершают прогулку по Брюсселю. Они едут в открытой коляске. Солнечно. Празднично. Госпожа Гюго рада, что они вместе, но сердце ее как-то странно сжимается. Ох, это сердце!

— Вот поедем на Гернсей, я тебя вылечу, — говорит ей муж. — Прогулки у моря, жареное мясо, доброе вино, и слабость пройдет. Разве это плохие лекарства?

Адель теперь часто говорит о смерти и стала как-то особенно ласкова с ним. «Моя мечта умереть у тебя на руках», — написала она ему недавно. Надо жить, отвечает он, и жить всем вместе, большой семьей. Хорошо было бы и маленького Жоржа взять с собой в Отвиль-хауз.

Это уже второй Жорж, сынишка Шарля. Первый умер, прожив всего несколько месяцев, как маленький Леопольд, их первенец. А второй Жорж — крепыш и общий любимец семьи, хотя только что появился на свет. Можно ли думать о смерти, когда есть столько людей, которых ты любишь, которые в тебе нуждаются?

Адель улыбается. Ей кажется, что она становится сильнее, когда Виктор рядом. От него так и веет силой, он никогда не состарится. Крепкие плечи. Густые волосы. Цирюльники жалуются, что бритва их не берет… Быть вместе, радоваться этой минуте и не думать о конце.

На Гернсее госпожа Гюго бывает теперь редко. Год назад, после Всемирной выставки, она навестила Отвиль-хауз, и первый ее визит был к Жюльетте Друэ. Она, наконец, примирилась с ней. Той же осенью Виктор Гюго привез Жюльетту в Брюссель, и она была принята как своя в кругу семьи. Первый раз… Старые обиды ушли в прошлое. Жюльетта часами читала госпоже Гюго вслух, нянчилась с малышом. Мир в семье. Теперь бы жить и жить.

Коляска останавливается у дома на площади Баррикад. Здесь живет Шарль.

Это была последняя прогулка Адели Гюго. На другой день около трех часов пополудни у нее начался жестокий приступ сердечной болезни. А еще через два дня ее не стало.

«Умерла этим утром в половине седьмого, — записал Гюго в дневнике 27 августа 1868 года. — Я ей закрыл глаза. Увы… Да будет она благословенна».

Он сам украсил ее гроб белыми маргаритками. Вместе с сыновьями Гюго провожал гроб до французской границы. Он оделся во все черное и теперь всю жизнь будет носить траур.

На кладбище в Виллекье рядом с могилой Леопольдины поставлена еще одна надгробная плита. На ней выгравированы

слова: «Адель. Жена Виктора Гюго».

* * *

«Надо приниматься за работу», — пишет Гюго в дневнике 30 августа 1868 года. Он возвращается в свое «рабочее гнездо» — Отвиль-хауз и тотчас же берется за перо.

Его давний замысел написать роман о французской революции вырос и усложнился за последние годы. Роману о республике должны, по этому замыслу, предшествовать два произведения, изобличающие отжившие государственные формы. Он решил создать трилогию: «Аристократия. Монархия. Республика». Старые формы мешают развитию человечества. Монархии, феодальные пережитки сковывают движение народов, тормозят прогресс. Первый роман трилогии должен быть ударом по королевским дворцам, по тирании предрассудков, сословных привилегий. Особенно живуча эта тирания в Англии, Гюго убедился в этом на собственном опыте за долгие годы жизни на Ламаншских островах, находящихся под протекторатом этой державы. Действие романа будет развиваться в конце XVII века, но роман будет обращен к современности.

На рабочем столе Гюго громоздятся исторические фолианты — старинные труды и книги современников об Англии. Уже сделаны выписки, заметки, заложены нужные страницы. «Нигде не было феодального строя… более жестокого и более живучего», — пишет он. Надменная знать, пэры, бароны, лорды — те, кто по одному праву рождения обладает властью, золотом, земельными угодьями, замками, титулами, привилегиями. И на другом полюсе, внизу, — простолюдины: земледельцы и мастеровые, солдаты и матросы, нищие и скоморохи, те, кого могли безнаказанно топтать, унижать, бросать в тюрьмы, клеймить, вешать, четвертовать. «Лорд не может быть подвергнут пытке, даже при обвинении в государственной измене». «Лорд всегда считается ученым человеком, даже если он не умеет читать. Он грамотен по праву рождения». «Простолюдину, ударившему лорда, отсекается кисть руки». Жестокость, возведенная в закон. Закон, основывающийся на бесчеловечности.

«Все это происходило сто восемьдесят лет назад, — пишет Гюго, — в те времена, когда люди были немного более волками, чем мы.

Впрочем, ненамного».

Виселица и плаха, привилегии и предрассудки, угнетение и лицемерие — все это сохранилось и в XIX веке.

Среди англичан XVII–XVIII веков были люди, которые боролись за высокие принципы, были и добровольные изгнанники. Отец героя нового романа Гюго, лорд Кленчарли, присягнул когда-то республике Кромвеля, не захотел признать реставрированной монархии и стал изгнанником. Разве не похожа судьба Кленчарли на участь гернсейского изгнанника? «В конце концов кто такой этот лорд Кленчарли? — говорили приспешники монархии. — Перебежчик. Он покинул стан аристократии, чтоб примкнуть к стану противоположному, к народу. Следовательно, этот стойкий приверженец республики — изменник… Правда, стан, к которому он примкнул, был побежденным; правда, при этом „предательстве“ он потерял все: свои политические привилегии и свой домашний очаг, свое пэрство и свою родину. А что он выиграл? Прослыл чудаком и должен жить в изгнании. А что это доказывает? Да то, что он глупец! Это бесспорно». Так рассуждали враги Кленчарли в XVII веке. Так говорили и думали враги Гюго в XIX веке.

По королевскому указу компрачикосы, сообщество бродяг, похитителей детей, превращавших их в уродов для забавы знати и черни, украли и изуродовали маленького сына лорда Кленчарли. Сын изгнанника, брошенный судьбой в лагерь угнетенных, и будет главным героем романа. При помощи чудовищной операции мальчика, «прекрасного, как день», превратили в урода. «Унижение человека ведет к лишению его человеческого облика. Бесправное положение завершается уродованием». Лицо Гуинплена — отталкивающая, ужасающая, неподвижная маска смеха. Но душа Гуинплена прекрасна.

Контрасты, гротеск, антитезы, патетика — ими насыщен и этот роман Гюго. Два мира, два лагеря. Фургон странствующих комедиантов — философ Урсус, слепая Дэя и Гуинплен. Здесь любовь, добро, душевная чистота. Королевский дворец — тупая и жестокая королева, развращенная леди Жозиана, их слуги, подобные продажному и злобному Баркильфедро. Здесь — ненависть, лицемерие, распутство.

Переломы судьбы. Сын изгнанника, скоморох Гуинплен волей случая найден и по указу королевы восстановлен в правах, введен в палату лордов. Он произносит речь, бросает правду в лицо угнетателям. «Сам я ничто, я только голос. Род человеческий — уста. Я — их вопль… Страдание — это не просто слово, господа счастливцы. Страдание — это нищета, я знаю ее с детских лет; это холод, я дрожал от него; это голод, я вкусил его; это унижения, я изведал их…

Я пришел от тех, кого угнетают. Я могу сказать вам, как тяжел этот гнет…»

К горлу Гуинплена подступают рыдания, а на лице его чудовищная гримаса смеха. Вопль отчаяния встречен взрывом хохота. Лорды издеваются над ним, они глухи к голосу людского горя.

Разве не напоминает эта речь Гуинплена те речи, которые произносил когда-то депутат Национального собрания Виктор Гюго? Он тоже говорил от лица отверженных, от лица Жана Вальжана, Фантины, миллионов бедняков. И его тоже прерывали свистом, выкриками, хохотом, издевками. Гюго выстоял, но его герой разбит судьбой. Ядовитое дыхание мира богачей умертвило счастье Гуинплена, разрушило жизнь обитателей зеленого фургона. Гибнет Дэя, и Гуинплен уходит вслед за ней. Море и ночной мрак поглощают его.

Гюго хотел назвать свой роман «По указу короля», но потом остановился на более эффектном заглавии: «Человек, который смеется».

Воинствующий демократический дух, страстная защита обездоленных сближают это новое произведение Гюго с романом «Отверженные». Писатель и здесь верен главной теме своего творчества. «Человек, который смеется» глубоко связан со всей борьбой писателя в годы изгнания. Гюго-трибун встает рядом с Гюго-художником. И этим во многом объясняются художественные особенности романа. В напряженно развивающееся действие, построенное на острых конфликтах, постоянно вторгаются потоки публицистики, кипучие, рвущиеся из берегов, — речи трибуна, очерки бытописателя, пояснения историка. Публицистическая стихия здесь сказывается еще сильнее, чем в предшествующих романах. Но авторские отступления не чужеродное тело, а органическая часть произведения. Подобно волнам, они движут, сопровождая своим рокотом, романтическую историю короткой, но драматичной жизни главного героя.

«Человек, который смеется» — самый романтический из трех романов Гюго, созданных в изгнании.

* * *

«Если б вы прочли письма, которые я получаю, вы бы содрогнулись, — пишет Гюго 27 октября 1867 года французскому республиканцу Флурансу. — Все страждущие обращаются ко мне. Чем я могу помочь? Увы! Но все равно я делаю, что могу и как могу. Из своей пустыни я швыряю камни во дворцы тиранов. Да.

Рассчитывайте на меня. До последнего моего вздоха я буду бороться за угнетенных. Там, где льются слезы, там — моя душа».

Флуранс сражается добровольцем в рядах повстанцев Крита. Маленький народ поднялся против турецких угнетателей, и Гюго считает своим долгом выступить в его защиту.

«Крит восстал, потому что иго чужеземца непереносимо… и ты, Франция, восстала бы. Крит восстал — и это прекрасно!»

К так называемым цивилизованным державам обращается Гюго. Что делают они в то время, как на Крите идет резня? Они ведут переговоры. «А между тем турки уничтожают оливковые и каштановые рощи, разрушают маслодавильни, предают огню селения, на корню сжигают урожай, угоняют в горы жителей на верную смерть от холода и голода, обезглавливают мужей, вешают стариков.

…Шесть-семь великих держав в заговоре против маленького народа. Каков же этот заговор? Самый подлый из всех. Заговор молчания.

Но гром в этом заговоре не участвует. Гром разит с небес и на языке политики называется революцией».

На Крите продолжаются бои, и Флуранс остается там. Через год он объявлен вне закона, «греческое правительство охотится за ним, французское правительство предает его». Флурансу грозит тюрьма. Гюго вступается за него и через три недели получает письмо:

«Мэтр! Благодаря вам я вне тюрьмы и опасности. Общественная совесть заставила выпустить человека, за которого вступился Виктор Гюго. Барбес обязан вам жизнью, я обязан вам свободой.

Гюстав Флуранс».

Ирландские женщины обращаются к Гюго с просьбой защитить их мужей, фениев, участников заговора против английского владычества.

«Нет. Англия в 1867 году не казнит Ирландию, — гремит Гюго. — О, вы не знаете, какие ужасные последствия вызывает одна капля позора, попавшая в море славы. Из первой нации вы превратитесь в последнюю… Виселицы не будут воздвигнуты!»

Приговор пересмотрен. Шесть приговоренных спасены от казни.

* * *

14 сентября 1869 года в Лозанне открылся конгресс мира.

Виктор Гюго на трибуне — он председатель. Рукоплескания. Сотни глаз. Вспоминается, как 20 лет назад он открывал такой же съезд друзей мира в Париже.

— Мы хотим мира, страстно хотим его, — говорит Гюго, открывая конгресс. — Мира между всеми людьми, всеми народами, всеми расами… Но первое условие мира — это освобождение. Для освобождения же, несомненно, потребуется революция, изумительнейшая из всех революций, и, может быть, — увы! — война, последняя из всех войн… Исчезнут армии, исчезнут короли… Вот чего мы хотим…

Мы хотим великой республики всего континента, хотим Соединенных Штатов Европы!

Это давняя мечта Гюго. Впервые родилась она еще в годы первых его путешествий на Рейн. Единое, миролюбивое государство Европы. С годами эта мечта приобретала все более грандиозные и величавые очертания. Всемирная республика! Он уже чувствует себя ее гражданином, он верит в нее.

На заключительном заседании конгресса Гюго призывает к единению республики и социализма. «Республика и социализм — это одно и то же… Я — давний социалист. Мои социалистические убеждения восходят к 1828 году…

Я приветствую грядущую революцию».

После конгресса — короткие каникулы: прогулка по Швейцарии. А потом в Брюссель. Там ждут двое внучат: Жорж и новорожденная Жанна.

Шарль курсирует между Брюсселем и Парижем, он весь поглощен работой в газете. Два сына Виктора Гюго и два его друга Поль Мерис и Огюст Вакери основали газету «Раппель»[14]. К ним присоединились талантливые журналисты-республиканцы Анри Рошфор и Эдуард Локруа. Газета продолжает традиции «Эвенман» — те же редакторы, тот же вдохновитель и та же цель — борьба за республику и демократию.

«„Призыв“ — это хорошее название, — говорит Гюго. — Я люблю все значения этого слова. „Раппель“ будет яркой и острой газетой, иногда — луч света, иногда — меч… Точно целиться и метко поражать. Ни один снаряд не должен бить мимо цели. В битве за принципы ни одна пуля не должна пропасть».

Момент для атаки на монархию благоприятный. Трон Луи Бонапарта начинает шататься. Народные волнения усиливаются. Оппозиция растет. Монарх пытается прослыть либералом, чтобы как-то укрепить свои позиции. Осенью 1869 года объявлена еще одна амнистия политическим ссыльным. Гюго отзывается на императорский указ строкой из своей драмы «Кромвель»:

— Радуйтесь! Я оказываю вам милость.

— А по какому праву, тиран?

Позиция добровольного изгнанника тверда: сопротивление до конца. Он напоминает друзьям стихи из «Возмездия»:

Останется один — клянусь, им буду я.

Из Парижа идут все новые вести. В ноябре 1869 года республиканцы организовали демонстрацию на могиле Бодена, депутата, убитого на декабрьской баррикаде; имя его стало символом борьбы за республику. Брожение усиливается, события назревают. Правительство, несмотря на всю свою показную либеральность, то и дело выпускает когти. Газета «Раппель» подвергается преследованиям. В декабре Шарль Гюго приговорен к трехмесячному заключению за антимилитаристские статьи. Виктор Гюго ободряет сына в открытом письме:

«Все хорошо. Будь доволен. Ты совершаешь то же преступление, что и я, предпочитая обществу, которое убивает, общество, которое наставляет и просвещает».

Наступает новый, 1870 год. Девятнадцатая зима изгнания. Гюго в напряженном ожидании перемен.

В Елисейском дворце — логове тирана — настроение тревожное. Военные авантюры не удаются. Мексиканская экспедиция потерпела провал. Отношения на континенте осложняются. Германия накануне объединения и держится по отношению к Франции агрессивно. В воздухе пахнет войной. А внутри страны демонстрации, забастовки, выпады прессы против правительства. Наполеон III совещается с государственными мужами, какие еще шаги предпринять, чтоб укрепить свое положение. Придется маневрировать, прибегнуть к новым посулам и, не откладывая, предпринять некую демократическую инсценировку: предложить французам проголосовать, довольны ли они реформами, проведенными империей начиная с 1860 года. На то, чтобы добиться желательного ответа от избирателей, средства у правительства найдутся. Старые испытанные средства: подкупы, задабривания, угрозы, подтасовки — все это пущено в ход. Семь с половиной миллионов избирателей-французов сказали «да». Два с половиной миллиона промолчали, а полтора миллиона сказали «нет».

— Это не народ ответил «да», — негодует Гюго, — это толпа, толпа в цепях, руководимая приспешниками трона.

Толпа — количество, толпа — стихия злая.
И в слабости своей и в торжестве слепая.

От лица, народа Франции гернсейский изгнанник говорит Наполеону Малому: «Нет!»

«Нам предлагают голосовать за усовершенствование преступления — только и всего, — заявляет Гюго. — Поупражнявшись девятнадцать лет, империя считает себя способной соблазнить нас.

Так вот, мы говорим „нет“…»

14 июля 1870 года в годовщину взятия Бастилии Виктор Гюго сажает в своем гернсейском саду молодой дубок.

— Через сто лет, когда этот дуб вырастет, уже не будет в Европе ни монархов, ни пап, ни войн, Европа превратится в объединенную республику, — мечтает старый писатель.

Какие люди будут отдыхать под развесистой кроной этого дуба, что будет волновать их?

«Будущее принадлежит двум типам людей — человеку мысли и человеку труда, — говорил Гюго. — В сущности, оба они составляют одно целое: ибо мыслить — это значит трудиться».

Дубок тянет к солнцу молодые ветки. Сбудутся ли мечты Виктора Гюго? Увидит ли это дерево в 1970 году счастливую Европу без насилия и угнетения, без войн?

В тот самый день, когда Гюго поливал свой дубок и мечтал о будущем мире, в Европе 1870 года развязывалась кровопролитная война. К ней готовились уже несколько лет. Поводом к тому, чтоб начать ее, послужил пустующий испанский трон. Кто должен унаследовать корону Испании — Наполеон или Вильгельм? Милитаристские круги подбрасывали поленья в костер разгорающейся ссоры. 15 июля бонапартистские агенты, переодетые в рабочие блузы, горланили, шествуя по улицам Парижа:

— На Берлин!

19 июля Франция объявила войну Пруссии.

Гернсейский изгнанник в смятении. Как поступить ему в момент, когда родина его в опасности? Он был бы рад вернуться и, облачившись в мундир национального гвардейца, сражаться за Францию. Но ведь во Франции империя, она еще не пала, как же он может вернуться? Это значило бы нарушить свой обет — сопротивление до конца? Но он не может больше оставаться вдали от Парижа, надо быть там, сделать все, что в его силах, чтобы помочь сокрушить империю — она падет, Гюго не сомневается в этом.

Поэт разбирает и укладывает свои сундуки. Его неоценимое богатство — три сундука рукописей! 15 августа Гюго с семьей Шарля, которая гостила в это лето на Гернсее, выезжает в

Брюссель.

«Все опять становится очень сложным, — пишет он сыну, — Бонапарт может еще вынырнуть. Кризис приобретает странный характер. Мы внимательно следим за всеми событиями и готовы выехать в любую минуту, однако при одном условии, чтобы это не выглядело так, будто мы едем спасать империю».

Но империя была обречена. Бездарные полководцы вкупе с бездарным монархом привели Францию к позорной военной катастрофе. 1 сентября 1870 года в битве под Седаном 83-тысячная армия маршала Мак-Магона, окруженная пруссаками, по приказу Наполеона III сдалась в плен противнику.

Когда весть об этом достигла Парижа, город пришел в волнение. 4 сентября с утра начались массовые демонстрации. В тот же день империя пала. Во Франции была провозглашена республика. Во главе временного правительства национальной обороны встали буржуазные республиканцы. Народ снова был оттеснен от власти. Но все же республиканский переворот был совершен, и Франция переживала патриотический подъем.

Часть четвертая

Грозный год (1870–1871)

— Дайте мне билет до Парижа.

Голос его слегка дрожит. Девятнадцать лет Гюго ждал этой минуты. На четырехугольном кусочке картона, который протягивают ему из окошка кассы, точно отмечена дата окончания ссылки:

5 сентября 1870 года, 2 часа 30 минут дня. Поезд прямого

сообщения Брюссель — Париж.

В Париж! Во Францию! К родному очагу! Что может быть радостнее для изгнанника! Но вернуться в день катастроф, пересечь родную границу в тот час, когда ее переступает враг, что может быть горше для верного сына своей родины?

По Брюсселю разносится весть: Виктор Гюго уезжает во Францию. Вот он шагает по перрону, прямой, широкоплечий, седобородый, мягкая фетровая шляпа надвинута на лоб; на ремешке, перекинутом через плечо, небольшой кожаный чемодан, в нем дневник, записные книжки, дорожные вещицы.

Прощальные приветствия. Поезд трогается. Уплывает перрон с колышущейся стайкой белых платков. Скорей, скорей! Во Францию! В новую главу жизни!

Промелькнула за окнами маленькая Бельгия. Поезд пересекает границу. Поэту хочется поцеловать эту землю. Родные поля, осквернённые войной. Он не отрывается от окна. Все чаще видны разрозненные группы солдат. Синие камзолы, красные панталоны. Воины французской армии. Они бегут в беспорядке. На одной из станций несколько солдат входит в вагон.

— Да, здравствует республика! — приветствует их Гюго и чувствует, как к горлу подступает ком. — Да здравствует французская армия! — И он плачет, глядя на их опущенные головы.

Разве они виноваты в том, что враг топчет французскую землю? Они — храбрецы, Гюго уверен в этом. Виноваты преступники, затеявшие эту войну.

На станции Тернье первая трапеза на родине. Хлеб Франции, груши, выросшие и созревшие под ее небом, бутылка золотистого вина. Жюльетта бережно завертывает крошки. Надо сохранить на память. Сувениры, воспоминания, даты — это ее вторая религия.

Париж все ближе. Сердце бьется сильнее. Поезд останавливается. За окнами гул толпы. Неужели все эти люди пришли встречать его в такой поздний час?

— Да здравствует Виктор Гюго! — кричат они.

С помощью Поля Мериса он поднимается на балкон здания вокзала. Отсюда он обратится к народу.

— Не хватает слов, чтобы выразить, до какой степени меня волнует непередаваемый прием, оказанный мне великодушным народом Парижа. Граждане, некогда я сказал: «Я вернусь в тот день, когда вернется республика». И вот я здесь… Я возвращаюсь сюда, чтоб исполнить свой долг…

Крики восторга несутся к нему.

— Защищать Париж, оберегать Париж… Знаете ли вы, почему Париж — город цивилизации? Потому что он город революции…

Возможно ли, чтоб этот великий город был осквернен, разбит, взят приступом и как — в результате варварского нашествия? Нет, это невозможно, этого не будет. Никогда, никогда, никогда!

И в толпе проносится, как эхо: «Никогда!»

На глазах его слезы. Сердце горит. Ему кажется, что он стоит на скале в час прибоя. Народ похож на океан…

Парижане окружают своего поэта. Они хотят нести его на руках. Прямо в Ратушу!

С трудом ему удается убедить их, что он не собирается свергать правительство республики.

Путь в карете от Северного вокзала до авеню Фрошо, где Поль Мерис снял для Гюго квартиру, длится более двух часов. Карета окружена народом. Трижды она останавливается, и Гюго еще и еще приветствует парижан.

— Один такой час искупает два десятилетия ссылки, — говорит он своим спутникам.

Наутро и все следующие дни не прекращается паломничество писателей, министров, журналистов на авеню Фрошо. Все хотят видеть легендарного Виктора Гюго.

Наносит визит и Леон Гамбетта — Гюго уже много слышал о нем, этот молодой способный адвокат защищал старого революционера Делеклюза, защищал и Шарля на суде, возбужденном империей против редакции «Раппель». Теперь Гамбетта — видная фигура, заместитель генерала Трошю, главы временного правительства республики, и министр внутренних дел. Не хочет ли уважаемый мэтр занять пост в правительстве? — осведомляется Гамбетта. Нет. Виктор Гюго не хочет занимать официальных постов. Он и без них чувствует себя на посту и сделает все, что в его силах, чтобы помочь родине. Прежде всего, полагает он, надо попытаться прекратить бойню. Что, если он сам пойдет безоружный на линию огня и обратится к немцам? Может быть, они прислушаются к его голосу? Он по-прежнему наивно верит в волшебство слова и склонен уверовать в магическую силу своего появления перед врагом. Его отговаривают. Воззвание можно опубликовать, оно дойдет до немцев. И через три дня воззвание появляется:

«Немцы, к вам обращается друг…

Для чего это вторжение? Для чего это варварское наступление на братский народ?

Что мы вам сделали?

Разве мы причина этой войны? Ее хотела империя, она ее затеяла. Теперь империя мертва. Это хорошо.

У нас нет ничего общего с этим трупом…»

Виктор Гюго пытается убедить немецких солдат в

преступности планов уничтожения Парижа, в том, что подобная победа была бы лишь бесчестьем для немецкой нации…

«Не берите на себя такой ужасной ответственности. Остановитесь!»

Он предупреждает их, что Париж уничтожить нельзя.

«Мельчайшие частицы пепла превратятся в ростки будущего… Превращенный в кладбище, Париж по-прежнему будет возглашать: „Свобода. Равенство. Братство!“»

Если его воззвание не подействует (Гюго уже начинает допускать эту возможность), тогда он пойдет сражаться простым национальным гвардейцем, чтобы подать личный пример.

Он плачет, видя батальоны, идущие на фронт под звуки «Марсельезы». Он хочет идти с ними туда, где свистят пули. С большим трудом удается друзьям убедить старого писателя, что своим словом он принесет гораздо больше пользы общему делу, чем гибелью у стен Парижа.

И слово Гюго звучит над Францией. По городам и селениям несется боевой призыв «К французам», клич народной войны.

«…Будем сражаться днем и ночью, будем сражаться в горах, в долинах, в лесах. Вставайте! Вставайте! Ни передышки, ни отдыха, ни сна. Деспотизм атакует свободу. Германия покушается на Францию. Пусть мрачный пламень нашей земли растопит эту огромную армию, как снег. Пусть ни одна пядь земли не уклоняется от своего долга. Поднимемся на грозный бой за родину. Вперед, вольные стрелки! Пробирайтесь сквозь чащи, преодолевайте потоки, продвигайтесь под покровом тьмы и сумерек, ползите по оврагам, скользите, карабкайтесь, цельтесь, стреляйте, истребляйте захватчиков. Защищайте Францию героически, с отчаянием, с нежностью…»

Воодушевляя французов к сопротивлению, Гюго чувствует, что выражает дух и волю самого народа. В эти дни около полумиллиона горожан, крестьян, юношей, стариков добровольно становятся под ружье. В Туре формируется новая добровольческая армия. Жители деревень оставляют свои дома и идут в партизанские отряды. Вольные стрелки-франтиреры метко целятся и наносят немалый урон врагу.

И все же, несмотря на героическое сопротивление народа, враг продвигается в глубь Франции. Оборона страны, оборона Парижа организована плохо. Командование новыми воинскими частями поручено старым генералам — бонапартистам, орлеанистам.

Анализируя происходящие события, Карл Маркс уже ясно видит, что французское правительство национальной обороны превратилось в правительство национальной измены.

В то время как народ читает обращение Виктора Гюго «К французам», министр иностранных дел Жюль Фавр едет на тайное свидание с немецким канцлером Бисмарком. За спиной у французов министр готов договориться с противником о капитуляции. По поручению правительства, столь же тайно, эти переговоры продолжает мрачный карлик Тьер. «Троны падают, кресла остаются»; Тьер снова подбирается к ключевым позициям.

Но Гюго в эти осенние дни 1870 года еще полон веры в честность правительства и в возможность победы. Все труднее становится в осажденном Париже. Плотное кольцо вражеских войск сомкнулось вокруг стен города и отрезало его от всей Франции. Запасы продовольствия иссякают.

Виктор Гюго, как в былые далекие годы, гуляет по улицам Парижа. На горизонте зарницы. Дыхание войны ощущается всюду и во всем. Лица напряженные, но растерянности нет. Звучат походные марши. Дети, маршируя вместе с батальонами, поют звонкими голосами «Марсельезу».

Да, думает Гюго, в этом городе-чародее таится герой. Даже старый собор, освещенный лучами заходящего солнца, как будто улыбается, бесстрашно глядя в лицо смерти.

При вспышках зарниц, под тревожную дробь барабанов строятся и идут в бой суровые строфы:

> Мы город отстоим, — пусть преданы, в плену, —
> Неся тяжелый труд, спасем свою страну.

Надвигается ночь. И кажется, что на закате над городом пламенеет полоса раскаленной, дымящейся стали. Окровавленный меч навис над городом. Вражеская артиллерия бомбардирует Париж.

Многие семьи остались без крова. Разрушена та старая церковь, где стоял когда-то гроб матери Гюго, где венчались юные Виктор и Адель.

Рабочие Бельвиля, а вслед за ними рабочие других районов Парижа организовали сбор средств — они отдают последнее, чтобы отлить пушки для защиты города. И Виктор Гюго вносит свою лепту. 20 октября в осажденном Париже вышло новое издание его сборника «Возмездие». По вечерам его стихи и пьесы звучат со сцен театров Парижа. Театры переполнены, несмотря на бомбардировку. Гонорар за издание книги и свою долю с театральных сборов Гюго вносит на пушки для сражающегося Парижа.

Пушки отлиты. Им дают имена. На первой выгравировано: «Возмездие», на второй: «Виктор Гюго».

Внимай. Придет пора — твое услышу слово,
Орудие! Гроза! Боев герой суровый, —

обращается поэт к пушке, носящей его имя.

Мы обменяемся с тобою, мститель черный:
Мне в сердце бронзу дай, влей в медь мой дух упорный!

Враг занимает все новые города и селения Франции. Армия генерала Базена капитулировала в Меце. Базен изменник. Он давно уже вел тайные переговоры с немцами. И глава правительства Трошю играет на руку немцам.

Народ волнуется. Можно ли дальше терпеть это предательство?

В ночь на 31 октября Гюго разбужен стуком в дверь. Что случилось? Невольно вспоминается другая ночь, серый рассвет страшного дня, 2 декабря 1851 года, взволнованный голос Версиньи. Нет. Это не Версиньи, это делегация от левых республиканцев. В Париже восстание. Национальные гвардейцы заняли Ратушу. Глава правительства Трошю взят под стражу. Виктор Гюго должен войти в состав нового правительства. Там, в Ратуше, его друзья. Они ждут, просят его немедленно прийти.

Минута колебания. И потом отказ. Он благодарен за доверие, друзья могут рассчитывать на его помощь, он будет по-прежнему воодушевлять народ на борьбу с врагом, но для министерского портфеля он уже, пожалуй, стар. Он останется дома.

А в Ратуше идут пререкания между двумя группами республиканцев. Кто станет во главе правительства — революционное крыло: Бланки, Делеклюз, Флуранс, или более умеренные: Ледрю-Роллен, Феликс Пиа, и их единомышленники? День проходит в спорах. Власть захвачена, но не укреплена. Группа военных освобождает генерала Трошю, он вызывает войска и полицию. Бланки, Флуранс и многие левые республиканцы брошены в тюрьму. Правительство национальной измены снова заняло свои кресла.

Голодная, холодная военная зима. Около двадцати градусов ниже нуля. Парижские старожилы не помнят таких морозов. Заборы, столы, стулья идут на топливо. Люди уже съели котов и собак и теперь принимаются за мышей.

Семью Виктора Гюго выручает директор зоологического сада. То и дело он присылает кусок медвежатины или ножку антилопы. Зверей приходится убивать одного за другим — их нечем кормить.

В отеле Роган, где живет семья Шарля и где проводит свои дни Виктор Гюго, холодно. Грузный Шарль похудел, щеки его пожелтели и опали, костюм национального гвардейца, сшитый осенью, висит на нем. А Франсуа Виктор стал совсем прозрачен и подолгу кашляет, закрыв лицо платком. Может быть, это от простуды? Но больше всего беспокоит Гюго, как перенесут эту зиму малыши, Жорж и Жанна. Они с аппетитом едят медвежатину, переносят холод и пока здоровы. Дед в свободные минуты гуляет с ними и сочиняет для них сказки.

В ярко-красной рубашке с белым фуляром на шее поэт председательствует за семейным столом в отеле Роган и сам распределяет скудную трапезу. Он радуется гостям. Гамбетта рассказывает о своем перелете на воздушном шаре через линию осады, об отваге Луарской армии. Хотя Гамбетта и входит в правительство Трошю, но не принадлежит к тем, кто ратует за капитуляцию; он за сопротивление. Гюго читает гостям свои новые стихи об осажденном Париже.

В доме часто бывает дочь Теофиля Готье красавица Юдифь, и поэт особенно оживляется в ее присутствии. Он пишет ей шутливые стихотворные послания.

Когда красавица придет к поэту в дом,
Как встретит он ее, счастливый?
Пегаса заколов, он жареным крылом
Богиню угостит на диво.

Юдифь улыбается, окидывая взглядом пустой стол.

— Крыло вашего Пегаса — это поистине пища богов. Надеюсь, что конь воскрес и жестокий хозяин снова летит на нем к вершинам Парнаса?

В эти грозные дни Гюго сохраняет веселость, как подобает истинному сыну Франции.

— Мне холодно, я голоден, но я счастлив — я вместе с народом переношу его страдания, — говорит он.

* * *

22 января 1871 года бланкисты сделали еще одну попытку захватить власть, они привлекли на свою сторону отряды национальной гвардии, но в восстание не были вовлечены народные массы, и оно было быстро подавлено правительственными войсками.

Сразу же после этого министр иностранных дел Жюль Фавр

поехал в Версаль, где находился Бисмарк, для переговоров о перемирии. Правительство соглашалось на все условия, поставленные немцами. 28 января было подписано перемирие и срочно объявлены выборы в Национальное собрание, которое должно утвердить условия мирного договора.

Виктор Гюго прошел вторым в списке депутатов от Парижа. Он вместе со всей семьей едет в Бордо, там будет заседать Национальное собрание. Правительство боится Парижа, «рассадника восстаний», и хочет упрятать депутатов подальше от порохового погреба революций, подальше от осмелевших национальных гвардейцев, которые отказались сдать оружие победителям-немцам.

Но собрание отнюдь не должно вызывать беспокойства правых. Оно их опора. Левые республиканцы в меньшинстве.

«…Говоря между нами, положение ужасно, — пишет Гюго Мерису 18 февраля. — Национальное собрание — это *Бесподобная палата*, мы там представлены в пропорции 50 к 700 (1815 год в сочетании с 1851 — это, увы, те же цифры, только в обратном порядке!). Начали с того, что отказались выслушать Гарибальди, и тот ушел… Каждый вечер у нас собрание левых… Общее согласие и строгая дисциплина, возможно, позволили бы нам бороться, но добьемся ли мы этого согласия?»

Засилье клерикалов, выкрики бонапартистов, страх большинства перед республикой, жалкое пресмыкательство перед врагом, неблагодарность к героям сопротивления и предательство интересов нации — такова атмосфера, царящая в этой «Бесподобной палате». Тьер становится во главе исполнительной власти. Национальное собрание утвердило позорные условия мира: Франция должна выплатить пять миллиардов контрибуции и отдать Эльзас и Лотарингию.

1 марта Гюго произносит речь с трибуны собрания. Он говорит от лица Парижа, который продолжает сопротивляться врагу.

— Париж готов скорее пойти на смерть, чем допустить бесчестье Франции, — заявляет поэт.

Он предупреждает об опасностях, которые несет Франции и Европе насилие, именуемое в этих стенах мирным договором. «Германия принесет с собой порабощение, иго военщины, казарменное оглупление… На свободное слово наденут намордник, мысль задушат, совесть поставят на колени…»

Он возражает против захвата Эльзаса и Лотарингии. К тому же «захватить не значит владеть. Владеть страной можно лишь с ее согласия. Разве Турция владела Афинами? Разве Австрия владела Венецией? Разве Россия владеет Варшавой? Разве

Испания владеет Кубой?»

В зале нарастает беспокойство. Депутаты правой ерзают на своих скамьях. «Не по существу!» — раздается чей-то выкрик. Снова повторяется то, что Гюго пережил в 1851 году. Прорываясь сквозь шум, напрягая голос, старый поэт продолжает:

— Моя страна не покорится! Нет!

Тьер — глава правительства? Нет!

Левые поддерживают его рукоплесканиями.

— Я не стану голосовать за этот мир!.. Что ж, государи, действуйте! Кромсайте, режьте, грабьте, захватывайте, расчленяйте! Вы порождаете глубокую ненависть, вы возмущаете мировую совесть. Мщение зреет, чем больше угнетение, тем сильнее будет взрыв. Все, что потеряет Франция, выиграет революция…

Франция распрямится!..

Правые не дождутся, когда он, наконец, сойдет с трибуны, и аплодируют ему только «из любезности».

— Опять старец угощает аудиторию своими несбыточными пророчествами, — тоном превосходства замечает какой-то бойкий репортер, обращаясь к собрату по ремеслу. — Неизлечимый романтик.

— И опасный романтик, демагог! — резво подхватывает щуплый собрат.

В тот самый день, когда в Бордо заседает собрание и Гюго безуспешно призывает депутатов к сопротивлению, ворота Парижа распахиваются перед врагом. Прусские батальоны проходят маршем по безлюдным улицам и площадям. Город как будто вымер. Зловещее безмолвие. Притаившаяся ненависть непокоренных.

3 марта после подписания мирного договора немецкие войска покидают Париж. Но мир не наступает для жителей города. Правительство — в Версале, Париж — на осадном положении. Глава правительства Тьер больше доверяет пруссакам, чем парижанам, он хочет вытравить из них революционный дух, искоренить крамолу. Аресты и ссылки не прекращаются.

— Вижу, что борьба в Национальном собрании обречена на неудачу. Левых мало, единства нет. Шельшер пререкается с Делеклюзом, бланкисты с прудонистами. Между нами говоря, левая разбита вдребезги. На мой взгляд, вся левая после этого подлого голосования за позорный мир должна бы подать в отставку. Но на деле, вероятно, уйду я один, — говорит Гюго сыну Шарлю, шагая взад и вперед по комнате гостиницы. — Как ты на это смотришь?

Шарль согласен с отцом. Если дальше так будет продолжаться, то надо выходить из этой говорильни.

Шарлю хочется скорее вернуться в Париж, в редакцию «Раппель». Вот уже десять дней, как он лежит больной в чужом городе, в чужой квартире под номером 13. Он так плохо чувствовал себя эти дни, что даже в приметы начал верить.

— Выздоравливай, мой мальчик, — говорит отец. — Вот кончатся заседания, и поедем всей семьей отдыхать. Солнце. Сосновый воздух. Вылечишься и снова станешь молодцом.

Для отца Шарль, которому уже за сорок, все еще мальчик, юноша, чья жизнь впереди.

Через несколько дней Гюго пишет в Париж Мерису:

«Дорогой друг, необычайное событие. Национальное собрание и весь город в волнении. Я только что подал в отставку».

Это произошло во время заседания. Гюго встал на защиту Гарибальди, избрание которого депутатом реакционное большинство не хотело признать действительным якобы на том основании, что Гарибальди не француз.

Речь Гюго заглушали выкриками. Тогда он во всеуслышание заявил с трибуны: «Три недели тому назад вы отказались выслушать Гарибальди. Сегодня вы отказываетесь выслушать меня. Довольно. Я подаю в отставку».

* * *

В Париж! Семья Гюго уже собралась. Билеты взяты, вещи уложены. Последний день в Бордо будет отмечен прощальным обедом в ресторане Ланта, обед назначен на ранний час, чтоб не опоздать, к поезду.

Стол сервирован. Жорж и Жанна в веселом нетерпении, они первый раз в ресторане вместе со взрослыми. Все уже собрались, только Шарль почему-то запаздывает.

— Подождем немного, он, вероятно, решил что-нибудь купить на дорогу, потому и задержался, — говорит жена Шарля Алиса.

В комнату входит мальчик-посыльный и знаками зовет Виктора Гюго. Почему у этого мальчика такой растерянный вид? Гюго выходит. Его окружают какие-то люди.

— Мужайтесь, — говорят ему.

— Что случилось? Где Шарль?

— Он там, в фиакре… Он умер.

Шарль скончался в карете по дороге в ресторан Ланта. Когда

кучер открыл дверцу своему пассажиру, он нашел его бездыханным. Внезапное кровоизлияние в мозг — установили врачи.

18 марта 1871 года. Виктор Гюго привез гроб с телом сына в Париж. Похоронная процессия движется от Орлеанского вокзала на кладбище Пер-Лашез. Отец шагает за гробом с непокрытой седой головой. Мартовский ветерок освежает пылающий лоб. С холмов Монмартра доносятся звуки стрельбы. В Париже восстание. Улицы перегорожены баррикадами. На площади Бастилии похоронной процессии дали почетный караул.

Как в нежности своей величествен народ!..

Эти знаки любви и уважения помогают переносить горе.

После похорон Гюго уехал назад в Брюссель. Он должен был уладить дела покойного сына, заплатить долги, поддержать семью. Разбитый, потрясенный, он еще не отдавал себе ясного отчета в том, что происходило в Париже.

А там в этот день совершилось великое историческое событие. Впервые в истории у власти стал пролетариат.

Восстание возникло стихийно. На рассвете 18 марта жены рабочих, становясь в очередь за хлебом, заметили, что солдаты Тьера захватывают пушки, те самые пушки, которые были отлиты на трудовые гроши рабочих семей. Женщины разбудили своих мужей. Рабочие кварталы поднялись. На помощь им пришли национальные гвардейцы. Пушки были отбиты. Повстанцы заняли высоты Монмартра. А вскоре восстание охватило весь Париж. Руководство взял на себя Центральный комитет национальной гвардии, состоявший в большинстве своем из революционных рабочих.

Вечером 18 марта весь город был в руках повстанцев. Красное знамя развевалось над Ратушей.

Правительственные войска бежали в Версаль. А на другой день туда бежали министры, генералы и сам Тьер в карете с плотно занавешенными окнами. Великодушные победители выпустили врагов невредимыми — это была их первая ошибка.

Истерзанный войной и блокадой Париж как будто сразу помолодел. Весенний ветер нес песни, люди обнимались на улицах.

26 марта состоялись выборы в Совет Коммуны, который и стал у власти в революционном Париже.

Старая государственная машина сломана. По инициативе народных масс возникло государство нового типа. Коммуна была

наделена и законодательной и исполнительной властью. В Совет входили рабочие и рядом с ними профессиональные революционеры — Делеклюз, Флуранс, Огюст Бланки (он был избран заочно, так как находился в тюрьме, в плену у версальцев). В Совете Коммуны были и представители творческой интеллигенции — писатель Жюль Валлес, художник Курбэ.

Постоянная армия и полиция были заменены отрядами вооруженного народа.

Противники войн и милитаризма, коммунары низвергли Вандомскую колонну — памятник наполеоновских завоевательных войн.

Никогда прежде народные массы Парижа не жили такой волнующей, захватывающей, поистине творческой жизнью. Сразу же начали вводить законы, облегчающие труд рабочих. Женщины приняли участие в государственной деятельности. Многие передовые люди других стран и национальностей входили в Совет Коммуны, становились под ружье, творили и боролись плечом к плечу с жителями революционного Парижа.

Гюго узнавал о событиях в Париже лишь из газет. Односторонние, пристрастные сообщения извращали весь характер деятельности Коммуны.

— Эти вандалы повергнут в мрак центр мировой культуры. О ужас, они низвергли Вандомскую колонну! — вопили буржуазные писаки.

— Эти безвестные люди, объявившие себя властителями Парижа, кровожадны, они грозят уничтожением заложников, — визжали цепные псы Тьер а и Бисмарка.

А между тем именно излишнее милосердие к врагам, недостаточная решительность и последовательность в уничтожении основ буржуазной собственности, буржуазных прав оказались роковыми для Парижской коммуны. Окруженные врагами, отгороженные кольцом вражеской осады от всей страны, коммунары вдохновенно закладывали основы справедливого общества будущего и хотели при этом не запятнать рук кровью, не ущемить буржуазных свобод. В Париже продолжали выходить газеты различных политических направлений. Гюго особенно внимательно прислушивался к голосам своих друзей, редакторов и сотрудников газеты «Раппель». Но и они не могли до конца порвать со своими заблуждениями и подняться до того великого и нового, что нес с собой человечеству первый опыт диктатуры пролетариата.

Старый поэт горестно взирает на происходящие события:

О время страшное! Среди его смятенья,

Где явью стал кошмар и былью — наважденье,
Простерта мысль моя, и шествуют по ней
События, громоздясь все выше и черней…
И если б вы теперь мне в душу поглядели,
Где яростные дни и скорбные недели
Оставили следы, — подумали бы вы:
Здесь только что прошли стопою тяжкой львы.

Гюго ясно видит одно — версальцы враждебны Франции. Тьера и Национальное собрание с его реакционным большинством он не может принять. Это враги, враги народа, они ненавистны ему. А Коммуна?..

«Коммуна! Как это могло быть прекрасно, особенно в сопоставлении с этим омерзительным Национальным собранием, — пишет он Мерису. — Но увы!» Ему кажется несвоевременной эта борьба французов против французов перед лицом врага. Лучше было бы отнести все это в будущее, а сейчас примириться, дать народу отдых, восстановить единство Франции и Парижа. Он верит в Коммуну будущего: «Рано или поздно Париж станет коммуной», но не хочет признать живой, реальной коммуны настоящего.

Болезненно переносит он весть о низвержении Вандомской колонны, памятника французской славы, воспетого им когда-то в торжественной оде. И надменная тень мертвой колонны заслоняет от него живой блеск великих начинаний. Он не понял, не сумел понять смысла происходящих событий. Он остался в грозные дни сторонним наблюдателем, занял позицию над схваткой.

«Наступит ли конец? Закончится ли раздор?» — взывает Гюго, как будто забыв о том, что «примирение» было бы для революционного Парижа капитуляцией перед буржуазно-реакционным Версалем.

Он гневно осуждает версальское правительство:

Безумцы! Разве нет у вас других забот,
Как ставши лагерем у крепостных ворот
И город собственный замкнув в кольцо блокады,
Сограждан подвергать всем ужасам осады?

Но и коммунаров он укоряет, полагая, что они жертвы горестного заблуждения:

А ты, о доблестный несчастный мой Париж,

Ты, лев израненный, себя ты не щадишь
И раны свежие добавить хочешь к старым?
Как! Ваша родина под вашим же ударом?

И приходит день, когда противостояние двух лагерей — Коммуны Парижа и правительства Франции — превращается в жестокую гражданскую войну. Тьер, столь «великодушно» отпущенный коммунарами на свободу, действует. Организована и снаряжена армия под предводительством Мак-Магона. Войну с пруссаками Мак-Магон проиграл, он привел армию к позорной катастрофе в Седане, зато здесь он развернется, здесь он «покажет себя»! Пушки наведены на город. Снова летят ядра, разрываются бомбы над мирными кварталами.

Коммунары героически защищают Париж. Им трудно. У них нет обученной армии, они не готовы к длительной обороне. Появляется талантливый военачальник — поляк Домбровский. Но где-то затаилось предательство. У кого-то не хватило бдительности, и враг прорвался. 21 мая версальцы вступили в Париж через незащищенные ворота Сен-Клу.

И в этот страшный час народ не сдается. На баррикады! Оборонять каждую улицу, каждый дом! Мужчины, женщины, дети — все к оружию! Пядь за пядью отступают они под натиском армии, под обстрелом орудий. Неделя жестоких боев в горящем Париже. В воскресенье 28 мая версальцы торжествуют победу.

Горы трупов у стен. Раненых приканчивают прикладами, пленников расстреливают без суда. К стенке ставят детей, стариков, женщин. Где же оно, хваленое милосердие, о котором плакали крокодиловыми слезами буржуазные писаки, обвинявшие коммунаров в жестокости?

«Люди разделились на победителей и побежденных, — писал Гюго через несколько лет, вспоминая события этих дней… — Единодушный вопль „Vae victis“[15] раздавался по всей Европе. То, что тогда происходило, можно выразить немногими словами: полное отсутствие жалости. Жестокие убивали, неистовые аплодировали, мертвецы и трусы безмолвствовали. Правительства иностранных государств выступали как сообщники победителей; это делалось двояким образом: правительства-предатели усмехались, правительства-подлецы закрывали свои границы перед побежденными».

* * *

26 мая 1871 года Виктор Гюго послал открытое письмо в бельгийскую газету «Эндепанданс бельж». Поэт предложил убежище коммунарам в своем доме.

«Я не был с ними, — писал он, — но я приемлю принципы Коммуны, хотя и не одобряю ее руководителей…

Я предлагаю побежденным убежище, в котором им отказывает бельгийское правительство.

Где? В Бельгии.

Я оказываю Бельгии эту честь.

Я предлагаю убежище в Брюсселе.

Предлагаю убежище в доме № 4 на площади Баррикад…

Если ко мне в дом явятся, чтоб арестовать бежавшего коммунара, пусть арестуют меня. Если его выдадут французским властям, я последую за ним. Я сяду вместе с ним на скамью подсудимых, и среди поборников права, рядом с коммунаром, побежденным Национальным собранием Версаля, увидят республиканца, изгнанного Бонапартом.

Я выполняю свой долг. Принцип прежде всего…

Правительство будет против меня, но бельгийский народ будет на моей стороне.

Что бы ни случилось, совесть моя будет чиста».

Письмо было опубликовано 27 мая. О последующих событиях рассказывает сам Виктор Гюго в своих воспоминаниях.

Поздно вечером, когда он лег спать, раздался звонок. Гюго поднялся и подошел к окну.

«Площадь была погружена в темноту. Его взгляд еще был затуманен сном, он видел только чью-то неясную тень; высунувшись из окна, он спросил:

— Кто здесь?

Чей-то тихий, но ясно различимый голос ответил:

— Домбровский.

Домбровский принадлежал к числу тех, кто боролся и был побежден в Париже. Некоторые газеты сообщали, что он расстрелян, другие, что он спасся бегством.

Человек, разбуженный звонком, подумал, что этот беглец прочел его письмо, опубликованное сегодня утром, и пришел сюда просить у него убежища… Он, не колеблясь, сказал себе: „Я спущусь и открою ему“.

Он выпрямился и собирался закрыть окно, когда большой камень, брошенный сильной рукой, ударился в стену над его головой…

Будем кратки. Начался свирепый приступ… Женщины в испуге вскочили с постелей. Дети заплакали от страха. Камни сыпались градом, стоял ужасающий треск разбиваемых окон и

зеркал. Слышался вопль:

— Смерть ему! Смерть!..

Приступ трижды возобновлялся и длился час и три четверти… Все было изуродовано камнями — казалось, что комнату обстреляли картечью. Толпа трижды пыталась ворваться в дом… Пытались сломать ставни в нижнем этаже, но не смогли справиться с болтами. Старались открыть отмычкой дверной замок, но крепкий засов выдержал. Внучка старика, крошечная девочка, была больна; она плакала. Дедушка взял ее на руки; камень, брошенный в него, пронесся возле головы ребенка… Старший, маленький мальчик, помнивший осаду Парижа, говорил вполголоса, прислушиваясь к свирепому гулу толпы:

— Это пруссаки!

В продолжение двух часов угрожающие выкрики раздавались все громче…

— Взломаем дверь!..

Но когда появилось бревно, уже занимался день. Днем слишком много света для некоторых деяний. Банда рассеялась…»

События этой ночи заставили Гюго о многом задуматься. Он вспомнил вторжение толпы бедняков в его дом в июньские дни 1848 года. Люди в лохмотьях, восставшие против богачей, ничего не тронули в пустом доме бывшего пэра Франции, находившегося по ту сторону баррикады. «Он выполняет свой долг», — сказали они. И вот другая толпа — толпа богатых щеголей. Говорят, что среди них был сын бельгийского министра. «Эти тоже полны ярости, — размышляет Гюго. — Против врага? Нет. Их привел в ярость добрый поступок; поступок, безусловно, обычный, но честный и справедливый… Приступ не удался отнюдь не по вине осаждающих. Дверь не была сорвана с петель только потому, что бревно притащили слишком поздно; ребенок не был убит только потому, что камень не попал ему в голову; хозяин дома не был искалечен только потому, что взошло солнце».

Какую же толпу следует назвать чернью?

Какая из них оказалась сборищем негодяев? Ответ один. Толпа преуспевающих счастливцев.

Бельгийские власти воздержались от каких бы то ни было расследований по поводу ночного налета на дом Гюго.

— Оглохшая полиция, ослепшее правосудие, — с горькой усмешкой говорит поэт.

Ни протокола, ни опроса, ни поисков виновных. Впрочем, виновным в глазах властей оказался один человек, и его изгнали. Уже вынесено решение бельгийского правительства.

«Господину Виктору Гюго, литератору, 69 лет, немедленно покинуть Бельгийское королевство и запретить ему возвращение

сюда в будущем».

Несколько бельгийских депутатов выражают протест, предлагают поэту убежище. Гюго благодарит их в открытом письме. «Будущее рассудит, — говорит он. — Я без особого труда перенесу высылку. Быть может, это хорошо, что в течение всей моей жизни мне приходилось всегда быть немного гонимым».

В Париж, в стан торжествующих палачей, он не может, не хочет возвращаться. Надо найти какую-то нейтральную страну, где бы он мог продолжить борьбу и работу. Всей семьей — Жюльетта, Алиса и двое внучат — они едут в Люксембург. Там есть городок Вианден, который приглянулся поэту во время одного из его летних путешествий.

Тихий дом в маленьком живописном городе. Зелень. Пение птиц. Мир и покой. Но покоя нет. Каждый день из Парижа вести о новых расстрелах и арестах, о зверствах и жестокостях.

Гюго получил письмо от вдовы коммунара Мари Мерсье. Она слышала о его доброте и просит у поэта убежища. Он пригласил ее приехать, и скоро Мари появилась в Виандене. Юная, почти девочка, всего восемнадцать лет. Мари рассказывает ему, что пережила, что видела своими глазами.

Ты, сердце старое мое, дрожишь заранее
При виде слез скупых, отчаянья мужей,
Убитых скорбью жен и плачущих детей…

И опять он переносится мыслью в те страшные дни. Яростный Париж, задохнувшийся в дыму и крови.

И трупы множатся на каждом перекрестке…
Вот пленницу ведут. Она в крови. Она
Едва скрывает боль. И как она бледна…

А вот маленький герой. Он похож на Гавроша:

За баррикадами на улице пустой,
Омытой кровью жертв и грешной и святой,
Был схвачен мальчуган одиннадцатилетний.
— Ты тоже коммунар? — Да, сударь, не последний.
— Что ж, — капитан решил. — Конец для всех —
расстрел.
Жди, очередь дойдет!..

Все новые стихи присоединяются к написанным в дни обороны Парижа.

Вырастает новый сборник. Эти стихи пахнут дымом, сочатся болью, кричат о возмездии и призывают к милосердию. Они поэтическая летопись грозного года. Гюго так и назовет свой сборник «Грозный год».

«Девяносто третий» (1871–1873)

Из Виандена Гюго совершает короткое путешествие в Тионвиль. Он давно хотел побывать в крепости, которую защищал его отец. Тионвильские старожилы помнят храброго коменданта Гюго. Эти старики и старухи были в ту пору еще детьми, но рассказы об осаде передаются от дедов к внукам. Одна седая женщина уверяет поэта, что она видела его мальчиком, когда он

приезжал сюда в 1814 году вместе с матерью. И Гюго не спорит с ней, хотя с матерью был тогда не он, а брат Абэль. С жадностью слушает поэт рассказы о прошлом, о своем отце.

С годами образ отца все вырастает в его памяти и воображении. Генерал Гюго — защитник Тионвиля, губернатор Мадрида, один из храбрейших командиров Рейнской армии Наполеона… А в далекие времена, которые уже стали легендой и которые теперь особенно близки старому поэту — ведь он пишет книгу о девяносто третьем годе! — в те далекие времена Леопольд Сижисбер был одним из людей в синих мундирах; они укрощали свирепую Вандею, воюя в лесах Бретани. Виктор Гюго бродил когда-то по этим лесам вместе с Жюльеттой — там ее родина — и уже тогда, блуждая по зарослям, представлял себе битвы, засады, резню — все, что происходило на этих полянках, в болотах, в чащах кустарников, все, что видели эти вековые деревья. Там, в этих лесах, будут воевать и герои его романа.

Книга о первой французской революции, одна из главных книг его жизни, будет создана. Теперь, после пережитого грозного года, давний замысел зовет его особенно властно. Пора, пора! «Исполни долг, мыслитель!» Писать о девяносто третьем годе — это участвовать в борьбе живых, в борьбе семьдесят первого года. Воскрешать образы гигантов революции — это биться со злобными карликами, которые, расправившись с Коммуной, пытаются задушить республику.

Первого октября 1871 года Гюго с семьей возвратился в Париж. Как не похоже это возвращение на прошлогодний триумф! Ни восторженных оваций, ни речей к народу. В Париже сейчас не та атмосфера. Тюрьмы набиты. Мостовая пропитана кровью жертв. Париж притих.

Плывут за океан, в трюм загнаны, как скот,
Вчерашние борцы, не ведавшие страха…

Не думать и молчать — приказ народу дан…

От площади Конкорд до кладбища Лашез
Спустилось на Париж, не ведавший покоя,
Глухое, тяжкое безмолвие ночное…

Победители торжествуют:

Ликующий Берлин шлет благодарность нам.
Открыться можно вновь кофейням и церквам…

Погиб Париж, зато порядок обрели мы.
Что мертвецов считать?..

Гюго знает, что в правительственных кругах его клянут, что в политических салонах на него клевещут, а в светских гостиных смотрят на него, как на пугало. На июльских выборах он не прошел в Национальное собрание. Бонапартисты открыто заявляют, что, вернись они к власти, Виктор Гюго был бы расстрелян немедленно, одним из первых. «Благонамеренные» литераторы шарахаются при звуке его имени. Некий Ксавье де Монтепен на заседании общества драматургов требовал высылки Гюго из Франции. Но громче всех каркают черные вороны — клерикалы. Они давно ненавидят поэта, и ненависть эта особенно сгустилась со времен «Возмездия», когда он открыто занес свой бич над пособниками палачей, укрытыми рясами и сутанами.

Благочестивые читаю я газеты.
Уж как меня честят! Одна дает советы:
Читателей моих всех в Шарантон упечь,
Мои развратные произведенья сжечь;
Другая просит всех прохожих со слезами,
Чтоб самосуд они мне учинили сами…

И люди из другого лагеря смотрят на Гюго без прежнего энтузиазма, глаза их стали суровее. Они еще не забыли, что в решающие дни поэт стоял в стороне от схватки. Но теперь побежденные увидят, что Виктор Гюго с ними. Они уже поняли это после его заявления, сделанного в Брюсселе. Со всех сторон несутся просьбы о помощи. Матери, жены, сестры коммунаров протягивают к нему руки.

«Сколько дела для писателя, и какая ответственность. Наряду с вопросами, полными угроз, вопросы, полные мольбы. Застенки, плавучие тюрьмы, женщины и дети, взывающие о помощи. Здесь мать, тут сыновья и дочери, там отец! Разбитые семьи, часть семьи ютится на чердаке, другая часть томится в камере. О друзья мои! Необходима амнистия! Амнистия! Зима наступает! Необходима амнистия! — взывает Гюго в письме к редакторам газеты „Раппель“. — Будем же просить, молить, требовать амнистии. И это в интересах всех… Амнистия прежде всего!.. Посмотрите на мостовую — и она ратует за амнистию…»

«Мы переживаем роковой кризис, — пишет Гюго 2 декабря 1871 года в газету „Демократия юга“. — После нашествия иноземцев — террор реакционеров… Цивилизация в опасности,

мы чувствуем, что скользим по роковому склону… Крикнем: „Амнистия! Амнистия! Довольно крови! Довольно жертв!“ Пусть пощадят, наконец, Францию, это она истекает кровью!..

Я вспомнил вдруг, что сегодня 2 декабря. Двадцать лет назад, в подобный же час, я, гонимый, предупрежденный о том, что, если попадусь, буду расстрелян, боролся против преступления. Все обошлось; так будем же бороться!»

* * *

Зимой 1872 года в театре «Комеди Франсэз» готовится новая постановка «Рюи Блаза». В роли королевы должна выступить восходящая звезда парижской драматической сцены Сара Бернар. Молодая актриса не сразу согласилась участвовать в этом спектакле. Она наслушалась всяких небылиц про «разбойника Гюго», ее уверили, что поэт — отвратительное «старое чудовище». Стоит ли выступать в его пьесе? Но когда она познакомилась с ним — все переменилось. «Чудовище» оказалось очаровательным.

— Он так добр, так подкупающе любезен и всегда весел, — говорит Сара Бернар об авторе «Рюи Блаза»,

Поэт усердно посещает репетиции своей пьесы, он с наслаждением вдыхает забытый воздух театра, он в восторге от молодой «королевы», целует ее руки, он прямо-таки влюблен в нее. Жюльетта уже ревнует.

9 февраля состоялся первый спектакль, но автора, не пропускавшего репетиций, почему-то не было в театре в этот знаменательный вечер. Что с ним? Гюго не смог пойти в театр: к нему пришла мать коммунара, приговоренного к каторге, и он утешал ее. Маленькая, худенькая женщина в темном платье плачет, ломает руки:

— Неужели нельзя спасти моего мальчика?

А сколько таких матерей в Париже! Преследование коммунаров продолжается. Как будто живая, мучительная рана на теле Франции горит, сочится.

Эта боль тревожит Гюго сильнее личных ран и горестей, а они тоже не убывают. Утешая плачущую мать, поэт думал и о своих детях. Дети, его гордость, его надежда, уходят один за другим. Милый призрак Леопольдины. Могила. Шарля. Давно ли он похоронил его? И вот теперь угасает второй сын, его друг и помощник, разделявший с ним годы изгнания. Франсуа Виктор чахнет на глазах, у него туберкулез легких. Тенью самой себя стала младшая дочь. После долгих лет разлуки отец, наконец, увидел Адель, ее привезли из Канады, но свидание это не

принесло ему радости. Замкнувшаяся для всего мира, с темным неподвижным взглядом, она никого не помнит, ничем не интересуется, ничему не радуется. Мертва при жизни. Только звуки музыки вызывают в ней иногда какое-то душевное движение.

Страшный год. Сможет ли старое сердце вынести столько ударов?

Гюго узнал о том, что 16 апреля 1872 года в Вилле-Котре должно состояться погребение Александра Дюма, прах которого перевезли на родину. Дюма умер в 1870 году. Не все в жизни Дюма Гюго одобрял и принимал, ему был чужд коммерческий подход писателя к выпуску романов. Но Гюго всегда был снисходителен к другу молодости, соратнику Гарибальди, непоседливому, жизнерадостному, несмотря на все невзгоды, и всегда великодушному Александру Дюма.

«Не знаю, был бы ли я в состоянии говорить на этой горестной церемонии, — пишет он Дюма-сыну, — острое волнение охватывает мою душу, слишком много могил открывается передо мной одна за другой… Разрешите же написать вам то, что я хотел бы сказать».

Он пишет о том бодрящем радостном свете, который несут книги Дюма.

«Александр Дюма пленяет, чарует, забавляет, учит. Из всех его произведений, столь многочисленных и разнообразных, столь живых, пленительных и могучих, исходит присущий Франции свет…

Александр Дюма и я — мы были молоды в одно и то же время. Я любил его, он любил меня. Александр Дюма был не менее велик сердцем, чем умом. То была благородная и добрая душа…»

* * *

Волнения и горести, шум и суета большого города, не прекращающаяся политическая борьба — все это почти не оставляет сил и времени для творчества.

А сколько замыслов еще не завершено! Гюго все чаще вспоминает Гернсей, комнату, где он не отрываясь часами стоял за своим пюпитром, и книги рождались на свет одна за другой.

— Гернсей, Гернсей, — мечтает вслух Жюльетта. — Как нам было хорошо там! Море, чайки, Отвиль-хауз, этот прекрасный дом, в каждый уголок которого вложена душа хозяина. И покой,

нет этих актрис, которые каждую минуту отвлекают поэта от дела. Поедем на Гернсей!

И 7 августа они все вместе: Виктор Гюго с Жюльеттой, Алисой, Жоржем, Жанной и Франсуа Виктором, отправились на Гернсей.

Дубок, посаженный два года назад, окреп, подрос. Все так же кричат чайки и шумит океан у подножья «Скалы изгнанников». И девизы на стенах комнат, как знакомые голоса: «Жизнь — это изгнание!», «Люби и верь!» …Вот и люкаут, стеклянная галерея, где солнечный свет и шум моря сливались с его мыслями. Снова вставать с зарей. Снова долгие часы проводить у своего пюпитра, а потом совершать далекие прогулки по берегу моря или в глубь острова.

Поэт слушает лепет маленькой Жанны, открывает вместе с ней чудеса мира — они кругом! Птицы, букашки, цветы, камни, игра солнечных лучей… Но дети недолго пробыли на Гернсее. Алиса соскучилась в затворничестве, и 1 октября комнаты Отвиль-хауза опустели. Жорж и Жанна с матерью и Франсуа Виктором уехали в Париж.

Жюльетта блаженствует. Наконец-то они остались вдвоем с Виктором: он теперь возьмется за работу, а она каждый день будет переписывать новые страницы его большого романа. Он пишет о времени, ставшем легендой.

* * *

…И революция, в крестьянских башмаках
Ступая тяжело, с дубиною в руках,
Пришла, раздвинув строй столетий,
Сияя торжеством, от ран кровоточа…
Народ стряхнул ярмо с могучего плеча —
И грянул девяносто третий!

Тучи надвигались со всех сторон. Силы прошлого сплотились и пошли войной против зари новой эры. К Англии, к Пруссии простирали руки французские маркизы и виконты, эмигранты, бежавшие с родины. Бретань стала гнездом врагов революции, очагом реакционных мятежей. Змеями проползали эмигранты-аристократы через границу и подстрекали к мятежу темных, диких и косных вандейцев, обитателей бретонских лесов.

Маркиз Лантенак, эмигрант, пробравшийся в бывшие свои владения, станет одним из героев романа.

В лесах Бретани сражается с мятежниками-вандейцами республиканский батальон «Красный колпак».

«Я имею право писать об этой войне, в ней участвовал мой отец», — с гордостью замечает автор.

Страшная война в лесах, где каждое дерево может превратиться во врага, где в каждой заросли таится смерть. Тысячи бойцов республики сложили здесь головы. Великодушные становились на этой войне беспощадными. Но суровые глаза бойцов теплеют при виде детей. Мать с тремя малютками прячется в Содрейском лесу, отряд сержанта Радуба усыновил найденышей. Ночное нападение вандейцев — и почти весь отряд Радуба истреблен, дети в плену. Старый маркиз Лантенак свиреп и беспощаден, его воинство режет, жжет, сеет смерть, разруху, тьму.

Положение в Бретани становится опасным для республики. В парижском кабачке на Павлиньей улице совещаются три человека: Марат, Робеспьер и Дантон. Беседа гигантов. Спор о настоящем и будущем Франции. Гюго вглядывается в лица спорящих. Он хочет быть беспристрастным, но удается ли это ему? Не сказывается ли в изображении Марата страх певца милосердия перед принципом революционной непримиримости? Уже здесь начинается тот внутренний спор, который развернется в романе.

В полутьму кабачка доносится дыхание революционного города. Париж в 1793 году. Гюго видит его, заглядывает в ту залу, где заседает Конвент, слышит голоса улицы, знает в лицо каждого из героев революции. Он изучил и книги и документы об этом времени, и время и люди оживут в его романе. Но исторические деятели не сделаются главными его героями. Роман дышит свободнее, когда в нем действуют вымышленные герои. Вот они появляются на сцене, вступают на страницы рукописи.

Симурдэн. Расстрига-священник, присягнувший республике. Он отдал ей все — ум, волю, сердце и стал поистине человеком-принципом. Симурдэн назначен комиссаром армии, посланной республикой на усмирение Вандеи.

Командир армии Говэн — аристократ по происхождению, бывший виконт, превратившийся в страстного республиканца. Этот герой — любимое дитя автора (он дает ему имя, которое носила когда-то Жюльетта Друэ, урожденная Говэн). Говэн — внучатый племянник маркиза Лантенака и воспитанник Симурдэна. Узы крови связывают его с прошлым, зов сердца — с будущим. Узел завязан. Борьба начинается. Борьба двух лагерей, двух армий и борьба в душах героев.

Яростно атакуют синие замок Тург. Французы против

французов. Говэн против Говэна. Бывший виконт идет на приступ своего родового замка, где засел Лантенак с горсточкой вандейцев. На третьем этаже замка в библиотеке беззаботно щебечут маленькие пленники, объявленные заложниками. Храбрый сержант Радуб с десятком смельчаков, оставшихся в живых от батальона, рвется быть первым в бою, отомстить врагам за убитых товарищей, выручить приемных детей отряда «Красный колпак».

Синие ворвались в замок. Но радоваться рано, Вандея не обезглавлена. Маркиз Лантенак бежал через подземный ход и унес ключ от железной двери башни, где заперты дети. Замок в огне. Через освещенное пожаром окно мать, подбегающая в эту минуту к замку, видит своих малюток. Вопль ее несется по окрестностям; Лантенак останавливается и после минутного колебания идет назад.

Железная дверь открыта, дети спасены, маркиз арестован. К замку подъезжает повозка, на ней гильотина, враг народа должен быть казнен на следующее же утро.

Но это не конец. Здесь-то и достигает своей вершины действие романа: Поле боя переносится в душу Говэна. Может ли он послать на казнь Лантенака, только что спасшего от огня детей? В глазах Говэна жестокий маркиз переродился после этого поступка. Но Лантенак — враг, заклятый враг, отпустить его — это нарушить верность долгу, присяге, изменить революции.

Что выше?

Принцип человечности, стоящий над эпохами и схватками, жалость, всепрощение, милосердие к врагу? Или революционная законность, долг служения республике, верность и непримиримость борца, служащего великой цели?

Разве этот спор шел только в 93-м году и только в душе Говэна? А в «Отверженных»? Не продолжает ли Говэн тот спор, который вели когда-то епископ с революционером? А в самой жизни? Разве не те же сомнения испытывал сам Виктор Гюго в 1848 году, а потом в дни Коммуны, когда боялся жестокости диктатуры и уходил от решения вопроса, по какую сторону баррикады встать ему?

И Говэн вступает на зыбкий путь. Накинув на Лантенака свой плащ, он отпускает его на свободу, а сам остается в темнице. Греза о милосердии, акт великодушия и всепрощения оборачивается предательством. Это сознает и герой и сам автор, и от этого им обоим особенно больно.

На следующий день Говэн прямо говорит об этом на суде:

— Вот что: одно заслонило от меня другое; один добрый поступок, совершенный на моих глазах, скрыл от меня сотни

поступков злодейских; этот старик, эти дети — они встали между мной и моим долгом. Я забыл сожженные деревни, вытоптанные нивы, зверски приконченных пленников, добитых раненых, расстрелянных женщин; я забыл Францию, которую предали Англии; я дал свободу палачу родины. Я виновен…

Он сам произнес свой приговор, ясный и недвусмысленный. Симурдэн голосует за казнь Говэна. Ночью он идет к узнику.

В последний раз сталкиваются два искателя абсолюта. Да, Симурдэн в глазах автора тоже своеобразный искатель абсолюта, фанатик революционного долга, который во имя настоящего, во имя победы высокой идеи сознательно ограничивает себя, не дает заманчивой мечте вторгнуться в суровую реальность.

— Ты витаешь в облаках, — говорит Симурдэн.

— А вы погрязли в расчетах, — отвечает Говэн…

— Говэн, вернись на землю. Мы хотим осуществить возможное.

— Берегитесь, как бы возможное не стало невозможным.

— Возможное всегда осуществимо.

— Нет, не всегда. Если грубо отшвырнуть утопию, ее можно убить. Есть ли что-нибудь более хрупкое, чем яйцо?

— Но и утопию нужно сначала обуздать, возложить на нее ярмо действительности и ввести в рамки реальности. Абстрактная идея должна превратиться в идею конкретную; пусть она потеряет в красоте, но зато приобретет в полезности; пусть она станет не столь широкой, зато станет вернее…

Но Говэна уже нельзя вернуть к реальности. Он ушел в свои мечты о будущем, и они заслонили от него настоящее. Гюго понимает это, он осудил Говэна его же устами, но он понимает и чувствует красоту его несбыточных мечтаний. Перенести, наперекор истории, идеал далекого будущего в суровое настоящее, об этом мечтает его герой. Совместить несовместимое. И эта дилемма здесь еще трагичнее, чем в «Отверженных».

Гюго дает слово Говэну.

«Так будем же всегда смотреть в сторону зари, рассвета, рождения. Падение отгнившего поощряет то, что начинает жить… Пусть каждый век совершает свое деяние; ныне гражданское, завтра просто человеческое».

«— Я хотел бы основать республику духа, — мечтает Говэн.

…— А пока чего ты хочешь? — спрашивает Симурдэн.

— Того, что есть.

— Следовательно, ты оправдываешь настоящий момент?

— Да.

— Почему?

— Потому что это гроза. А гроза всегда знает, что делает.

Сжигая один дуб, она оздоравливает целый лес. Цивилизация была покрыта гнойными язвами; великий ветер несет ей исцеление».

Еще раз, в последний раз сам мечтатель признал правоту реальности. И все-таки он не может оторваться от своей мечты.

Идеал человечности раскалывается, у него два лица: грозное, беспощадное лицо реальности и просветленное, всепрощающее лицо далекой мечты. Как это мучительно для мечтателя, жаждущего абсолюта!

Говэн с улыбкой уходит из жизни, он поднят на пьедестал, но не оправдан.

И железный Симурдэн тоже ушел из жизни: в минуту казни Говэна он покончил с собой.

Но победу ли Говэна означает этот выход в смерть?

Всю жизнь ведет Гюго сам с собой мучительный спор.

Вечное или преходящее? Общечеловеческое или злоба дня? Идея всепрощения или борьба отверженных, их справедливый бунт? Единое раскололось на две половины, два абсолюта. И пока идеал будущего остается для мечтателя неким абсолютом, пока он не сольется до конца с борьбой за будущее в настоящем, выход из лабиринта не может быть найден, хотя впереди и маячит ослепительный свет «Коммуны будущего».

«Свет, всегда свет!» (1873–1878)

Летом 1873 года роман о революции закончен, и писатель возвращается в Париж. Туда зовет многое — и борьба за амнистию, и хлопоты, связанные с изданием книги, и, главное, тяжелая болезнь сына; надежды на его выздоровление уже нет.

Франсуа Виктор умер 26 декабря 1873 года.

«Еще один надлом и самый страшный в моей жизни. Теперь у

меня остались только Жорж и Жанна», — записывает Гюго в дневнике.

Он пишет книгу «Мои сыновья». Хоть в книге, в воспоминаниях воскресить их, увидеть живыми и дать увидеть их другим, наперекор смерти. Нет, никогда он не станет певцом смерти, отчаяния, никогда, несмотря на все потери, похороны, раны и надломы.

«Я, как лес, который много раз вырубали, но молодые побеги все крепнут и живут, — говорит он о себе. — Вот уже полвека, как мысли мои запечатлеваются в стихах и прозе, но мне кажется, что я еще не успел выразить и тысячной части того, что есть во мне».

Жить. Жить тысячами жизней — это и есть настоящая жизнь поэта. Еще в годы изгнания Гюго создал «Эпопею червя» для своей «Легенды веков». Червь — мрачный могильщик миров, олицетворение торжествующего «ничто». Все преходяще, все погибнет, превратится в прах, сгинет в темной бездне небытия, говорит червь. Злорадный гимн червя — о, это заманчивая философия для склонивших голову, безвольных, остановившихся, для тех, кто отрекся от будущего, кто не способен увидеть мир в его вечном обновлении. Червь точит и разрушает, но человек живет для того, чтобы созидать.

— Нет, чудовище, ты не всемогуще, — скажет червю поэт. — Ты ничто, напрасно пытающееся стать всем.

Столько раз склонявшийся в горе над могилами самых дорогих, Виктор Гюго даст отповедь мрачной философии могильщиков в новой поэме «Легенды веков»: «Поэт отвечает червю». Он продолжит свою борьбу за торжество жизни и света. Много ли осталось впереди? Хорошо, если несколько лет. Работать, жить, не складывать перо. Молодые побеги крепнут. Старые замыслы должны воплотиться.

В Женеве 4 сентября 1874 года вновь собирается конгресс мира. Гюго не может выступить лично, он посылает свое слово конгрессу.

Вопрос о мире осложнен огромной загадкой войны. Победа Пруссии в 1870 году — это победа империи, победа реакции, заявляет он. Два принципа вступили в поединок — монархия и республика. Пока не закончится этот поединок, пока не будет восстановлено нарушенное равновесие, — мир в постоянной опасности.

Ту же мысль развивает Гюго и в своем послании следующему конгрессу мира год спустя.

Восстановить попранное право, требует он, только при этом условии можно надеяться на победу мира.

«День воцаряется благодаря восходу солнца, мир —

благодаря восходу права», — пишет он.

По-прежнему волнуют писателя все дела, совершающиеся кругом. В феврале 1875 года он вступается за солдата Блана, приговоренного к казни военным судом.

Приговор был пересмотрен, смертная казнь заменена пятью годами заключения.

Но не всегда Виктору Гюго удается добиться успеха в своем заступничестве за осужденных и поверженных. Он много раз просил о помиловании Анри Рошфора, приговоренного к каторге за участие в деятельности Коммуны, но власти отвечали отказом на все просьбы поэта. Там, где речь идет об участниках Коммуны, правители и судьи глухи. Репрессии к коммунарам все продолжаются. У власти все те же правые. Когда же окрепнут силы демократии и будет основана подлинно демократическая республика?

* * *

Звонки у дверей — один за другим. С утра до вечера телеграммы, визитеры, поздравители. Сколько их перебывало за этот январский день 1876 года в квартире на улице Клиши, где живет теперь Виктор Гюго с семьей! Поэта поздравляют с избранием в Сенат. Он прошел лишь во втором туре выборов. Монархисты и клерикалы всячески пытались провалить его кандидатуру, но поэт популярен в широких кругах, и он избран, несмотря на все происки врагов.

В неизменном красном салоне в этот вечер зажжена огромная венецианская люстра. Жюльетта Друэ в черном бархатном платье со старинными кружевами принимает гостей. Ее прозрачное лицо порозовело от оживления. Она теперь хозяйка салона, признанная подруга поэта. Политические деятели, художники, депутаты, ораторы, министры почтительно склоняются к ее руке.

В салоне Гюго, конечно, «гнездо республиканцев», но «крайних левых» нет: почти все они в Новой Каледонии — на каторге, в ссылке; зато «умеренные» представлены всеми оттенками. Здесь и речистый Гамбетта, и молодой Жорж Клемансо, и остроязычный журналист Локруа, и старый друг Шельшер.

Наведываются и многие известные писатели. Здесь можно увидеть высокую фигуру Флобера, Альфонса Додэ, Эдмона Гонкура. Но в этот вечер в салоне явное преобладание политиков.

— Представляю себе кислую мину маршала Мак-Магона, когда он узнал о результатах выборов в Сенат, — замечает

Шельшер.

Мак-Магон сменил Тьера на посту главы правительства, но ход государственной машины мало изменился.

— Сенат, Сенат, — говорит Жюльетта, — так зовут нашу собаку на Гернсее, и Виктор всегда предпочитал ее честный лай рычанью версальских сенаторов.

Жорж и Жанна прислушиваются к словам взрослых. Дед обменивается с ними заговорщицкими взглядами. Он упросил их мать, чтобы она разрешила детям побыть вечером с гостями.

У Жанны совсем сонные глаза. Под гуденье голосов она задремывает, ей снится, что она в саду на Гернсее, жужжат пчелы… Она вздрагивает, дед наклоняется к ней.

— Пора спать!

22 марта Виктор Гюго едет в Версаль на заседание Сената. Он не обольщает себя надеждами. Снова он будет чувствовать себя, как Гуинплен в палате лордов, и все же скажет свое слово. Вот он подымается на трибуну. Весь в черном, седобородый, с белой как снег головой. Из-под кустистых бровей проницательно и молодо блестят глаза. Поэт окидывает взглядом каменные лица сенаторов. Кажется, будто от этого зала исходит ледяное дыхание склепа.

Гюго требует амнистии коммунарам. Амнистии полной и всесторонней. Без оговорок. Без ограничений.

— Амнистию нельзя дозировать. Спрашивать: «В каком объеме нужна амнистия?» — это все равно, что спросить: «В каком объеме нужно исцеление». Мы отвечаем: «Во всей своей полноте!»

Он говорит о народном горе, о семьях ссыльных, лишенных кормильцев.

«Несколько недель тому назад, первого марта, еще одна партия политических заключенных, вперемежку с обычными каторжниками вопреки нашим протестам, была погружена на корабль для отправки в Нумеа…»

«Виселицы… восемнадцать тысяч девятьсот восемьдесят четыре осужденных, ссылки на поселение, заключение, принудительные работы, каторга в пяти тысячах миль от родины — вот как правосудие карало за Восемнадцатое марта…

Что же касается Второго декабря… оно было прославлено! Его не только стерпели, его обожествили; преступление обрело силу закона, злодеяния стали легальными…

Пора успокоить потрясенную совесть людей. Пора покончить с позором двух различных систем мер и весов. Я требую полной и безоговорочной амнистии по всем делам Восемнадцатого марта!»

Каменную стену склепа не сокрушить пламенным словом. Сенаторы молчат. Только горсточка левых рукоплещет оратору. Проект амнистии, внесенный в Сенат Виктором Гюго, отвергнут подавляющим большинством.

Нет, ты отнюдь не та Республика святая,
Которую мы ждем, о будущем мечтая, —

пишет он вечером, стоя за своим пюпитром.

* * *

Жорж и Жанна смеются, хлопают в ладоши. Они — публика, их детская — это театральный зал, сцена — большой деревянный ящик с настоящим занавесом. Занавес раздвигается — смотри, смотри, Жанна! — Полишинели со страшными, смешными рожами — это сенаторы. Они посадили в клетку птиц и не хотят выпускать их на волю. Злые, глупые сенаторы. Размахивают руками, говорят речи. Живые куклы. Дед, вероятно, волшебник.

«Публика» аплодирует изо всех сил.

— Еще, еще!

Дед появляется из-за ящика. Большой, добрый.

— Завтра будет новое представление, сейчас актеры устали, а зрителям пора обедать.

Он не меньше внуков увлечен своим театром, сам вырезал эти фигурки, рисовал лица, сам ведет представление. Театр марионеток, такой же, как они устраивали в детстве с Эженом.

Когда дед возвращается с заседаний настоящего Сената, Жанна подбегает к нему и спрашивает:

— Ну, что там делается, выпустили они птиц на волю?

Старому поэту нравится чувствовать себя добрым волшебником, который переносит детей в мир сказок и исполняет любые их желания.

Он всегда особенно любил детей — и своих и чужих, всех детей.

А сколько детей живет в его произведениях!

Гаврош, Козетта, Гуинплен, спасающий от смерти Дэю, трое крестьянских ребят — дети батальона «Красный колпак» и бесконечная вереница детских образов в лирических стихах.

В 1877 году Виктор Гюго выпускает сборник стихов «Искусство быть дедом». Ласковое качанье колыбельных песен. Лирические сценки. Некоторые из них запечатлели мгновения его жизни. Вот он на Гернсее. Раннее утро, окна открыты, и он

слушает сквозь дрему:

Голоса… Голоса… Свет сквозь веки… Гудит в переулке
На соборе Петра затрезвонивший колокол гулкий.
Крик веселых купальщиков: «Здесь?» — «Да не медли, живей!»
Щебетание птиц, щебетание Жанны моей…

Но и в этом сборнике, пронизанном улыбками и солнечными лучами, то и дело слышится рокот медной струны.

О, если бы мой стих, и бешен и неистов,
Строфой железной мог испепелить софистов,
Тиранов раздавить!

Тут не только лирические гряды розовых облаков, тут и грозовые тучи, заряженные молниями.

Над Францией снова нависла опасность монархического переворота. Президент республики Мак-Магон хочет пойти по стопам Луи Бонапарта, рвется к власти. Монархисты и клерикалы поддерживают его. Эти партии мертвецов окончательно обнаглели. «Клерикалы главная опасность», — не без оснований утверждает Леон Гамбетта, постоянный посетитель дома Гюго, да и сам поэт видит это.

Он срочно готовит к печати ту книгу, которую написал сразу же после монархического переворота Луи Бонапарта, — «История одного преступления».

«Эта книга более чем своевременна, она необходима. Я ее публикую». С этим лаконичным предисловием автора, прямо указывающим на опасность реакционного переворота, грозящего Франции, книга выходит в свет.

Поединок между республикой и монархией становится все более ожесточенным. На выборах в октябре 1877 года победили республиканцы, но Мак-Магон не хочет формировать правительство. Три недели во Франции длится правительственный кризис — каждый день грозит переворотом.

Гюго и его друзья в тревоге. Морщины на лбу старого поэта становятся еще резче. Неужели снова повторится 2 декабря, неужели снова придется уйти в изгнание?

Но планы Мак-Магона сорвались. Армия, на которую он возлагал надежды, не поддержала его. В декабре сформировано правительство — во главе его встал правый республиканец Поль Дюфор. Конечно, это не та республика, о которой мечтает народ,

но опасность монархического переворота миновала.

* * *

В 1878 году в Париже несколько знаменательных событий — Всемирная выставка, столетие со дня смерти Вольтера и международный съезд литераторов.

30 мая Гюго произносит большую речь на торжественном заседании, посвященном памяти Вольтера.

От лица девятнадцатого века старый поэт воздает дань восемнадцатому, веку Вольтера, веку просветителей, закончившемуся французской революцией, «благословенной и величественной катастрофой, которая завершает прошлое и открывает будущее». Гюго говорит о «великом лесе умов, окружавших Вольтера». «Революция их душа, — утверждает поэт. — Она их сверкающее излучение».

Он славит Вольтера — человека, начавшего невиданный процесс против прошлого. «Ты вступил в тяжбу с тиранами и чудовищами, и ты выиграл эту тяжбу…»

Каким же оружием сражался Вольтер? «Оружием, в котором сочетаются легкость ветра и мощь грома, — пером».

Юбилейное слово превращается в пламенное слово агитатора, обращенное к современности.

— Господа!.. Восемнадцатый век начал, девятнадцатый завершает… цивилизация начинает процесс и заводит огромное уголовное дело против завоевателей и полководцев. Вызван свидетель — история… Народы начинают понимать, что гигантский масштаб преступления не может служить оправданием для преступника…

Да. Провозгласим абсолютные истины. Обесчестим войну… Нет. Жизнь не может трудиться ради смерти. Нет! О матери, окружающие меня! Нельзя допустить, чтобы война, эта воровка, продолжала отнимать у вас ваших детей…

Через столетие несется призыв писателя, кажется, будто он обращается и к XX веку.

— Истинное поле боя — вот оно: это смотр лучших произведений человеческого труда…

* * *

Уже семьдесят седьмой год живет на свете Виктор Гюго, но никак не хочет записываться в старики. Встает чуть свет, трудится

в полную силу. Издания и переиздания книг, речи, банкеты, репетиции и премьеры, выставки, приемы гостей, одинокие прогулки по Парижу — не всякий молодой способен жить такой полной, такой напряженной жизнью.

Он любит ездить по Парижу на империале омнибуса. Гораздо интереснее, чем в закрытой карете. Ему нравится быть в гуще народа: пониже надвинуть на лоб свою мягкую фетровую шляпу и слиться с потоком парижан. Париж стал другим, чем в дни его юности. Громадные витрины магазинов там, где раньше были ряды старинных лавок. Телеграф. Электричество.

Лишь электричество тряхнет земли основы,
Связав Европы мрак с Америкой суровой
Летящей искрой в тьме ночной…

Он уже давно написал эти строки и теперь воочию видит, как силы природы, обузданные людьми, служат им. Жизнь людей когда-нибудь станет сияющей, прекрасной. Но пока, увы, несмотря на все успехи цивилизации, в мире царят все те же социальные контрасты, может быть, даже еще более жестокие, чем прежде.

И Париж остается городом контрастов. С империала омнибуса старый поэт окидывает взглядом улицу. Яркий летний день, сияют витрины, полны кафе, колышутся цветы на шляпках дам. Здесь, в богатом квартале, не видно лохмотьев нищеты, но там, на окраинах… Современные писатели показывают в своих книгах грязь и ужас жизни бедняков, обитателей большого города. Гюго прочитал роман молодого писателя Эмиля Золя «Западня». Золя наблюдателен и смел. Гюго и сам хорошо знает быт рабочих семей, сколько раз поднимался он по убогим лестницам на ветхие чердаки или спускался в подвалы, заглядывал в вонючие и темные каморки! Но не слишком ли усердно копаются современные писатели в грязи соломенных подстилок, в мелочах уродливых будней, не забывают ли они о чем-то большом и главном, не принижают ли они человека, чрезмерно подчеркивая его животные инстинкты? Гюго уверен, что в человеке надо искать лучшее, высокое, что роман не дышит полной грудью без любимого героя, человека большой души, высоких целей. В его романах всегда были такие герои…

Да, старый писатель чувствует себя одиноким среди новых литературных поколений. Его сверстники давно уже сошли со сцены. В 1876 году похоронили Жорж Санд. Для него это была большая утрата. «Я любил ее, восхищался ею, благоговел перед ней, — говорил Гюго у гроба писательницы. — В эпоху, когда

Гарибальди совершал чудеса, она создавала шедевры… Теперь, когда столько людей бесчестят Францию, особенно нужны люди, возвеличивающие родину…»

Теории, которые проповедуют французские литераторы 70-х годов, чужды Виктору Гюго. Некоторые продолжают твердить о «чистом искусстве», о «башне из слоновой кости» (о ней мечтал Флобер), об искусстве — убежище от грязного, страшного мира. Но ведь на деле, если они действительно большие писатели и поэты, они не уходят от жизни, их книги доказывают это. Другое дело, что им, может быть, не хватает пыла, размаха, крыльев, порыва — того, что было у молодых революционных романтиков, у поколения писателей, призванного к жизни эпохой революций.

Гюго не вступает в литературные споры, он верен своим принципам поощрения лучшего, и он вериг в то, что литература всегда останется «шествием человеческого разума к вершинам прогресса».

Эту мысль высказал он и на международном конгрессе литераторов в Париже 17 июня 1878 года.

Съезд писателей не похож на заседание версальских сенаторов. Совсем иные лица, и дышится по-другому. Гюго — председатель. Его заместитель — Иван Тургенев. Этого знаменитого русского писателя хорошо знают во Франции. Тургенев подолгу живет в Париже и стал своим в писательских кругах. Он особенно дружен с Флобером, Эдмоном Гонкуром и Альфонсом Додэ. К этому кружку часто присоединяются Золя и Мопассан, молодой ученик Флобера. Все они присутствуют на конгрессе. Вот бледное лицо Додэ с изящной белокурой бородкой, вот пышная шевелюра Мопассана; поблескивают очки Эмиля Золя, у него грустное, серьезное лицо, и выглядит он старше своих лет. А сколько здесь незнакомых лиц, и все глаза прикованы к председателю.

— О народах судят по их литературе, — говорит Виктор Гюго. — Двухмиллионная армия исчезает. «Илиада» остается; у Ксеркса была армия, но ему не хватало эпопеи, и Ксеркс исчез бесследно, Греция мала по территории, но велика благодаря Эсхилу. Рим — всего лишь город, но благодаря Тациту, Лукрецию, Вергилию, Горацию и Ювеналу этот город заполняет собою весь мир…

Свет! Всегда свет! Повсюду свет! В нем нуждаются все. Он содержится в книге. Раскройте же книгу шире. Дайте ей возможность сиять, предоставьте ей действовать.

Но и эту речь, обращенную к писателям мира, он заканчивает, призывом к Франции дать амнистию коммунарам.

«Без амнистии невозможна всенародная радость!»

Он умирал бессмертным (1878–1885)

— Слишком большое напряжение опасно для человека в его возрасте, — говорит Жюльетте Друэ врач.

Виктор Гюго лежит в соседней комнате, Жюльетта прикрывает плотнее дверь, чтоб его не беспокоили голоса.

— Кровоизлияние в мозг, но опасности для жизни пока нет, — продолжает врач. — У мосье Виктора Гюго могучий

организм, он еще будет жить и жить, но сейчас ему необходим полный покой, отдых.

Только неделю назад он говорил речь на конгрессе писателей, а теперь вынужден лежать неподвижно. Жюльетта уговаривает, как только он немного поправится, поехать всей семьей на Гернсей. В июле они отбывают из Парижа.

В Отвиль-хаузе их встречает верная Жюли Шене. Радостно визжит собака Сенат, бросаясь к хозяину.

— Ну, конечно, наш Сенат гораздо лучше, чем, версальский, — шутит Жюльетта, — я всегда говорила это.

Виктор Гюго снова бодр, гуляет с внуками, беседует с гостями, читает газеты, пишет письма. Он стал только немного хуже слышать, иногда в голове легкий шум.

В сентябре его приглашают председательствовать на собрании интернациональной Лиги мира и свободы.

«…Мне приходится задержаться на Гернсее, — пишет он председателю лиги, — но вы прекрасно знаете, что я всей душой солидарен с великим делом Свободы и Мира. Монархи ополчаются против свободы, духовенство против мира, но тем не менее наш успех предопределен; народы хотят объединиться. У нашей эпохи двойная обязанность: подавить волю монархов и выполнить волю народов».

В октябре Гюго уже стремится в Париж. «Я приеду на будущей неделе, — пишет он Полю Мерису 25 октября 1878 года. — Хочу голосовать в Сенате и в Академии, чтобы помешать парижскому архиепископу попасть в Сенат, а г-ну Тэну — в Академию. У нас нынешней зимой будет достаточно дел, не считая „Всей лиры“».

«Вся лира» — это новый поэтический сборник, который он собирается выпустить в свет.

Старый солдат прогресса не сдается. Духовные персоны — его давние враги, а Ипполита Тзна он осуждает за то, что этот историк и критик оказался в лагере душителей в дни репрессий над участниками Коммуны. Таких нечего выдвигать в Академию.

В Париже Поль Мерис купил по поручению Гюго дом на авеню Эйлау. Новое жилище поэта меблировано торжественно и нарядно. Сияет люстрами красный салон. В комнате хозяина — кровать с пышным балдахином, большой рабочий стол, у окна высокий пюпитр. Гюго по-прежнему любит работать стоя.

В 1879 году новый сборник выходит в свет. Читатели потрясены могучей энергией и великолепным мастерством старого Орфея. Но друзья поэта, его неизменные помощники Вакери и Мерис знают, что большая часть стихов в этом сборнике принадлежит к давним запасам Гюго. В его сундуках еще много неведомых сокровищ. Но он пишет и новые стихи, дорабатывает

произведения, начатые еще на Гернсее.

Популярность поэта в Париже необычайна. Им восхищаются, им гордятся, его любят.

С тех пор, как Мак-Магон в январе 1879 года ушел в отставку, у власти умеренные республиканцы. Президент Жюль Греви — поклонник старого поэта. В кружке Виктора Гюго атмосфера больших надежд.

— Наш мэтр стал Эсхилом новых Афин, — говорят его друзья.

Гюго встает теперь в девять часов утра, уже не так рано, как прежде. Жюльетта первая приходит сказать ему «доброе утро», потом прибегают Жорж и Жанна. По утрам он по заведенному обычаю принимает холодный душ, растирается жесткой шерстяной перчаткой и чувствует себя бодрым и крепким. После завтрака обычно отправляется на прогулку. Как и в молодости, ему хочется все видеть «своими глазами».

5 июля 1879 года он совершает путешествие над Парижем на воздушном шаре. Первый раз в воздухе! Незабываемое ощущение — отделиться от земли, смотреть на нее сверху. Видеть Париж, как на ладони. Кольцо бульваров, лента Сены, башни собора… Гюго думает о будущем, когда человек станет крылатым, изобретет мощные летательные аппараты.

Прогресс. Завоевание неведомых далей. Другая жизнь на земле. Это будет!

Париж повеселел. Все ждут от нового правительства реформ, надеются на улучшение жизни. И старый поэт продолжает ратовать за справедливость и мир. Правда, он теперь редко выступает, но все же время от времени его голос раздается с трибуны.

В мае 1879 года Гюго по просьбе своего друга Шельшера председательствовал на конгрессе борцов против рабства. 3 июля 1880 года он выступил в Сенате. Поэт начал свою речь с напоминания о годовщине взятия Бастилии,

— Господа! Четырнадцатое июля — праздник всего человечества!

Он предлагает сенаторам встретить годовщину революции благородным решением — принять закон об амнистии коммунарам.

— Тридцать четыре года назад я впервые говорил с трибуны Франции — с этой трибуны. По воле бога мои первые слова были посвящены защите прогресса и истины; по его же воле эти мои слова — может быть, последние, если вспомнить о моем возрасте, — посвящены защите милосердия и справедливости.

На этот раз закон об амнистии был принят Сенатом.

* * *

В февральский день 1882 года в Париже праздник. Знаменитый поэт Франции достиг восьмидесятого года жизни. В коллежах и пансионах в честь этого дня отменены наказания, школьников отпускают с занятий. Дети, юноши, взрослые, старики — все хотят приветствовать Виктора Гюго.

Необыкновенный день рождения. Даже в юношеских мечтах поэту не мог пригрезиться такой триумф. Бессмертие при жизни. Любовь и восхищение народных масс. С самого полудня мимо дома на авеню Эйлау движутся нескончаемые живые потоки: здесь и парижане, и делегаты со всех концов Франции, и посланцы многих стран мира. У самого дома на розово-голубом пьедестале водружен золотой лавр.

Виктор Гюго стоит у раскрытого окна, одной рукой он обнимает Жоржа, другой — Жанну. Вот он живой, бессмертный старый Орфей в скромном черном пиджаке, с непокрытой седой головой.

Все движется и движется людской поток у его окон, и все головы повернуты к нему, все руки взлетают в воздух.

— Да здравствует Виктор Гюго!

Он прижимает руку к сердцу; вот они, его герои, его читатели.

Проходит группа рабочих-типографщиков. Это они печатают его книги и первыми читают их! А вот стайка молодых девушек — школьницы, пансионерки — сама юность с букетами живых цветов.

— Жорж, лови!

Гюго всматривается в лица этих людей — глаза его по-прежнему зорки, хотя сегодня их то и дело застилают слезы. Вот в толпе виднеется фигура старого солдата, инвалид с орденом Почетного легиона в петлице, он по-военному отдает честь, приближаясь к дому поэта. И мальчишки весело шагают рядом со взрослыми, ровесники его вечно юного Гавроша.

Шесть часов подряд движется это небывалое шествие. Уже темнеет, Жорж и Жанна немного устали и замерзли, но не хотят уходить, прижимаются к деду, а дед забыл о времени, не замечает усталости, он высоко поднимает руку, и над людскими рядами несется его голое:

— Да здравствует республика!

Как ему хочется верить, что пришла, наконец, та самая республика, о которой он мечтал столько лет! В эту минуту счастливого опьянения триумфом не хочется думать о темном, тревожном, о несбывшемся и незавершенном. Он счастлив, он

погружается в волны народной любви и забывает обо всем. Народ похож на океан, и в этот день волны его рокочут торжественно, радостно, льнут к его ногам. Ощущение ни с чем не сравнимого счастья.

Шестьсот тысяч человек прошло в тот февральский день под окнами Виктора Гюго. Народ приветствовал друга отверженных, певца возмездия, борца за справедливость.

Письма и призывы продолжают лететь к нему со всех концов земли.

В марте 1882 года Виктор Гюго выступает в печати по делу двадцати двух русских народовольцев.

«Цивилизация должна вмешаться, — призывает Гюго. — Сейчас перед нами беспредельная тьма, среди этого мрака десять человеческих существ, из них две женщины (две женщины!), обреченных на смерть. А десять других должен поглотить русский склеп — Сибирь.

За что? За что эта виселица? За что это заточение?»

Гюго обличает неправый суд — закрытое судилище, без публики, без журналистов, без ответного слова обвиняемых.

И самодержцам иногда приходится прислушиваться к голосу мирового общественного мнения. Правда, одними призывами не сокрушить казематов и дворцов, но и призывы порой приносят плоды. Приговор народовольцам смягчен. Девяти приговоренным к смерти казнь заменена пожизненной каторгой. Десятому — Н. Суханову виселица заменена расстрелом. На большую «милость» самодержцы едва ли способны.

С помощью верных Мериса и Вакери Гюго готовит все новые и новые сборники стихов и поэм, извлекая поэтические сокровища из своих сундуков. В 1881 году появляется сборник «Четыре ветра духа», в 1883 году готовится к выпуску новый том «Легенды веков». Впервые в жизни у поэта появился секретарь; Жюльетте Друэ уже трудно переписывать его рукописи, Жюльетта больна, тает с каждым днем. У нее рак желудка, она ничего не может есть, знает о скором конце и приучает себя спокойно думать о неизбежном. Но Виктор Гюго не желает слышать об этом, не может поверить тому, что она должна его покинуть. Он хочет, чтобы она улыбалась ему, как прежде. И она никогда не жалуется, не стонет, скрывает боль и пытается улыбнуться, когда он сидит у ее изголовья.

1 января Жюльетта написала ему последнее свое письмо:

«Дорогой, обожаемый, я не знаю, где буду в следующем году в это время, но сейчас я счастлива и горда, что могу выразить тебе одним словом то, что подтверждено всей моей жизнью: я

тебя люблю».

В знаменательную годовщину их любви он подарил ей свой портрет с надписью: «Пятьдесят лет любви — это лучший брак». Да. Она согласна с этим, и пусть ей нелегко жилось, ни с кем не поменялась бы она своей судьбой.

Жюльетта Друэ умерла 11 мая 1883 года.

* * *

Веку шел девятый десяток, век близился к концу. Но не примирение и милосердие было написано на лице дряхлеющего века, а все растущее ожесточение. Росли новые цитадели войн, ковались новые цепи для народов. Все опаснее для судеб человечества становился «вооруженный мир» в Европе, все судорожнее тянулись во все концы света хищные руки европейских властителей — финансовых королей, железных королей, нефтяных королей — руки холеные и руки жилистые с набухшими старческими венами.

Взапуски, сбивая с ног один другого, неслись по приказу этих королей их слуги и наемники — английские, французские, немецкие, бельгийские, во фраках министров, в генеральских мундирах. Все новые экспедиционные отряды и армии отправлялись в еще не поделенные хищниками земли. В Азию, в Африку! К устью Конго, к берегам Нигера, в долину Тигра и Евфрата! Грабители без масок, без покрова ночной темноты обрушивались на чужие земли, резали, рубили, грабили, жгли. Они добывали новые рынки, новые источники богатств для королей-капиталистов.

Пушки с английских кораблей наведены на восставшую Александрию. Корчатся в смертных муках воины-зулусы под градом европейских пуль. Гибнут от желтой лихорадки французские солдаты, посланные на завоевание Тонкина. Тяжелым бременем ложится на французский народ «колониальный Седан», поражение при Ланг-Соне.30 марта 1885 года. Но грабители не останавливаются. Они довершат свою «экспедицию».

Среди бела дня вампиры присасывались к телам народов.

Все ясней становилась враждебность капитализма прогрессу, и все новые формы обмана и угнетения изобретали властители буржуазного мира и их наемники. Но дыхание народов не замирало, народные движения не прекращались на Западе Европы и разгорались на Востоке.

Век близился к концу.

* * *

Шумел, блистал, пел и волновался Париж. Рождались на свет новые люди, открывались новые заводы, театры, кафе, выходили новые книги.

Газетчики кричали о последних событиях:

— Смена кабинета министров!

— Забастовка в Лионе!

Вернулись из ссылки участники Коммуны, оставшиеся в живых. Появились новые вожаки рабочего движения. Все чаще слышались во Франции имена Жюля Гэда, Поля Лафарга.

В красном салоне Виктора Гюго по вечерам по-прежнему собираются гости. Писатель прислушивается к беседам, но сам говорит мало и редко. Иногда друзьям кажется, что он отсутствует, взгляд его, устремлен куда-то внутрь. Старый мэтр изменился, погрустнел, затих.

Он просит, чтобы в дни его юбилеев не устраивали больше праздников.

«В моей жизни столько траура, что для меня нет больше праздников», — говорит он.

В августе 1883 года Гюго с внуками и невесткой ездил на отдых в Швейцарию. У здания гостиницы на берегу озера Леман, где остановился Гюго, собралась толпа, в ней был юный Ромен Роллан. Впоследствии он рассказал об этой встрече в очерке «Старый Орфей».

«Мы остановились на ночлег в маленьком городке Вильневе на самом берегу Женевского озера… Уснув поздно и проснувшись рано под плеск волн о берег, мы перед отъездом в Вале увидели всюду приготовления к празднеству: нам сообщили, что Виктор Гюго находится в отеле „Байрон“ и что из Женевы и всех окрестностей озера после полудня соберется народ, чтобы его приветствовать. Мы побежали к отелю. Здесь мы проскользнули в прекрасный сад и прождали в нем под деревьями около пяти часов с бьющимся от нетерпения сердцем (нет, мы не были пресыщены жизнью!). Мы согласились бы прождать целый день! Наконец с озера раздались звуки пения. По его позлащенной солнцем лазури заскользили разукрашенные флагами лодки, звуки музыки, радостные голоса. Люди вторгались в сады. Толпа, собравшаяся с обоих берегов озера, стала тесниться вокруг отеля, заполнять прилегающее к нему пространство. И вот на средней террасе, где развевались трехцветные флаги, показался старый дед среди двух внуков… Как он, однако, был стар! Совсем седой, весь в морщинах, брови насуплены, глаза глубоко запали. Он мне показался вышедшим из глубины веков.

Я был совсем близко. Я напрягал слух, но мне не удалось разобрать ничего из глухого бормотанья старика, кроме его единственного возгласа: в ответ кричавшим „Да здравствует Гюго!“ Гюго воскликнул: „Да здравствует республика!“ Глаза у него при этом были сердитые, а руки были подняты, словно он собирался поносить кого-то, напоминая о той, которую надлежало приветствовать…

Когда толпа разошлась, я продолжал бродить по аллеям, все еще надеясь увидеть дорогого старика. И я увидел его вновь, когда он, волоча ноги, направился к площадке, на которой Жорж и Жанна играли в крокет. Жорж и Жанна бросились к нему навстречу, крича: „Дедушка, дедушка!“ Их детские голоса звучали нежно и вкрадчиво, как флейта. Быть может, они были искренни, но искренность эта была показной, рассчитанной на зрителя. Мой непогрешимый мальчишеский слух не мог ошибиться. Но сам дедушка держался без всякой позы. Старческое, морщинистое лицо светилось широкой признательной улыбкой…

На следующий год (15 мая 1884 года) я снова увидел его в Трокадеро, где он в ложе, как Вольтер, присутствовал на устроенном в честь него грандиозном празднестве: Камилл Сен-Санс дирижировал в этот день своим „Гимном Виктору Гюго“.»

«Имя старого Гюго сочеталось для нас с именем самой Республики, — писал Ромен Роллан. — На долю его, единственного из всех писателей и художников, выпала та слава, которая пребывает живой в сердце французского народа».

* * *

18 мая 1885 года тревожная весть разнеслась по Парижу, передаваясь из уст в уста: Виктор Гюго смертельно болен; кровоизлияние в легкие, сердечная слабость…

«При первом известии о болезни Гюго я кинулся к его дому на улице Эйлау, — пишет Ромен Роллан. — Я забросил свои занятия и проводил дни на улице с сотнями людей, большую часть которых составляли рабочие, в тоскливом томлении поджидая выходивших из дому и жадно ловя каждое сказанное ими слово…»

Четыре дня вся Франция прислушивалась к дыханию умирающего поэта. Газеты печатали бюллетени о состоянии его здоровья; оно все ухудшалось. Старый Орфей знал, что это кончина, и не боялся ее.

— Если это смерть — добро пожаловать, — говорил он друзьям.

Верные Мерис и Вакери в дни болезни постоянно дежурили у его постели. Каждое его слово они должны были запомнить и сберечь. О чем думал он в эти последние часы, лежа на своей громадной постели под балдахином? Может быть, ему вспоминались слова, которые несколько лет перед тем он сказал о Вольтере, в столетнюю годовщину его смерти?

«…Он умирал бессмертным. Он уходил от нас, обремененный годами, обремененный творениями, обремененный самой славной и самой ужасной ответственностью, ответственностью за совесть людей, которую он предупреждал и стремился наставить на правильный путь. Он уходил, сопровождаемый проклятиями и благословениями — проклятиями прошлого и благословениями будущего, — таковы, господа, две прекрасные формы славы. Лежа на смертном одре, он слышал, с одной стороны, овации современников и потомства, а с другой — гиканье и гул ненависти, которые неумолимое прошлое обрушивает на тех, кто с ними боролся…»

И дальше почти теми же словами, что он говорил о Вольтере, можно было бы сказать о самом Викторе Гюго.

Восемьдесят три года, прожитые этим человеком, охватывают историю всего девятнадцатого века, с его исканиями, взлетами, безднами. Когда он родился, в Европе гремели наполеоновские войны, первый консул протягивал руку к короне. Когда он умер, во Франции уже установилась третья республика. Его колыбель озаряли последние лучи великой французской революции, его гроб — первые зарницы великих битв за Коммуну будущего.

Он лежал неподвижный и иногда тихо произносил какие-то слова. Строки стихов. И в этот час они складывались в его меркнущем сознании:

Здесь бой идет меж днем и ночью…

Надежды больше нет. Парижский архиепископ, священники всех исповеданий наготове. Может быть, их старый противник смирится в свой смертный час? Его осторожно спросили, хочет ли он видеть священника.

— Нет, — отвечал умирающий, — нет: Детей. Приведите Жоржа и Жанну.

Их привели. Они в последний раз приникли к руке деда. На лице его появилась тень улыбки.

— Мои дорогие… Прощай, Жанна.

Началась агония. Мысли его превратились в видения, в отдаленные звуки… Гуденье. Какой-то властный, нарастающий шум. Он сливается с его мыслями. Может быть, это шум океана?

Народ похож на океан… Баррикады… К оружию, граждане!.. Мальчик подбирает патроны. Голоса детей… Будущее. Яркая вспышка света…

В эту ночь над Парижем гремела гроза. Вихрь, ливень, град, удары грома.

— Я вижу черное сияние, — произнес он едва слышно и замолк. Это были его последние слова.

22 мая 1885 года во Франции был объявлен национальный траур.

Вокруг гроба поэта началась борьба. Ревнители порядка требовали церковных похорон, но им противостояло завещание умершего:

«Я оставляю 100 тысяч франков беднякам. Я хочу, чтоб меня отвезли на кладбище в повозке для бедных. Я отказываюсь от заупокойных обрядов всех церквей; я обращаюсь с просьбой помолиться за меня ко всем человеческим душам…»

«Двадцать шестого мая были сняты дощечки с названиями на улице и на площади Эйлау. На них поставили имя Гюго, чтобы Гюго по своей собственной улице мог отправиться к Триумфальной арке», — писал Роллан.

31 мая на площади Этуаль у Триумфальной арки возвышался черный катафалк, окруженный почетным караулом. Всю ночь площадь была заполнена несметной толпой. Одни уходили, другие приходили. Утром 1 июня пушечные выстрелы возвестили о начале похоронного обряда. Никаких священников. Траурные дроги для бедняков везли гроб поэта, украшенный двумя венками белых роз.

Двухмиллионная толпа провожала этот гроб до Пантеона. Звуки траурных маршей сливались с приветственными кликами:

— Да здравствует Виктор Гюго!

Похороны превратились в апофеоз, траурная процессия — в триумфальное шествие поэзии.

* * *

Голос Виктора Гюго не умолк после его смерти. Год за годом продолжали выходить во Франции его новые книги, открывались неизвестные раньше стороны его могучего дарования. Сборник стихов «Последний сноп», очерки и зарисовки «Виденное своими глазами», записные книжки, дневники, рисунки. Неисчерпаемое наследие, сокровища из заветных сундуков.

И книги его звучали особенно молодо в сумерках

дряхлеющего века. Они воскрешали живые краски юности столетия, и в них брезжили далекие зарницы будущего.

Игра причудливой фантазии, образы легенд и сказок соединялись в его творениях с точными фактами, с живыми приметами времени. Колдовство поэзии шло рука об руку с пафосом публицистики. Волшебными очками художника был вооружен острый глаз журналиста.

«Реализм начинается там, где начинается царство героического», — писал Арагон в книге «Виктор Гюго, поэт-реалист» (1952). Живую силу поэзии Гюго Арагон видит в том, что это поэзия идей, а не отблесков некоей мечущейся, одинокой души. В поэзии Гюго нашли отражение идеи народа Франции в его революционном становлении.

Виктор Гюго складывался как человек, поэт, мыслитель в ту пору, когда революционное движение французского рабочего класса уже поднималось и развертывалось, но разрозненные и бурные ручьи его еще не соединились в единую мощную реку, и не было еще опытного рулевого.

Путы утопий, сети иллюзий порой связывали шаг писателя и затуманивали его зрение, но все же взгляд его оставался острым и зорким. Не иллюзии давали ему силу и остроту, а живое ощущение современности, любовь к народу и неистребимое стремление всегда двигаться вперед. Его путь был не легким, не простым, не ровным. От геральдических лилий Бурбонов к трехцветному знамени баррикад республики. И позже он порой приближался к красным знаменам. В изгнании, когда он выпрямился во весь рост, демократ в нем побеждал либерала. Но даже когда он ошибался и уходил в сторону, он не падал в бездны прошлого, не протягивал руки мертвецам, а всегда стремился разглядеть, увидеть маяки будущего, их свет вдохновлял его на новые победы.

Он любил высоко парить в мечтах, он любил прекрасное, звонкое слово, и многие современники и потомки обвиняли его в пристрастии к высокопарной фразе, к словесным эффектам. Пусть даже так, допустим, что стремленье к высокой мечте и любовь к красе слова были его слабостью, но эта слабость была в то же время и его могучей силой. Он чувствовал себя властелином слов, и поэтическое слово никогда не отрывалось у него от мысли, оно служило большой и прекрасной цели, оно было его оружием, и он владел им в совершенстве.

И свой меч рыцаря света и все свои лучшие заветные мечты он передал тем, кто продолжает борьбу за будущее.

В черную годину, когда фашистские орды ринулись на

Францию и захватили ее, Гюго помогал живым в их героическом Сопротивлении:

«Поднимемся на грозный бой за родину. Вперед, вольные стрелки!..»

Голос рыцаря мира доносится до его потомков. «Жизнь не должна трудиться ради смерти. Нет!»

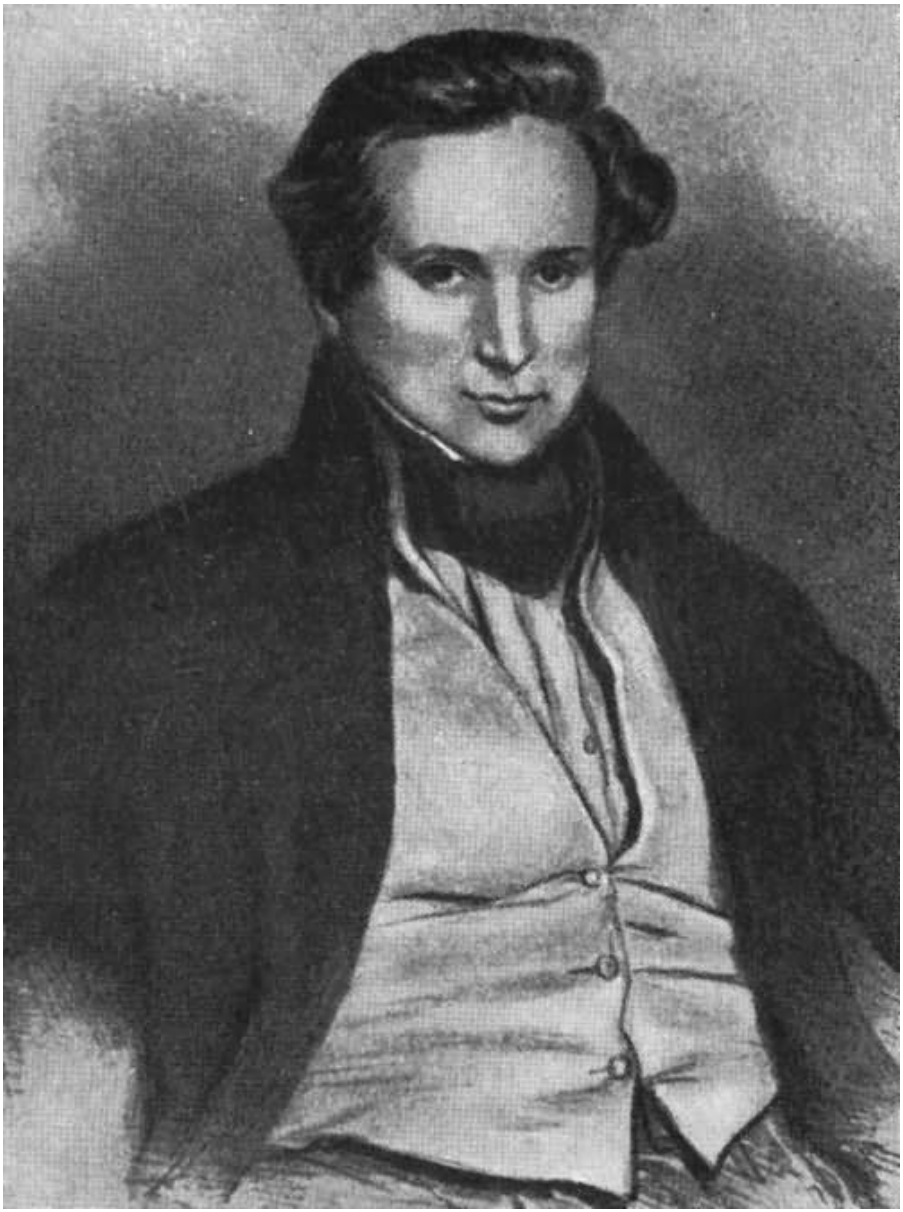
Вместе с нами Гюго верит в победу света. «Моей религией всегда была надежда… Большое счастье уже сегодня видеть то, что мир увидит только завтра».

Это высокое, истинно человеческое, обращенное к желанному завтра, он стремился запечатлеть, воспеть и прославить в стихах, в романах, в речах.

Миллионы сердец бьются сильнее, откликаясь на неумолчный призыв к большому подвигу, на неумирающее чувство любви к человеку.

Леопольд Сижисбер Гюго
Отец писателя

Портрет матери Виктора Гюго.



Шатобриан.

Ламартин.

Шарль Нодье.

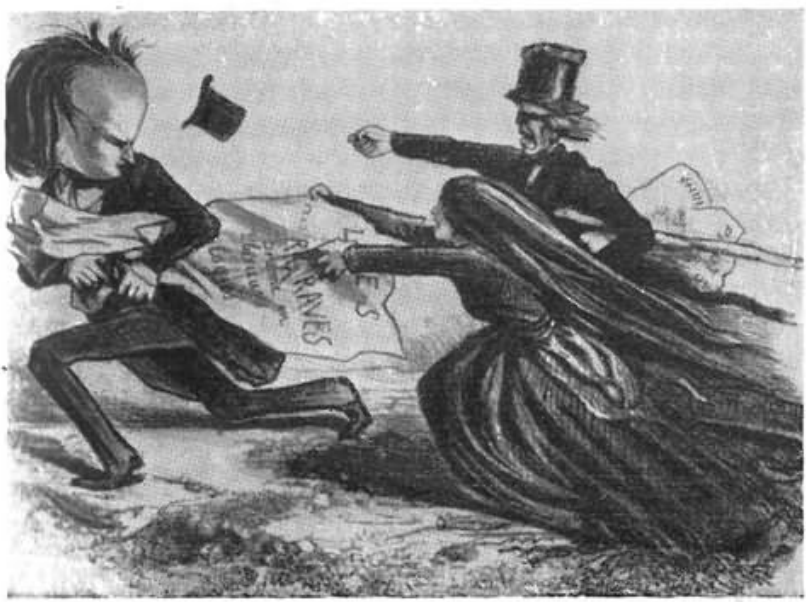
Классик. Рисунок Виктора Гюго.

Первый шарж на Гюго художника Домье.

Романтическое воинство. Карикатура художника Бенжамена Рубо.

Сент-Бёв.

Корифеи классического театра ополчились против Гюго.
Рисунок художника Ш. Жака.



Адель Гюго. Жена писателя. Портрет художника Луи Буланже.

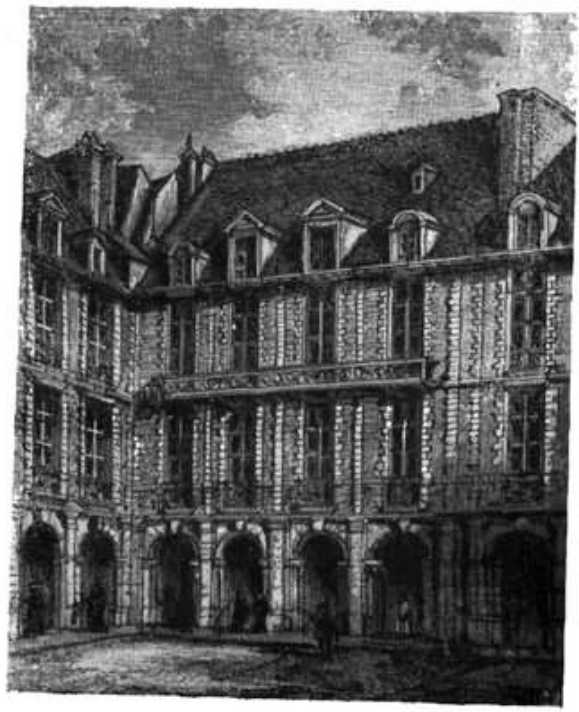
Жюльетта Друэ в 1832 году.

Александр Дюма (отец).

Средневековый замок. Рисунок Виктора Гюго.

Бюст молодого Гюго
работы Давида д'Анж

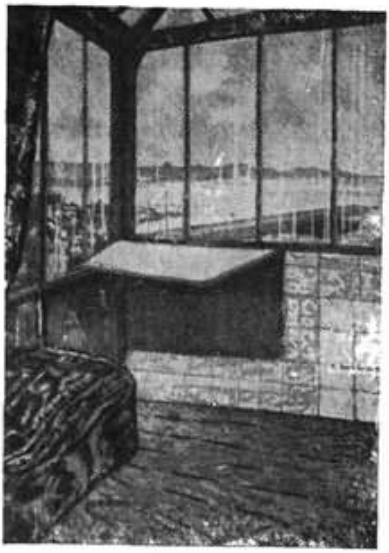
Дом на Королевской площади, где
жил Гюго с 1833 по 1848 год.



Теофиль Готье в старости.

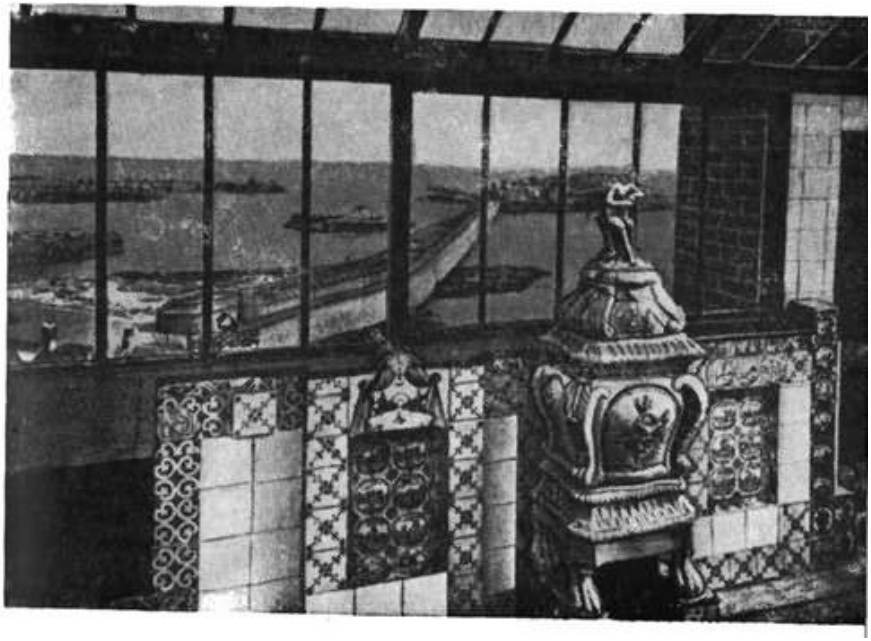
Виктор Гюго в 1868 году.

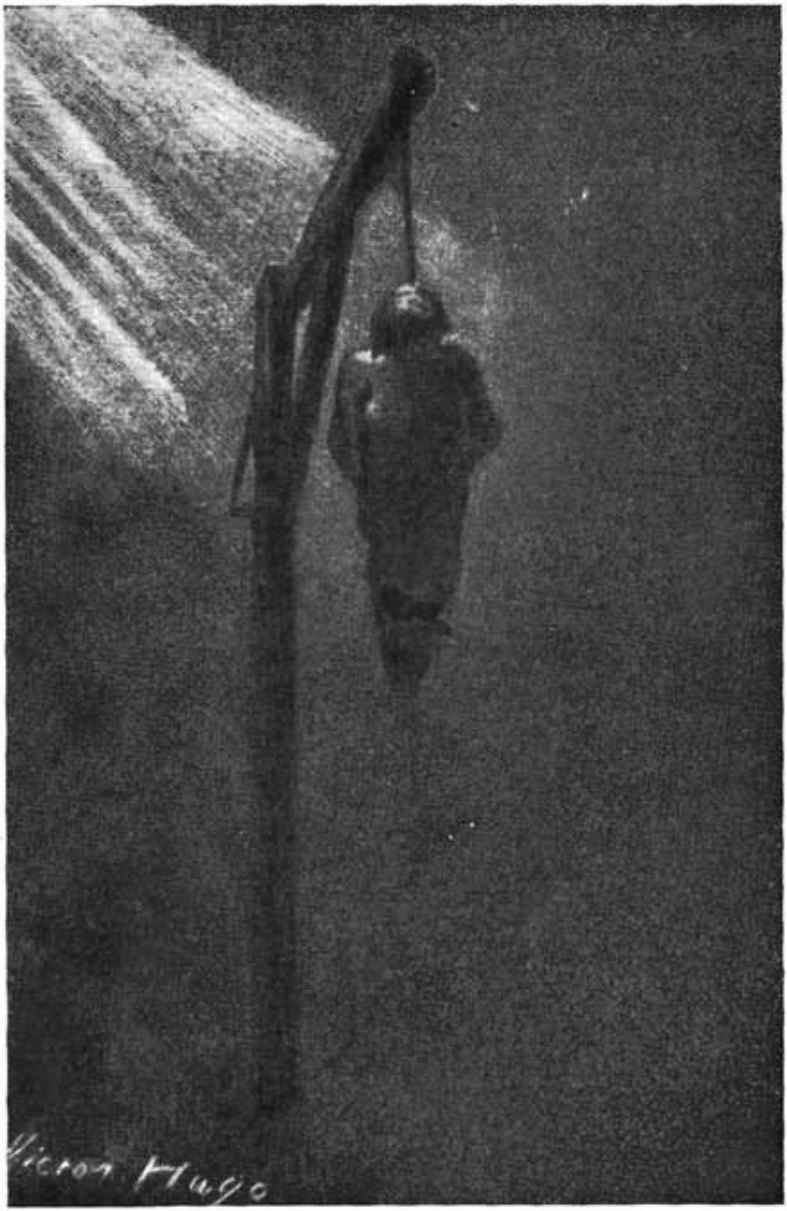
Вход в Отвиль-хауз
(дом Гюго на Гернсее).



Люкаут. Вид на Порт Сен-Пьер.

Красный салон в Отвиль-хаузе.





Джон Браун. Гравюра по рисунку Гюго.

Шарль Гюго.

Франсуа Виктор Гюго.

Гюго с внуками Жоржем и Жанной.

Похоронная процессия движется к Пантеону.

Основные даты жизни и творчества Виктора Гюго

1802, 26 февраля. Рождение Виктора Гюго в городе Безансоне в семье батальонного командира Леопольда Сижисбера Гюго.

*1803.*Путешествия семьи Гюго по средиземноморским островам.

1804, февраль. Переселение в Париж.

1807, осень. Отъезд семьи в Италию к отцу.

1809, конец года. Возвращение во Францию.

1811, март. Отъезд в Испанию.

1812, весна. Возвращение в Париж.

24 июня. Вторжение наполеоновской армии в Россию.

29 октября. Казнь друга семьи Гюго генерала Лагори, участвовавшего в заговоре Мале против Наполеона.

1814, 31 марта. Вступление русских войск в Париж.

Апрель. Первая реставрация Бурбонов.

Осень. Поступление Гюго в пансион Кордье и Декотта в Париже.

1815, март — июнь. Возвращение Наполеона во Францию. «Сто дней».

18 июня. Битва при Ватерлоо. Поражение Наполеона. Вторая реставрация Бурбонов.

1817, апрель. Похвальный отзыв Французской Академии на оду Гюго «О пользе наук во всех положениях жизни».

Осень. Поступление в Лицей Луи ле Гран.

*1818.*Первая повесть Гюго «Бюг Жаргаль».

1819, конец года. Основание журнала «Литературный консерватор».

1820–1821, март. Работа Гюго в журнале в качестве редактора и автора многочисленных статей и стихотворений.

1821, 27 июня. Смерть матери.

1822, июнь. Выход в свет первой книги Виктора Гюго «Оды и различные стихотворения».

Август. Назначение Виктору Гюго литературной пенсии от Людовика XVIII.

12 октября. Женитьба Виктора Гюго на Адели Фуше.

*1823.*Выход в свет романа «Ган Исландец» и второго издания «Од».

Начало сотрудничества Гюго в журнале «Французская муза».

Сближение с кружком Шарля Нодье. Знакомство с Э. Делакруа и другими художниками

Октябрь. Смерть первенца Гюго Леопольда.

1824, октябрь. Рождение дочери Леопольдины.

1825, апрель. Поездка в Блуа к отцу.

Осень. Путешествие по Швейцарии вместе с Шарлем Нодье.

*1826.*Издание «Од и баллад». Начало романтических битв. Издание отдельной книгой повести «Бюг Жаргаль».

Рождение сына Шарля.

1827, декабрь. Появление в печати драмы «Кромвель» с предисловием.

1828, 28 января. Смерть отца.

Октябрь. Рождение сына Франсуа Виктора.

1829, январь. Выход книги стихов «Восточные мотивы».

7 февраля. Появление повести «Последний день приговоренного к казни».

10 июля. Чтение в кругу литераторов драмы «Марион Делорм».

Август. Запрещение цензурой постановки «Марион Делорм».

1830, 25 февраля. Первое представление «Эрнани».

Начало театральных битв.

27–29 июля. Революция во Франции, низвержение династии Бурбонов.

Август. Установление Июльской монархии, вступление на престол Луи-Филиппа. Гюго пишет «Дневник революционера 1830 года».

Рождение дочери Адели.

1831, февраль. Вышел в свет «Собор Парижской богоматери».

Осень. Книга стихов «Осенние листья».

1832, 4–6 июня. Республиканское восстание в Париже.

Работа над пьесой «Король забавляется».

13 ноября. Запрещение пьесы Гюго цензурой Июльской монархии.

Ноябрь — декабрь. Судебный процесс Гюго против театра «Комеди Франсэз», выступление на суде.

23 декабря. Отказ от королевской пенсии.

1833, февраль. Постановка в театре Порт Сен-Мартен пьесы «Лукреция Борджа». Знакомство с актрисой Жюльеттой Друэ.

7 ноября. Постановка «Марии Тюдор» в театре Порт Сен-Мартен.

1834, начало года. «Очерки литературы и философии».

6 июля. Напечатана повесть «Клод Гё».

1835, зима. Постановка драмы «Анжело».

Лето. Путешествие по Нормандии и Пикардии.

Октябрь. Выход книги стихов «Песни сумерек».

1836, февраль. Гюго забаллотирован на выборах во

Французскую Академию, ему предпочли автора фарсов Дюпати.

Лето. Второй провал кандидатуры Гюго во Французской Академии, избран Минье.

1837, 20 февраля. Смерть брата Гюго Эжена.

27 июня. Выход книги стихов «Внутренние голоса».

1838. Основание «Театра Возрождения».

Лето. Поездка на Рейн.

Ноябрь. Первая постановка пьесы «Рюи Блаз».

1839, 12–14 мая. Республиканское восстание в Париже под руководством Бланки и Барбеса.

12 июля. Спасение Барбеса от казни.

Сентябрь. Путешествие на Рейн.

Осень. Третий провал на выборах в Академию.

1840, 16 мая. Выход книги стихов «Лучи и тени».

Лето. Поездка в Бельгию и на Рейн.

1841, 7 января. Избрание Виктора Гюго во Французскую Академию.

1842. Книга очерков «Рейн».

1843, 7 марта. Первое представление драмы «Бургграфы».

Июль — август. Путешествие по Испании.

4 сентября. Гибель дочери Гюго Леопольдины.

1845, 13 апреля. Королевский указ о присвоении Гюго звания пэра Франции.

Начало работы над рукописью романа «Отверженные».

1846, 19 марта. Первое выступление в Палате пэров.

Речь о Польше.

1848, 24–25 февраля. Революция во Франции. Падение Июльской монархии. Установление буржуазной республики.

29 марта. Письмо Гюго к избирателям.

Май. Избрание Гюго депутатом в Национальное учредительное собрание от Парижа.

23–26 июня. Восстание парижского пролетариата, жестоко подавленное временным правительством.

Осадное положение в Париже.

Июль — август. Борьба Гюго за амнистию повстанцам.

Речи в Национальном собрании.

Основание газеты «Эвенман», редактируемой сыновьями и друзьями Гюго.

20 декабря. Провозглашение Луи Бонапарта президентом республики.

1849, 13 июня. Демонстрация левых республиканцев.

21 августа. Конгресс мира в Париже под председательством Виктора Гюго.

1850. Борьба Гюго против усиливающейся реакции.

Речи в Национальном собрании.

21 августа. Речь на похоронах Бальзака.

1851, 11 июня. Речь Гюго на суде в защиту сына Шарля, привлеченного к ответственности за статью против смертной казни.

17 июля. Речь по поводу пересмотра конституции, предупреждение об опасности реакционного переворота во Франция.

2–4 декабря. Реакционный государственный переворот, совершенный кликой Луи Бонапарта, арест большинства депутатов Национального собрания, роспуск республиканских учреждений. Организация левыми республиканцами Комитета сопротивления под председательством Виктора Гюго. Попытки поднять народное восстание.

11 декабря. Отъезд Гюго в Бельгию.

1852, январь. Указ правительства Франции об изгнании Виктора Гюго.

Январь — июль. Работа над «Историей одного преступления» и памфлетом «Наполеон Малый».

31 июля. Изгнание из Бельгии. Отъезд на остров Джерси; по дороге остановка в Лондоне, встречи с политическими эмигрантами других стран.

5 августа. Прибытие на Джерси.

31 октября. Декларация Гюго «К народу Франции».

2 декабря. Луи Бонапарт провозглашен императором Франции Наполеоном III.

1853. Выступления Гюго против реакции во Франции и в Европе в речах на собраниях и на похоронах ссыльных на острове Джерси.

Ноябрь. Выход книги стихов «Возмездие».

1854, 11 февраля. Открытое письмо лорду Пальмерстону.

Ноябрь. Выступление против Крымской войны.

1855, 9 апреля. Открытое письмо Наполеону III.

17 октября. Декларация Гюго и 33 джерсейских ссыльных в газете «Человек».

27 октября. Указ английских властей об изгнании Гюго с острова Джерси.

Ноябрь. Приезд на остров Гернсей.

1856. Выход в свет книги стихов «Созерцания».

26 мая. Декларация Гюго «К Италии».

1857–1858. Работа над книгой стихов «Легенда веков». Переписка с прогрессивными политическими деятелями и писателями Франции и Европы.

1859, 17 августа. Декрет Наполеона III об амнистии Виктору

Гюго. Декларация Гюго по поводу амнистии, отказ от возвращения и признания империи.

2 декабря. Письмо Виктора Гюго конгрессу США в защиту Джона Брауна.

Казнь Джона Брауна.

1860, 31 марта. Письмо в гаитянскую газету «Прогресс».

Апрель. Возобновление работы над романом «Отверженные».

18 июня. Выступление на митинге, организованном на острове Джерси по поводу освободительного похода Гарибальди.

1861, март — июнь. Отъезд в Бельгию, работа над главами романа «Отверженные» в деревне Мон Сен-Жан близ поля битвы Ватерлоо.

Июль — август. Путешествие по Бельгии и Голландии.

Возвращение на Гернсей.

25 ноября. Письмо по поводу военной экспедиции в Китай.

1862, 21 января. Письмо бельгийскому народу по поводу смертного приговора в Шарлеруа.

Лето. Выход в свет романа «Отверженные»,

Путешествие по Бельгии.

16 сентября. Банкет в Брюсселе в честь «Отверженных».

17 ноября. Обращение к Женевской республике «Женева и смертная казнь».

1863, 11 февраля. Призыв к русской армии не сражаться против восставшей Польши.

Лето. Путешествие на Рейн.

Осень. Открытое письмо защитникам Пуэблы.

1864, весна. Выход книги «Шекспир».

Август — сентябрь. Путешествие в Бельгию.

1865, октябрь. Напечатана книга стихов «Песни улиц и лесов».

1866, март. Вышел роман «Труженики моря».

2 декабря. Декларация по поводу войны на Крите.

1867. Всемирная выставка в Париже. Выход во Франции очерка Гюго «Париж». Реприза «Эрнани» в театре «Комеди Франсэз».

28 мая. Открытое письмо Гюго в защиту ирландских повстанцев — фениев.

19 ноября. Поэма «Ментана».

16 августа. Рождение внука.

27 августа. Смерть жены.

Октябрь — ноябрь. Два обращения к Испании.

1869, апрель. Основание республиканской газеты «Раппель».

Май. Выход в свет романа «Человек, который смеется».

14–17 сентября. Конгресс мира в Лозанне под

председательством Виктора Гюго.

Сентябрь — октябрь. Путешествие по Швейцарии, возвращение на Гернсёй.

Декларация по поводу сражающейся Кубы.

1870, 19 июля. Начало Франко-прусской войны.

4 сентября. Падение империи и провозглашение республики во Франции.

5 сентября. Возвращение Гюго в Париж, торжественная встреча поэта народом.

17 сентября. Воззвание Гюго «К французам».

Октябрь — ноябрь. Новое издание «Возмездия», концерты в осажденном Париже с чтением стихов Гюго — сбор средств на пушки для сражающегося Парижа.

1871, 28 января. Перемирие Франции с Пруссией.

Февраль. Выборы в Национальное собрание. Гюго избран депутатом от Парижа. Отъезд в Бордо.

1 марта. Выступление Гюго в Национальном собраний против политики «правительства национальной измены».

8 марта. Речь в защиту Гарибальди; разрыв Гюго с реакционным Национальным собранием и выход из него.

18 марта. Революция в Париже.

Похороны Шарля Гюго. Отъезд писателя в Брюссель.

28 марта. Провозглашение Парижской коммуны.

Конец мая. Кровавая расправа версальцев над побежденными коммунарами.

26 мая. Письмо Гюго в газету «Эндепанданс бельж» с предложением убежища коммунарам.

Ночь на 28 мая. Нападение на дом Гюго в Брюсселе.

1 шюня. Изгнание из Бельгии. Отъезд в Люксембург.

24 сентября. Поездка в Тионвиль.

Осень. Возвращение в Париж. Борьба за амнистию коммунарам.

1872, апрель. Вышла книга стихов «Грозный год».

7 августа. Отъезд Гюго с семьей на Гернсей.

Работа над романом «Девяносто третий год».

1873, 26 декабря. Смерть сына Гюго Франсуа Виктора.

*1874.*Вышел роман «Девяносто третий год».

4 сентября. Письмо Конгрессу мира в Женеве.

1876, январь. Избрание Гюго в Сенат.

22 мая. Речь в Сенате с требованием амнистии коммунарам.

1877. Выход в свет второго тома «Легенды веков» и книги стихов «Искусство быть дедом».

Май — июнь. Речи в Сенате с предупреждением об опасности реакционного переворота.

Октябрь. Публикация «Истории одного преступления».

1878, 30 мая. Речь на столетнем юбилее со дня смерти Вольтера.

17 июня. Выступление на международном конгрессе литераторов в Париже.

28 июня. Болезнь.

Июль. Поездка на Гернсёй.

1880, 3 июля. Речь в Сенате. Законопроект амнистии участникам Коммуны.

*1881.*Книга стихов «Четыре ветра духа».

1883, 11 мая. Смерть Жюльетты Друэ.

Июнь. Вышел третий том «Легенды веков».

1885, 22 мая. Смерть Виктора Гюго.

Краткая библиография

На русском языке

Виктор Гюго, Собрание сочинений в 15 томах. Под редакцией В. Н. Николаева, А. И. Пузикова, М. С. Трескунова. Вступительная статья В. Н. Николаева. Гослитиздат, М., 1953–1956.

Виктор Гюго, Избранные произведения в 2 томах. Вступительная статья И. И. Анисимова. Гослитиздат, М. — Л., 1952.

Абрамович Н. Я., Виктор Гюго. М., 1918.

Бонт Флоримон, Рыцарь мира. Очерк о В. Гюго. Перевод с французского. М., 1953.

Гюго Адель, Гюго и его время. Перевод с французского, 1890.

Данилин Ю. И., Виктор Гюго и французское революционное движение XIX века. М., 1952.

Луначарский А. В., Виктор Гюго. Творческий путь писателя, М., 1931.

Николаев В. Н., Виктор Гюго. Критико-биографический очерк, М., 1955 (изд. 2-е).

Паевская А. Н., Виктор Гюго, его жизнь и литературная деятельность, СПб., 1890.

Попова О. Н., Виктор Гюго, поэт и гражданин, СПб, 1902.

Роллан Ромен, Старый Орфей. Собрание сочинений, т. 14, М., Гослитиздат, 1958, стр. 580–596.

Трескунов М. С., Виктор Гюго. Очерк творчества, М., Гослитиздат, 1954.

Фемилиди А. М., В. Гюго, его литературная эпоха, жизнь, труды, мысли. Одесса, 1911.

На французском языке

Oeuvres complètes de Victor Hugo, Paris, Hetzel-Quantin, 30 v., 1889–1893.

Oeuvres complètes de Victor Hugo, Paris, Ollendorf, 48 v., 1904–1938.

Aragon Louis, Hugo, poète réaliste, Paris, 1952.

Audiat Pierre, Ainsi vecu Victor Hugo, Paris, 1947.

Barbou Alfred, La vie de Victor Hugo, Paris, 1886.

Bertault Jules, Victor Hugo, Paris, 1910.

Cachin Marcel, Victor Hugo de 1848 à 1851. «La Pensée», 1952, № 41, p. 23–31.

Daudet Léon, La tragique existence de Victor Hugo, Paris, 1937.

Delalande Jean, Victor Hugo à Hauteville-hause, Paris, 1947.

Drouet Juliette, Mille et une letters d'amour à Victor Hugo, Paris, 1951.
Escholier Raymond, Victor Hugo, cet incounu, Paris, 1951.
Flottes Pierre, L'éveil de Victor Hugo, Paris, 1957.
Foucher Pierre, Souvenirs, Paris, 1959.
Maurois André, Olimpio ou la vie de Victor Hugo, Paris, 1954.
Perche Louis, Victor Hugo, Paris, 1952.
Saint Victor, Paul de, Victor Hugo, Paris, 1892.

notes

Примечания

1

В основном тексты Гюго приводятся по Собранию сочинений в 15 томах, М., 1953–1956 гг. В отдельных случаях — в переводах автора этой книги.

2

Перистиль — крытая галерея с колоннадой у входа в здание.

3

Игра слов: «compére» — кум, а также соучастник в интриге.

4

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 7, стр. 8.

5

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 8, стр. 126.

6

В массе.

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 7, стр. 44.

Там же, стр. 43.

9

Фритрэд — свободная торговля.

10

К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 2, т. 16, стр. 375.

11

Возмущающий своим поведением, эксцентричный, непристойный (англ.).

12

Вероисповедания и религиозные секты.

13

«Misérables» — точный перевод: «Несчастные», живущие в горе и нищете. В русском переводе роман получил название «Отверженные».

«Раппель» — по-русски «Призыв».

15

Горе побежденным.